**Валентин Пикуль Мальчики с бантиками**

 Они видели многое. Они совершали подвиги. Жизнь их была полна приключений.

 Джек Лондон

От автора

Юность… Она была тревожной, как порыв ветра, ударивший в откинутое крыло паруса.

Эта книга и посвящается юности – нелегкой юности поколения, к которому я имею честь принадлежать.

Тогда было суровое время жертв, и мы были готовы жертвовать. Многие из нас тогда же ступили на палубы боевых кораблей.

Эту повесть составляют подлинные события. Но имена героев, как и названия некоторых кораблей, я сознательно изменил. А возможные совпадения – чистая случайность.

Технические и специальные термины я умышленно упростил, дабы не утомлять моего читателя.

Разговор первый

Еще ни разу в жизни я не видел ни одного юнги…

Я проштудировал четыре тома «Педагогической энциклопедии», безуспешно отыскивая в ней хотя бы намек на юнг. Энциклопедия добросовестно перечисляла все школы нашей страны – передового опыта и фабрично-заводские, не были забыты даже уникальные школы для поздно оглохших и слабо видящих от рождения.

Но нигде не была упомянута Школа юнг ВМФ – Военно-Морского Флота…

Размышляя над этим казусом, я спешил на свидание с Саввой Яковлевичем Огурцовым.

Двери квартиры открыл не моряк, а человек в кителе служащего Аэрофлота.

– Простите, я, кажется, не туда попал. Мне нужен юнга Огурцов… Вернее, – поправился, – бывший юнга Огурцов!

– Проходите, – последовал краткий ответ.

Огурцов провел меня в свой кабинет, где ничто не напоминало о прошлом хозяина.

Большая библиотека говорила о любви Огурцова к русской истории. У меня глаза разбежались при виде книг, о существовании которых я даже не подозревал. А на столе я заметил дичайшее разнообразие вещей, тоже никак не определявших склонности хозяина к морю.

Лежала стопка книг по тропической медицине. В банке из-под сметаны покоилась жухлая трава, сорванная на поле Куликовом (это я выяснил уже потом). Тут же валялся молоток с гвоздями. А под лампой грелся холеный котище – черный, а глаза с желтизною.

– Итак, я к вашим услугам, – нелюбезно буркнул Огурцов.

Выслушав меня, он задумчиво погладил кота.

– Вы хотите написать книгу о юнгах? Но это почти невозможно. Школа юнг лежит ныне в руинах, а литературы о ней нет. Из славной летописи флота выпала целая страница, и этого никто даже не заметил. Печально!

– Но мне думается, – отвечал я Огурцову, – вы поможете мне. Вспомните. Подскажете. А кое-что, поверьте, я уже сам знаю…

Савва Яковлевич недоверчиво хмыкнул:

– Что же вы можете знать о юнгах? Сейчас все это уже история.

– Знаю! Например, мне известен даже такой факт, что вы попали на эсминцы, почти не владея одной рукой…

Хозяин сурово нахмурился:

– Да. Было со мною такое. А теперь… Смотрите!

Взял молоток и до самой шляпки засадил в стол гвоздище. Только сейчас я заметил, что стол у Огурцова был необычным. Грубо сколоченный из толстых досок, он скорее напоминал верстак.

– Очень удобно, – сказал Огурцов, отбрасывая молоток. – Такой стол можно очистить двумя взмахами рубанка. Терпеть не могу помешанных на лакированной мебели. Как правило, за такими столами сидят бездельники, которые не способны думать о работе. Они озабочены только одной трясогузочной мыслишкой – как бы не капнуть на полиранс, как бы не оцарапать его запонкой. А стол, – упоенно заключил Огурцов, – это не украшение жилища, а прекрасный плацдарм для распределения труда и мыслей…

Удары молотка не понравились коту, и он, недовольно фыркнув, спрыгнул со стола. Я раскрыл свой блокнот.

– Может, расскажете, Савва Яковлевич, как же все начиналось в вашей жизни? Что привело вас к морю? И как вы попали на флот?

– Самые простые вопросы – самые сложные. Мне трудно ответить вам в двух словах. Вообще-то, – призадумался Огурцов, – море и корабли я любил с детства. А кто их не любит? Во Дворце пионеров учился в кружке «Юный моряк». Помню, даже значок носил… голубенький такой. Тогда выдавали их. Не знаю, как сейчас. Конечно, мечтал о дальних странствиях. А кто о них не мечтает? Однако не забывайте, что ненависть к врагу у меня в душе воспиталась не по газетам. Так что, помимо морской романтики, было еще и великое желание воевать. А началось все с колеса…

– С какого колеса?

– С самого обыкновенного. С колеса товарного вагона на станции Вологда-Сортировочная. Да, именно с этого проклятого колеса и началась моя зрелая жизнь. С той поры прошло уже тридцать лет, а это колесо иногда еще накатывается на меня по ночам…

– Что ж, вот и название первой части. «Колесо»!

Огурцов сразу остудил мой горячий восторг:

– Заранее условимся, что каждую часть вашей книги я буду завершать своим очерком. Вроде эпилога. Моряки пишут худо, но довольно искренно, – это заметил еще Крузенштерн.

На прощанье я сказал:

– Возникли два мучительных вопроса…

– Заранее догадываюсь, о чем вы спросите. Вы увидели на столе книги по тропической медицине. Но человек должен много знать, а я… самоучка. Затем вы хотели спросить, почему я в этом кителе. Нет, я не летчик. Моя специальность – компасы. Я служу на аэродроме компасным мастером.

– А какие компасы на самолетах?

– Принцип прежний, проверенный – гироскопический. Ну а что такое гироскоп, вы еще узнаете от меня. Вам необходимо это знать, иначе с книжкою у вас ничего не получится… Всего вам доброго. До свидания!

Часть первая Колесо

 О вы, которых ожидает

 Отечество от недр своих…

 Ломоносов

Ближе к ночи эшелон с эвакуированными из Ленинграда втиснулся в неразбериху путей на сортировочной станции Вологда. Город уже спал, и только вокзал еще бурлил насыщенной заботами жизнью – жизнью военного времени. Жесткие графики вдруг срывали с места стылые эшелоны, раздвигали стрелки перед молчаливыми составами, что укатывали в строгую весну года тысяча девятьсот сорок второго – года героического!

Кто-то сказал, что ленинградцев в Вологде кормят по разовому талончику. Бесплатно и без карточек. А столовая для эвакуированных из Ленинграда работает в городе даже по ночам.

В мерцающем свете путевых фонарей по-весеннему тяжелел грязный, истоптанный снег. Сыро было и зябко. Закутанный в платок своей бабушки, Савка на себе вытащил мать из теплушки на зашлакованную насыпь.

Идти было трудно, мать часто опускалась на землю. Савка поднимал ее и тащил дальше, окликая редких прохожих:

– Эй, где здесь блокадников кормят по разовому?

Был уже второй час ночи, когда они, изможденные и усталые от поисков, окунулись в теплую благодать барака, над дверями которого висела надпись: «Питательный пункт № 3».

– Сынок, – ожила мать, – а эшелон-то наш сыщем ли?

Тьма-тьмущая стояла за окнами барака. Савка понимал, что мать по-хозяйски тревожится за свое барахло, оставленное в теплушке. Там у нее даже швейная «головка», отвинченная от машинки «Зингер». А вот Савке ничего не жаль, кроме двух больших тетрадей, исписанных им в любовном прилежании. По праву считал он себя автором двухтомного труда по военно-морскому делу; картинками и чертежиками разукрасил свои рукописи.

Им подали гороховый суп. Савка ел неторопливо, как и все блокадники, маленькими глотками, с удивительной бережливостью к хлебу. Поначалу выбирал из супа всю жидкость, чтобы потом насладить себя густотой горячего варева. Старуха-подавальщица по-доброму заметила Савке:

– Милый, не оставляй гущу на второе. Будет и каша.

– А какая, бабушка?

– Пшенка. Со свиным смальцем… Уж не обидим вас!

Кое-кто за столами барака умер, не доев своей пайки по разовому талону, и теперь смирнехонько, никому не мешая, сидел за сытным столом – в ряд с живыми. Но к нечаянным и быстрым смертям в дороге уже привыкли.

Обратный путь до станции оказался гораздо труднее, и мать все чаще садилась на землю. Тащить ее было невмоготу, и Савка ослабел. А на сортировочной – столько путей и столько эшелонов, что казалось, в ночной темени они уже никогда не отыщут своего вагона. Лазать через высокие тамбуры они были не и силах, а потому Савка волоком тащил мать через рельсы, под вагонами.

– Наш или не наш? – спрашивала мать от земли.

Все теплушки казались одинаковыми, как бобы с одного поля.

– Найдем, – отвечал Савка. – Без нас не уедут.

Он снова поднырнул под тяжелую платформу, на которой сверкал инеем промерзлый танк, грозя в ночь хоботом орудия. Схватив мать за воротник пальто, Савка потянул ее через рельс. Но сортировочная жила своим временем, своим напряжением. И едва удалось дотащить мать до середины рельса, как сработало неумолимое расписание. Издалека уже накатывался перезвон буферных тарелок, бивших все ближе и ближе… Удар! Эшелон тронулся.

– Ма-ама! – истошно прокричал Савка.

Большое колесо платформы черной тенью подкрадывалось к матери, которая лицом вниз лежала поперек рельса. Сидя на корточках под платформой, Савка пытался сдернуть мать на шпалы. Но последние силенки отказали ему, и мальчик в ужасе смотрел, как едет, медленно и неотвратимо, жирное колесо, источая в темени ночи неживые запахи масла и гари…

– Мама, вставай! Раздавит же!

Мать слабо подняла голову. Колесо уже прищемило край материнского пальто… Но тут снова раздался звончатый перебой буферов. Савка не сразу понял, что эшелон еще не тронулся – он лишь брал разбег для долгой дороги. Колесо двинулось обратно, освобождая прижатый к рельсу край пальто матери. Они прижались к шпалам, а над ними, быстро наращивая скорость, пошло перекатывать вагоны, теплушки, цистерны и платформы.

Савка видел между бегущими колесами как бы узкий туннель, наполненный грохотом и воем гудящего железа. Вот уже глянул просвет в конце туннеля, под самым последним вагоном. Савка не успел увернуться, и громадный крюк сцепления, болтавшийся в самом хвосте эшелона, сильно ударил его в плечо, проволочил по шпалам…

Ярчайше сияли звезды. Было тихо, когда Савка очнулся, а в отдалении еще помигивал красный огонек уходящего эшелона. Плечу сразу стало больно, но он встал. Подошел к матери, все так же безвольно лежавшей на шпалах.

– Пойдем, – сказал Савка.

…В эту ночь он явственно ощутил, что детство кончилось. Наступила иная пора жизни, которую он еще не знал, как назвать, но в которой нужно было отыскивать свое место…

\* \* \*

А на грандиозном перегоне Вологда – Архангельск жизнь сразу повеселела. И хотя снежок за окнами поезда лежал еще не тронутый мартовским солнцем, воронье уже вовсю радовалось, галдя над лесными полянами. Да и вагон был уже не теплушкой, а настоящим купейным дальнего следования – с полками для спанья, даже с зеркалами. Военные угостили Савку куском сахара, и он охотно сообщил им:

– Вот везу… маму-то! Уже немного осталось.

– До Архангельска?

– Ага.

– К родным, выходит?

Савка показал конверт последнего письма от отца.

– И адрес имеется – номер полевой почты. Он у меня не как-нибудь… Комиссар!

– Это фигура, – оценили его отца военные. – Только, милый, номер полевой почты – это еще не номер дома.

– Я найду. Только бы в Архангельск поскорее… Чего уж!

Вот и конец пути. Вокзал – на левом берегу Двины, а город – на правом. Моста через реку нет, и пассажиры дружно топают через подталый лед. Даже не верится, что там, в этих улицах города, в хитросплетении корабельных мачт, где-то сейчас находится отец Савки, который еще не ведает, что они уже здесь, только на другом берегу… Савка сгрузил все вещи в горку на перроне вокзала, поверх скарба усадил мать, и она ткнула кулаком в синий узел, проверяя:

– Машинка-то еще здесь? Здесь будто…

Савка перед уходом строжайше наказал ей:

– Ты сиди, пока я папу не найду. Главное, стереги чемодан – в нем мои сочинения.

По скользкой, наезженной санками тропе он съехал с берега на лед реки. Где же искать отца? Напрасно он расспрашивал прохожих, показывал им конверт:

– Где тут найти – вот по такому номеру?

– По номеру? Не знаю, – отвечали прохожие.

А один даже повертел конверт в руках, потом сказал:

– Ну и комик же ты, приятель!

Забрел Савка и на почту, где выстоял длиннющую очередь, чтобы задать все тот же вопрос. Но и здесь его постигло жестокое разочарование:

– По номерам полевой почты справок не даем…

Его уже шатало. От голода. От холода. От недосыпа. Плечо сильно болело, и Савка заметил, что пальцы левой руки разжимаются с трудом.

В пустынной сберкассе, куда Савка зашел обогреться, за стеклами окошечек сидели две барышни. Яростно и жарко пуляла искрами железная печка.

– Тебе тут чего? – спросили барышни.

– А… нельзя? – ответил вопросом Савка.

– Можно. Только не укради чего-нибудь.

– Чего у вас красть-то. Мне бы так… погреться. Из Ленинграда я, из блокады. Приехал вот… а не знаю…

Отношение к нему сразу переменилось, и Савка снова тряс конвертом, рассказывал про отца, что тот служит на кораблях, и не как-нибудь, а комиссаром.

– Так тебе в Соломбалу надо.

– А что это такое? – спросил Савка, запоминая.

– Остров. Ну, как в Ленинграде – Васильевский. В Соломбале, на второй лесобирже – флотский Экипаж. Старый кирпичный дом в пять этажей. Вот там свой конверт и покажи…

Пришлось опять переходить речку, и – правда! – показался большущий домина казенного вида, без занавесок на окнах. Возле пропускного пункта похаживал румяный матрос-новобранец с винтовкой. Ему было явно скучно, и он припугнул Савку штыком:

– Вот я тебя на шомпол насажу, а потом изжарю!

Савка штыка не испугался.

– Нашел чем пугать… ленинградского-то! Мне бы вот комиссара Огурцова. Может, слышал?

– А ты кто такой? На што тебе сдался комиссар?

– Так я же его сын буду… Савка Огурцов!

– Минутку. – И матрос стал куда-то названивать.

Скоро явился запаренный рассыльный в бушлате.

– Вот этого пацана – в политотдел.

– Есть! – развернулся рассыльный.

Он провел Савку на третий этаж, в просторный кабинет, где за столами (под плакатами, зовущими к победе) сидели и что-то писали четыре морских офицера. Савка понял, насколько он плох, когда при виде его один офицер схватился за голову, второй свистнул, третий охнул, а четвертый, самый деловой, спросил:

– Что делать с ним для начала? Мыть или кормить?

Состоялась краткая дискуссия, в которой Савка скромнейше участия не принимал. Коллегиально было решено – сначала кормить, но не до отвала, чтобы не помер.

– Иди на камбуз, но соблюдай норму. Потом ешь сколько влезет, а поначалу воздержись. Отец твой на тральщиках, мы ему сейчас позвоним, и он скоро прибудет…

Столовая в Экипаже – громадный зал вроде театра, и в глубь его тянутся столы, столы, столы… Они накрыты к обеду – миски, ложки, чумички, а вилок матросам не положено. Сбежались официантки. Сочувственно охая, усадили Савку за отдельный стол и сами уселись напротив. Горестно подпершись руками, женщины смотрели, как он подчистую умял и первое, и второе, и третье. Одна из них, постарше, сказала ему:

– Нам не жалко. Мы бы еще дали, да из политотдела звонили. Не велено тебе сразу много есть.

Опять явился рассыльный и объявил Савке весело:

– Ходи вниз по трапам. Тут недалече… только до баржи!

Привел он Савку на баржу, вмерзшую в лед под берегом, а на барже была мыльня. Пожилой матрос-банщик вопросил строго:

– А вша у вашего величества имеется?

– Хватает, – робко признался Савка.

– Тогда сымай все с себя, кукарача!

Первым делом банщик пожелал остричь Савку под машинку.

– Нагнись. Я тебя под нуль оболваню.

Савкины пожитки он завязал в узел и поднял его двумя пальцами.

– Вша, – сказал матрос внушительно, – животная загадочная. Когда человек в тепле, в счастье и в сытости – ее нету! Как только война, смерть, голод и горе людское – тут она появляется, стерва, и ты скребешься, как не в себе… Вот что, – закончил он, – от прежней шикарной жизни оставлю я тебе пальтишко, порты да валенцы. Остальное в печку брошу.

– Кидайте, – согласился Савка. – Чего тут жалеть?

Моясь казенным мылом, он заметил, что его левое плечо все синее от удара поездным крюком. В трюме баржи – жаркая парилка, лежат на полках исхлестанные веники. Когда Савка вымылся, банщик бросил ему все чистое – морское. От кальсон и тельняшки исходил особый – казенный, что ли, – запашок.

– Флот жертвует, – сказал банщик, довольный собой.

Отец прибыл в Экипаж, отрывисто спросил сына:

– А где мать?

– На вокзале, с вещами. Я тебя искать пошел.

Быстро подали базовый грузовик. Отец сел в кабину с шофером.

– Жди! – крикнул. – Сейчас привезу…

Вернулся скоро. Выбрался из кабины и только теперь поцеловал сына. «Где же мама?» – подумал Савка, и, словно отвечая его мыслям, отец показал рукою на кузов машины:

– Она… там.

Савка глянул через борт грузовика. Мать лежала, ровно вытянувшись на спине, посреди узлов, уже распоротых ножами вокзальных жуликов. Широко открытыми глазами она смотрела на яркое весеннее солнце. Смотрела, уже не мигая от его блеска.

– Пойдем, – сказал Савке отец.

А кладбище в Соломбале было старинное, могилы там перевиты цепями, и в грунт последнего людского пристанища вцепились ржавые якоря.

\* \* \*

Отец поселил сына в комнатенке, снятой на время в деревянном соломбальском доме, на самом берегу речушки Курьи. Далекие возгласы горнов, поющих по утрам на дворах Экипажа, неустанно взывали к подвигам. Проснешься – и сразу видишь в окне, за бутонами пышных гераней, путаницу снастей, неразбериху корабельных рангоутов. Все напоминало о море. Кажется, Соломбала издревле так уж устроена, чтобы уводить подростков в заманчивые дали морских скитаний. Отсюда, от ее причалов, где сейчас рычат дизеля «морских охотников», начинали свои пути Лазарев и Чичагов, Литке и Русанов, Седов и Воронин! От могилы матроса, погибшего у мыса Желания, прямая дорога приведет тебя в кривые проулочки Соломбалы, и ты постучишься в дом, где живут его потомки. Именно здесь рождались и росли скитальцы-непоседы, которым хорошо только в море. Даже дети Соломбалы, до позднего вечера играя на воде, поют свои особые песни.

У папы лодку попросил,

Ремнем мне папа пригрозил:

– Вот те лодка с веслами,

Мал гулять с матросами!

В город Савка даже не заглядывал. Днями пропадал на улицах и речках Соломбалы, бродил возле пристаней, вдыхая едкую гарь судоремонтных мастерских, и не раз блуждал в лабиринтах лесобиржи, среди штабелей леса, уложенных в «проспекты». Соломбала – старейшая верфь России, и жители ее не ведают почвы под своими ногами: дома стоят на многовековых отложениях щепок и опилок – отходов от строительства кораблей, давно пропавших в походах, забытых.

Оттого-то, наверное, жилища соломбальских мастеровых и погружались в зыбкую землю, словно тонущие корабли в пучину. Идешь по скрипучим мосткам, а вровень с ними глядят на мир форточки первых этажей – хозяева уже перебрались на второй этаж. Над речками Соломбалы, будто в Венеции, перекинуты горбатые мостики, а берега их вплотную заставлены лодками, весельными и моторными.

По весне залило Соломбалу обширным половодьем, но жизнь продолжалась обычным порядком. На моторках плыли в школу дети, на лодках плыли из магазинов бабки с авоськами, а возле дверей парикмахерской покачивало на волне катера соломбальских мужиков, стоявших в кильватере, чтобы побриться и освежиться.

Настало лето. Иногда, наскоками, отец навещал сына.

– Тебе надо поправляться, – говорил он.

После блокады Савка испытывал постоянный голод и готов был есть с утра до ночи. Отец отдавал ему свой «сухой» бортпаек офицера: тресковую печень, бруски желтого сливочного масла и тушенку. Приносил в бутылках хвойный экстракт.

– Пей вот. Да не кривься. Это спасает от цинги.

Как-то отец принес большую розовую семгу.

– Не вари ее и не жарь, – сказал он Савке. – Ешь, как едят поморы, – сырую. Отрежь ломтик, посоли и съешь.

– Папа, ты сам поймал?

– Нет. Когда «охотники» швыряют на врага глубинные бомбы, то после взрывов всплывает масса оглушенной рыбы. Очумелые, кверху брюхами, виляют хвостами… Зрелище не из приятных.

Лето выдалось жаркое. Архангельск как тыловой город еще не знал светомаскировки, и по вечерам его бульвары и набережные освещались уютными огнями. Посреди Двины, рея флагами США, Англии и Канады, стояли толстобокие транспорты типа «либерти» и «виктория». Вдоль берега сидели на корточках чистоплотные, как еноты, малайцы и стирали свое бельишко, еще не просохшее после вчерашней стирки. Возле них примостились матросы-негры – сами грязные, как черти, они усердно крахмалили белоснежные воротнички и манжеты. А рядом купались белые полярные медведи из цирка шапито, и это разнообразие настраивало Савку на приключенческий лад…

Появился отец, взъерошил Савке волосы.

– Поздравляю. Тебе сегодня исполнилось четырнадцать.

– Разве? А я и забыл…

Отец рассказал, что немцы приближаются к Волге, образован новый фронт – Сталинградский.

– Сегодня у нас митинг. Будем выкликать добровольцев в морскую пехоту…

В июле буйно отцветала северная черемуха. Она совсем скрывала дома соломбальских мастеровых. В один из таких дней Савка от нечего делать поплелся на перевоз и еще издали заметил, что от реки в сторону Экипажа валит нескончаемая колонна подростков, почти его одногодков – чуть постарше. В руках мальчишек тряслись фанерные чемоданы, болтались на спинах родимые домашние мешки. Вся эта ватага, галдящая и расхристанная, двигалась неровным строем в сопровождении вспотевших от усердия флотских старшин.

– Эй, кто вы такие? – крикнул Савка.

– Юнги, – донеслось в ответ.

– Какие юнги? – обомлел Савка. – Вы откуда взялись?

Из рядов ему вразброд отвечали, что они из Москвы, из Караганды, из Иркутска, с Волги.

Старшина отодвинул Савку прочь:

– Не мешай! Разговаривать со строем нельзя.

А дальше все было как во сне. Одним махом Савка домчал до дому, из чемодана выхватил два тома своих сочинений и понесся вдоль речки Курьи, не чуя под собой земли, в сторону Экипажа. Юнги уже прошли через ворота в теснины дворов флотской цитадели, и Савка нагло соврал часовому:

– Я же с ними! Ей-ей, отстал на перевозе.

Штык часового откинулся, освобождая дорогу в новый волшебный мир, который зовется флотом. Иногда бывает так, что судьба человека решается в считанные минуты. И да будут они благословенны! Стоял июль – жаркий июль сорок второго года.

 Хроника тасс (июль 1942 года)

 1 – на севастопольском участке фронта германские войска ценою огромных потерь продвинулись вперед; завязались рукопашные схватки.

 4 – на курском направлении ожесточенные танковые атаки противника. Советские войска оставили Севастополь.

 5 – в Баренцевом море советской подводной лодкой торпедирован германский линкор «Тирпитц».

 14 – ожесточенные бои советских войск с группировкой противника, прорвавшейся в район Воронежа, и тяжелые бои с наступающими силами врага южнее Богучара.

 15 – советские войска после ожесточенных боев оставили Богучар.

 17 – советские войска оставили Ворошиловград.

 21 – налет советской авиации на Кенигсберг.

 23 – югославские партизаны за последние 12 дней заняли семь городов.

 24 – ожесточенные бои в районах Воронежа, Новочеркасска и Ростова.

 Растет партизанское движение в Польше; убийство германских полицейских стало повседневным явлением.

 27 – британские войска на египетском фронте отошли на исходные позиции.

 30 – оккупация японскими войсками островов Ару, Кэй и Тенимберских близ Северной Австралии.

 Митинг на Трафальгар-сквер в Лондоне с участием около 70 тысяч человек обратился к правительству с призывом ускорить открытие второго фронта…

Это был горячий, изнуряющий июль, когда на советском флоте появилось новое воинское звание – юнга!

\* \* \*

В гулких коридорах Экипажа не протолкнуться, всюду галдеж молодых голосов. Прибывший молодняк невольно терялся в новой обстановке, а потому, дабы чувствовать себя увереннее, земляки держались друг друга. Скучивались москвичи, волжане, сибиряки, ярославцы.

Савке совсем некуда было приткнуться.

– Ленинградских нету? – спрашивал он.

Нет, питерских не было, давала себя знать блокада. Савка почувствовал себя отрезанным ломтем. В коридоре ему встретился какой-то мичман с аршинной ведомостью в руке; на ходу приложив бумагу к стене, он что-то наспех исправлял в ней.

– Где тут в юнги записываются? – спросил его Савка.

– Ты откуда такой свалился? – буркнул мичман, зачеркивая в ведомости: «Копч. сел., 300 г» и заново вписывая: «Мясо, 75 г». – Экипаж только принимает годных к службе на флоте и бракует негодных, а отбор в юнги проходил по месту жительства…

– Выходит, другим и нельзя? – обиделся Савка.

– Другие – отвались!

– А если я море люблю? Если жить без него не могу?

– Как угодно, – ответил, уходя, мичман. – Можешь помирать. Только не здесь, а валяй на улицу.

Сотрясая коридор Экипажа, мимо пронеслась большая толпа кандидатов в юнги, и каждый восторженно потрясал белым листком, еще чистеньким, без отметок и помарок. Савку подхватило и понесло за ними.

– Вы куда, ребята? – спрашивал он на бегу.

– На комиссию. Для первого опроса.

– А что это за опрос такой?

– Если б знать! Говорят, по всем наукам гоняют.

– Я тоже с вами, – не отставал от них Савка.

– А где лист у тебя?

– Какой?

– А вот такой. Для комиссии.

– Нету листа! – отвечал Савка и мчался дальше.

Перевели дух возле дверей кабинета, где заседала комиссия. Через толпу ребят пробирался хмурый капитан третьего ранга, и вдруг он цепко схватил одного юнгу за локоть.

– Покажи руки! Это что у тебя?

Руки были испещрены татуировкой. Капитан третьего ранга грубо распахнул куртку и обнажил грудь кандидата в юнги, разрисованную русалками и якорями.

– Дай лист, – приказал офицер и тут же порвал лист в клочья. – Можешь идти. Ты флоту не нужен.

– Простите! – взмолился тот. – Это можно свести… сырым мясом прикладывать… Дурак я был…

– Сведешь – поговорим! – Капитан третьего ранга открыл дверь в кабинет. – Входите по одному. Кто первый?

Первого выставили с треском через три минуты.

– Сразу засыпали, – говорил он, очумелый. – Мол, политически неподкован…

– Следующий! – потребовали от дверей.

Кто-то сзади больно треснул Савку по затылку, он влетел в кабинет и узрел пред собой грозное судилище.

– Где твой лист? – спросили от стола.

Савка выдернул из-за пазухи бухгалтерские тетради, заполненные «собственными сочинениями».

– Вот сколько листов! – сказал он в растерянности.

За столом оживились:

– Что это тут у него? Ну-ка, ну-ка…

На обложках было аккуратно выведено: «Военно-морское дело». Внутри тетрадей, под рубриками дебета и кредита, был размещен текст, украшенный рисунками на морские темы. Потому и разговор начался узкоспециальный.

– Какие огни несет судно, стоящее на рейде?

– Штаговый и якорный гакабортный.

– Что такое штаг и что такое гакаборт?

Савка отрубил слово в слово, как у него было записано в тетради.

– Каких систем якоря знаешь?

– Знаю по алфавиту: Болда, Гаукинса, Денна, Инглефильда, Марелля…

– Стой, передохни! Какой якорь принят на нашем флоте?

– Холла. Самый надежный. С поворотными лапами.

Капитан третьего ранга нацепил очки, притянул к себе Савкины тетради.

– Хочу знать имя автора, – сказал он и вдруг спросил: – Ты случайно не родственник нашему комиссару?

– Это мой отец.

– А обходного листа нет?

– Нет.

Капитан третьего ранга извлек из стола чистую анкету, вписал в нее фамилию, имя и отчество Савки, потом спросил:

– В каком родился?

– В двадцать восьмом.

– Не пойдет. Хорош ты парень, но… мал. Набор в юнги производится среди тех, кому уже пятнадцать.

– Клянусь! – ответил Савка. – Мне пошел пятнадцатый.

– Ладно, – слегка подобрел капитан третьего ранга. – О чем мы толкуем, ежели под носом телефон стоит. Позвоним отцу. А ты, товарищ Огурцов, пока выйди и поскучай за дверью.

Скоро его позвали обратно в кабинет.

– Отец не возражает. Мы тоже. Забирай лист. Первую отметку «годен» ты уже получил. Не подгадь на медицинской комиссии. Там мы тебе помочь не сможем: врачи у нас строгие…

\* \* \*

Отбор в юнги шел безостановочно, жестоко разделяя мальчишек на годных и негодных, на счастливых и несчастливых.

Врачи заняли гимнастический зал, отодвинули к стенкам спортивные снаряды. Подростков гоняли от стола к столу. Голые, они стыдливо прикрывались обходными листами, на которых появлялось все больше непонятных записей. Поспешность сверстников заразила и Савку: он тоже начал метаться между столами, по диагонали рассекая зал, от одного врача к другому.

Седой дядька в больших чинах обстукал его.

– Наклонись. Выпрямись. Руки вперед. Глаза закрой. Раздвинь пальцы… Водку пил?

– Нет. Что вы!

– Куришь?

– И не думаю.

– Когда собираешься?

– Что?

– Курить.

– Пока не хочется.

– Ну и ладно. Тощий ты, правда. Но на флотских харчах откормишься. Иди с богом на вертушку… Кто следующий?

Садиться в кресло-вертушку было страшно. Как раз перед Савкой одного кандидата в юнги так повело в сторону, что, полностью потеряв равновесие, он врезался лбом в стенку.

Красивая врачиха во флотском кителе велела Савке:

– Садись. Зажимаю руки. Ноги в ремни. Начали!

В одну полоску сразу вытянулись все лица, неслась перед глазами – уже без углов! – стенка зала, слились в одно окна. Но вот добавилось вертикальное вращение. Теперь кресло кувыркалось. Сплошная матовая дуга стала пестрой, и Савка уже не знал, где пол, где потолок.

Неожиданная тишина. Внезапный покой.

– Вылезай, – сказали ему, освобождая ремни.

Едва коснулся пола, как швырнуло в сторону. Савка сделал шаг, и его тут же вклеило грудью в подоконник. «Все пропало!» – было его первой мыслью. Но у докторов на этот счет, очевидно, было какое-то свое мнение, и по движению руки красивой врачихи Савка догадался, что она пишет ему «годен».

– Теперь на силомер, – сказали ему.

Из рук врачихи он благодарно принял лист.

– А что со мной было? – спросил неуверенно.

– Ничего страшного, – отвечала она с улыбкой. – Ты, мальчик, наверное, будешь в море укачиваться. Но пусть это тебя не пугает… Адмиралы Ушаков и Нельсон тоже укачивались.

Савка занял очередь на силомер. Поинтересовался:

– А как тут? Не слишком придираются?

– Ерунда! – отвечали ему. – Нужно рвануть от пола рычаг, чтобы стрелка прибора указала не меньше семидесяти.

– Чего «семидесяти»?

– Килограммов, конечно.

Савка глянул на свой лист. Такого счастливого результата он сам не ожидал. Всюду «годен», «годен», «годен». Осталось заполнить последнюю графу на силомере, и тогда флот, издавна зовущий и такой заманчивый, сразу приблизится к нему. Дрожа котельными установками, дымя из широких труб эсминцев, флот обласкает его теплым дыханием воздуходувок…

Семьдесят килограммов!

И как назло острая ломота потекла от плеча вниз, пальцы будто налились ртутью. А очередь двигалась с роковой неумолимостью. Юнги рвали от пола рукоять прибора, который точно оценивал мускульное напряжение. На силомере гораздо чаще, чем у других столов, слышалось бодро-подгоняющее:

– Отходи! Следующий… Так, отходи! Следующий…

Судьба наплывала на Савку, как то вагонное колесо в ночи, безжалостное и равнодушное к его мальчишеской доле.

Ближе, ближе, ближе…

Сколько он выжмет? Ну, сорок. Не больше.

Что делать? Как быть? Только бы не разреветься!

Савка сделал шаг в сторону из очереди…

Сто двадцать пять граммов хлеба в сутки, холод нетопленых жилищ, взрывы снарядов в соседних домах, ночные зарева пожаров – все это, вместе взятое, еще держало его в кольце жестокой фашистской блокады.

«Нет, мне не выжать!» И он выскочил в коридор.

\* \* \*

В коридоре толпились счастливчики, уже прошедшие все стадии проверки. Кто-то сзади положил руку на плечо Савке. Перед ним стоял остроскулый, чуть косоватый паренек, улыбался по-хорошему.

– Ты каковский? – спросил он, явно радуясь жизни.

– Был ленинградский, а теперь… Вон мой дом виднеется.

– А меня зовут Мазгутом Назыповым.

– Узбек ты или… Откуда будешь?

– Татарин касимовский буду. Касимов знаешь?

– Нет.

– Ну, я тебе расскажу потом… Давай дружить, хочешь?

– Еще бы! А ты море видел?

– Откуда мне его видеть было? Из Касимова?

– А чего же тогда на флот пошлепал?

– Чудак-человек! Кто же от флота откажется? Ты вот скажи, сколько раз «Мы из Кронштадта» смотрел?

– Два раза.

– А я – четыре. Есть хочешь?

– Всегда хочу, – ответил Савка.

– Я тоже, – помрачнел Мазгут. – Знаешь, у нас в Касимове голодно. Я уезжал, так в доме куска хлеба не было… Но скоро нас поведут на обед. Это правда, что на флоте компот дают?

Савка живо обернулся к новому товарищу.

– Мазгут, ты мне сам дружбу предложил, так? Вот и выручи меня. Бери мой лист, ступай в зал и дерни там ручку на семьдесят килограмм. А?

– Что, сам не можешь?

– В том-то и дело. После цинги. И рука болит.

Назыпов слегка отодвинулся от Савки:

– Лучше я тебе свой компот за обедом отдам.

– Зачем он мне? Ты дерни лучше за меня.

– А если застукают? Тогда ни флота, ни компота.

Савка даже обиделся:

– Ты же моря не видел! На что оно тебе-то?

Они разошлись, и Савка, ища поддержки, придвинулся к компании великовозрастных юнг, которые прятали цигарки в кулаках, тоже довольные жизнью. Среди них выделялся здоровяк, говоривший этак небрежно, кривя толстогубый ротище:

– Мы тут с ребятами из нашего двора магазинчик один накололи. Взяли патефон с пластинками, даже Лемешева пластиночки попались, конфеты «Кис-кис» и четыре бутылки водки. Ну, засыпались всей бражкой. Мне – повестка: явиться тогда-то в милицию, к следователю. А тут шухер пошел по городу, что пацанов постарше в юнги записывают. Я вместо милиции к военкому. Ну, парень я здоровый, меня – сюда. А то бы засадили.

Довольный собой, он размял цигарку о радиатор парового отопления и зашвырнул окурок в угол коридора.

– А что нам! – добавил, не унывая. – Мне уже почти семнадцать. Еще бы годок покрутился дома, потом призыв – и в окопы. Так лучше уж в юнги. Тачка-то от нас не убежит!

Савка выбрал удобный момент и дернул силача за рукав.

– Как фамилия? – спросил он его.

Тот даже посерел от ярости:

– А ты кто? Из угрозыска, чтобы фамилию спрашивать?

– Да нет, я так. Мне бы кого посильнее.

– Или в ухо захотел посильнее? Могу по блату устроить.

– Постой! Меня вот, например, зовут Савкой Огурцовым…

– А что мне с того? – наступал на него верзила.

– Будь другом, – взмолился Савка. – Вижу я, что тебе сил девать некуда. Так спаси – выжми за меня…

– Что тебе выжать надо?

– Да эти килограммы. Хотя бы семьдесят! Здесь, смотри, народу сколько, все голые бегают, врачи уже затыркались с нами. Для них мы все на одно лицо. Будь другом…

Парень призадумался. Взял у Савки анкету.

– Идет! – сказал бодро. – А фамилию мою ты запомнишь на всю жизнь – Синяков… Витька Синяков. Ясно?

Разделся, прикрыл себя Савкиным листом и смело шагнул в двери гимнастического зала. Скоро вернулся обратно.

– Я без очереди пролез. Сто двадцать пять, не мало ли?

– Ой, куда мне столько… Хватило бы и семидесяти! Вот спасибо, вот спасибо… Так выручил, так выручил, так выручил!

Витька Синяков проворно пролез ногами в штаны.

– Я с твоего «спасиба» здоровее не стану, – отвечал он. – И помни, хиляк, твердо: Витька Синяков даром никому и никогда ничего не делал и делать не будет…

За стенами Экипажа навзрыд пропели тревожные горны.

Свершилось!

\* \* \*

Вот он, самый вожделенный миг – получение моряцкой формы. Впервые для них, еще вчера бегавших в школу, специально для их слуха распелись соловьями старшинские дудки:

– Ходи до баталера. Бегом по трапам!

И хотя в здании Экипажа обыкновенная лестница с перилами, отныне она становится трапом, столовая – камбузом, уборная – гальюном, полы – палубами, потолки – подволоками, пороги – комингсами, а стены – переборками. Ошибаться никак нельзя, иначе засмеют!

Длиннющие очереди выстроились возле дверей баталерок, в нетерпении ожидая, когда можно будет покрасоваться матросской формой. Баталеры запускали на склады человек по двадцать. Юнги вставали шеренгой вдоль длинного, как на базаре, прилавка. На прилавке были заранее уложены кучками вещи, начиная от ремня с бляхой и кончая шинелью. Кто возле какой кучки встал, тот ее и получил, без всяких примерок.

Отовсюду неслись душераздирающие вопли:

– Товарищ старшина, бескозырка – словно таз!

– Отрасти кумпол пошире, – отвечали баталеры.

– Мне обувь – сорок четвертый размер попался.

– Твое счастье! А здесь не универмаг, чтобы копаться.

– А где же ленточка к бескозырке? – спрашивали юнги.

При этом вопросе взмокшие баталеры сатанели:

– Ты что? Первый день на свете живешь? Или папа с мамой не говорили тебе, что ленточка выдается только тому матросу, который уже принял присягу?

– А-а-а…

– Вот тебе и «а-а-а»! Забирай хурду и отчаливай.

Савка трепетно похватал свои вещички и понесся к лестнице Экипажа, на ступеньках которой юнги спешно переодевались. Все коридоры были забросаны пиджаками, джемперами, сорочками, футболками; всюду валялись полуботинки, спортсменки и сапоги (встречались даже лапти). Савке повезло: случайно ему досталась форма от малорослого моряка, и он, недолго думая, раздобыл мелу, начал яростно надраивать бляху на ремне. Многое было юнгам еще неясно, никто не понимал значения «галстука», который должно носить только при шинели или при бушлате. Наконец все переоделись, простились с узлами и чемоданами, распихали по карманам формы дорогое и заветное. Юнг повели в актовый зал Экипажа, велели снять бескозырки, но сесть не позволили.

– Кино покажут, – говорили одни.

– Не кино, а концерт шарахнут.

– Сейчас речугу толкать будут, – подозревали другие.

На сцену вдруг вышел комиссар Экипажа:

– Двери закрыть. Смир-рна! Слушай приказ…

Это был знаменитый приказ наркома обороны за номером 227, который зачитывался только перед военными. В крутых и резких словах было сказано начистоту, что дела наши плохи; что отступать больше нельзя; что решается судьба всего советского строя и всей великой русской нации; что пора покончить с паникерами; что главным девизом армии и флота отныне должны быть слова: «Ни шагу назад!».

Слушали затаив дыхание. Комиссар не допустил никаких комментариев к приказу, ничего не добавил от себя. И без того все было ясно.

– Старшины! Выводите людей.

– Головные уборы на-а-деть! Выходи строиться…

Нестройной колонной вытянулись на улицы Соломбалы; какая-то старуха перебежала юнгам дорогу, испуганно крестясь:

– Хосподи-сусе, всего-то годочек отвоевали, а уже деток малых на войну тащат. Свят-свят, с нами крестная сила!

Угасли последние огни глухих окраин Архангельска.

– Идти чтоб с песнями! – послышалась команда.

В самом начале колонны возник, струясь в полумраке, чистый серебряный голос:

Все вымпелы вьются, и цепи гремят —

Наверх якоря выбирают…

Тысяча юных голосов повела песню по печальной дороге, еще не ведая, куда эта дорога ведет.

Не скажут ни камень, ни крест, где легли

Во славу мы русского флага,

Лишь волны морские прославят одни

Геройскую гибель «Варяга»…

От «Варяга» давно и следа на воде не осталось. Но его флаги вечно будут реять над русскими моряками.

\* \* \*

Кажется, пришли. Показался лагерь бараков, обтянутых колючей проволокой. С высокой будки, где стоял часовой, плацы лагеря подсветили лучом прожектора. Витька Синяков оповестил всех:

– Это, братцы, пересылка. Сейчас дадут нам по сроку без адвоката, и – прощай, мамочка, загубил я молодость во цвете лет…

Никто не засмеялся. Из болотистого леска тучами налетали комары. Старшины развели юнг по баракам, отвечали одно:

– Спать, ребята, спать. Отвыкай спрашивать!

Савка с самого начала решил, что станет дисциплинированным юнгой, и когда ему велели спать, он тут же безмятежно заснул на голых нарах. А пока он дрыхнул, юнги побойчей не терялись. Судя по тихой возне, всю ночь напролет происходил свободный обмен формы. Савка утром встал, а шинель на нем уже волочится по земле. Фланелевка сама собой выросла до колен. Клеши тащатся по лужам, пояс брюк расположен выше груди. Бескозырку тоже подменили: теперь она, паря над ушами, свободно вращалась на стриженой макушке. В довершение всего ноги болтались в обуви, словно в ведрах. В таком виде Савка мало напоминал бедовых матросов из фильма «Мы из Кронштадта». Никак он не походил на скитальца, альбатроса и гордого ценителя океанов!

От обиды поплакал он в уголку, чтобы никто не видел, и пошел жаловаться старшине барака. Тот, замотанный до предела, только отмахнулся:

– А где ж ты был, когда тебя переодевали?

– Я спал, – отвечал Савка.

– На флоте никто не спит. На флоте лишь отдыхают.

Впрочем, старшина утешил его, пообещав, что по прибытии на место службы всем юнгам подгонят форму по росту. Особенно трудно было справиться с брюками. Савка и ремнем-то их у пояса перетянул, и снизу-то до самых колен загнул, а все лишнее, что болталось выше ремня, премудро свесил наружу с напуском. Ради идеалов стоило и пострадать!

С утра юнг уже строили между рядами бараков. Экипажные старшины, во всем черном, как большие гладкие кошки, двигались вдоль шеренг мягко и неслышно, словно присматриваясь к добыче, из которой следовало в ближайшие дни выпустить бесшабашный дух.

– Внимание! Никто не имеет права выходить с территории лагеря. Самовольщики поплатятся. Писать письма родным можете сколько угодно, но все письма будут отправлены лишь с места постоянной службы. А сейчас… вывернуть карманы!

Расчет был правильным: сколько имелось куряк среди юнг, все высыпали табак на землю.

– Юнгам курить не положено, – заявили старшины.

Витька Синяков зычным басом спросил:

– А ежели я с одиннадцати лет курящий… подыхать мне?

– И подохнешь, если с одиннадцати начал. Шаг вперед!

– Мне?

– Исполнять команду.

Синяков шагнул вперед. Как и следовало ожидать, старшины обнаружили при нем табачище, припрятанный на будущее.

– За неисполнение приказа – один наряд вне очереди.

– За что-о? – взвыл Синяков.

– Два наряда – за разговоры. Повтори!

– Ну, есть два.

– Без «ну»!

– Есть – без «ну»: два наряда… А за что-о?

После обеда Синяков дружески подсел к Савке:

– Как тебе понравилось на флотской малине?

– Мне пока нравится. А тебе как?

– Жить можно, – отвечал Синяков. – Если ты еще и гальюны за меня выдраишь, так совсем хорошо будет.

– А наряды получал не я, – возразил Савка.

– Силу богатырскую тоже ведь не ты демонстрировал в Экипаже. А я ведь тебя предупреждал, что Витька Синяков даром ничего не делает. Не пойдешь гальюны драить, я кому надо капну, что ты смухлевал в комиссии. Тогда тебе такого пинкаря с флота дадут, что будешь только лететь и назад оглядываться.

– Ладно. Пойду. Выдраю.

– А еще с тебя десять хлебных паек, – добавил Синяков.

Придется отдать. Чтобы шума не поднимал.

\* \* \*

Спору нет, народ собрался разный… В основном – горожане, дети пролетариев и интеллигентов. Как это ни странно, очень мало юнг вышло из семей моряков. Больше всего явилось из провинции, где и моря-то никогда не видели. Но из русской истории известно: знаменитые флотоводцы, как правило, родились в раздолье полей и лесов, детство провели на берегах тихих, задумчивых речек, где водились скромные пескари, никогда не мечтавшие об океанах.

Были среди юнг и такие сорвиголовы, что перешли линию фронта, чтобы не жить в оккупации. Были детдомовцы, серьезные покладистые ребята, потерявшие родителей или никогда их не знавшие. Были и беспризорники, которых милиция подобрала на вокзалах, где они погибали от грязи и голода, попрошайничая или воруя. Наконец, был один парнишка из партизанского отряда, который уже изрядно хлебнул военного лиха, прежде чем исполнилась его мечта о море.

Сытых среди юнг не встречалось, а молодые растущие организмы требовали обильной кормежки. Война внесла свои жестокие нормы, и хлеб по карточкам приобрел для людей особый вкус и ценность. Оттого-то юнги, попав на флотский паек, вдохнув ароматов камбуза, обрели чудовищный аппетит, который не могли позволить себе прежде. Появились и «шакалы», что с утра до вечера маячили возле камбуза, обещая кокам вымыть баки из-под супа, в чаянии, что за это им что-либо перепадет. Подростки с более гордым характером клянчить не могли, зато изобретали свои способы предельного насыщения.

Мазгут Назыпов первым протянул Савке руку.

– Здравствуй. Ты на меня не сердишься?

– Нет. Я нашел другого.

– Вот и хорошо, – обрадовался Мазгут. – Давай условимся так: сегодня за ужином ты съедаешь мою и свою горбушку, а завтра я ем за тебя и за себя… Согласен?

– Конечно. Две горбушки всегда лучше.

К ним подошел рослый красивый подросток, который случайно слышал их разговор. Он сказал, что ему все это нравится.

– Включайте и меня в свою комбинацию. Съесть три пайки сразу еще лучше, нежели только две. Кстати, будем знакомы – Джек Баранов, москвич, будущий подводник.

– А почему ты Джек? – спросили его.

– Вообще-то я чистокровный Женька. Но я не понимаю, почему хуже называться Джеком. Вы Джека Лондона читали?

– Здорово пишет!

– Со временем собираюсь писать не хуже.

– Ого! Джек, но пока ты не Лондон, а только Лондоненок.

– Идет и это! Я разве обижусь? Итак, кинем жребий.

Но жеребьевку пришлось отменить за неимением монет и спичек. Договорились на словах, что обжорствовать начинает Савка: сегодня ему предстоит слопать сразу три пайки!

За ужином юнгам объявили, что завтра придут врачи. При этом у Савки екнуло сердце: опять станут крутить и щупать каждого. А вдруг обратят внимание, что левая рука у него не в порядке? Но старшины тут же его успокоили:

– Завтра всем будут сделаны уколы! Не отлынивать…

Большие чайники ходили вдоль длинных столов, а перед Савкой лежали сразу три горбушки хлеба. Только он было вознамерился запивать их чаем, как сзади к нему подкрался Витька Синяков:

– А-а, вот ты где затаился от суда истории…

Заметил три горбушки и заграбастал их себе.

– Ого, сколько ты нашакалил! С тебя еще семь таких же. Войди в мое трагическое положение: курить охота, а хлеб при случае можно обменять на табак. – И похлопал Савку по плечу, чтобы тот не раскисал: – Не плачь, дитя, не плачь напрасно. Спроси любого грамотного, и тебе скажут, что наедаться на ночь вредно.

Перед отбоем Савку прижали в угол Джек с Мазгутом:

– Слушай, ты зачем отдал наш хлеб этому прохиндею?

Савка признался, что, если бы не этот Синяков с его развитыми бицепсами, не видать бы ему флота как своих ушей.

– По-моему, – сказал на это Джек Баранов, – Витьке хлеба не давать, а лучше сообща набьем ему морду.

– Набей! – возразил Мазгут. – Ты ему банок накидаешь, а он доложит, что Савка врачей обдурил.

После чего друзья решили несколько вечеров поголодать, но чтобы Савка сразу рассчитался со своим вымогателем.

– И больше с ним не связывайся, – внушали они ему. – Врачей пока избегай. Приживись на флоте, чтобы тебя оценили. Попадешь на корабль, там доктора не такие живоглоты, как в тылу. Там тебя подлечат и – порядок… Пошли спать, ребята.

Но от Синякова не так-то легко было отвязаться.

– Уже кололи тебя? – спросил он Савку утром.

– Во какой шприц… А тебя?

– Моя нежная натура этого не выносит. Будь другом, подставь врачам попку и за меня. Назовись моей фамилией, как я когда-то назвался твоей… Или забыл услугу?

Пристав к очередной партии юнг, Огурцов покорно спустил штаны и принял второй укол. С болью чувствуя, как входит в тело игла, Савка уяснил для себя житейскую истину: одна ложь цепляется за другую, и из маленькой лжи вырастает большая ложь…

За два дня он рассчитался с Синяковым хлебом:

– Мы в расчете, и больше ко мне не лезь.

– Насколько я понимаю в политике, – ответил Витька, потрясенный честностью Савки, – ты моим верным вассалом быть не желаешь.

– Не желаю. У меня другие друзья.

Синяков откусил сразу половину пайки. Жуя хлеб, промычал:

– Ну, валяй. Посмотрим. Кстати, что у тебя с лапой? В каких дверях тебе ее прищемили? Может, ты инвалид какой?

Савка побежал прочь. Ну и липуч, проклятый.

\* \* \*

До самого конца июля томились юнги по баракам, отрезанные от общения с городом, лишенные права переписки. Старшины читали им строевой и дисциплинарный уставы. Но эти книжки навевали на юнг непроходимую тоску. Не веселее казались и строевые занятия, отработка шага и поворотов между стенами унылых бараков.

Тоска ожидания иногда рассеивалась лекциями комиссаров о славе и героизме русского флота. Изучали юнги и винтовку с гранатой – это уже охотно! Ни одного кинофильма юнгам не показали.

На все вопросы старшины отвечали:

– Умей ждать. Флот любит терпеливых ребят.

Среди юнг стали блуждать самые нелепые слухи.

– Вот гадом буду, – клялся один, – если совру. Это уж точно: всех нас скоро забабахают на Землю Франца-Иосифа.

– Вранье! – отвечали ему. – Сейчас каждого из нас втихаря проверяют, а потом станут готовить в десант. Севастополь обратно брать! Кто накроется – тому вечная память. А кто живым из десанта вернется, того допустят до сдачи экзаменов.

– Каких еще экзаменов? Мало мы их в школе сдавали?

– Говорят, по математике гонять станут. Икс равен игреку, тангенс-котангенс, ну и прочая мура…

В один из дней раздался голос дневального:

– Юнга Огурцов – на выход!

– С вещами? – спросил Савка.

А сердце, казалось, сломает все ребра в груди. Зачем на выход? Неужели дознались, что с рукой неладно?

– Без вещей! Тебя батька на ка-пэ-пэ дожидается.

Курящие хватали Савку у дверей, терзая просьбами:

– Папан твой с папиросами? Слямзи для нас по штучке.

– Да ну вас! – угрюмо увертывался Савка от просителей. – Он же меня выдерет, если я у него курева попрошу.

Отец, еще издали заметив сына, принялся хохотать. В самом деле, картина была уморительная: маленький человечек во фланелевке до колен, рукава закатаны, штаны подвернуты, а вырез фланелевки, в котором видна тельняшка, доходит до самого пупа.

– Ловко тебя принарядили, брат! – сказал отец, просмеявшись. – Ну, не беда. Давай отойдем в сторонку. Ты как живешь-то?

– Хорошо.

– Правду сказал?

– Конечно. Юнги, бывает, и в адмиралы выходят.

– Далеко тебе еще… до адмирала-то! Одного я боюсь, сынок. Учеба твоя в дальнейшем может сорваться, вот что. Вырастешь, и с каждым годом будет труднее садиться за учебники. Это я по себе знаю!

Отец начал службу на «новиках» Балтики, масленщиком в котельных отсеках. Прирожденный певец-артист, певцом он не стал. Прирожденный математик, ученым он не стал тоже. Флот заполонил его всего, и, хотя потом ему открылись все двери, он так и остался на кораблях. Прошел нелегкий путь от масленщика на эсминцах до комиссара.

– Твой поступок не осуждаю, – сказал отец. – Хотя ты и не посоветовался со мной. А я сегодня пришел попрощаться.

– Уходишь? Опять в море?

– Да. Ухожу. Только не в море – под Сталинград.

– Неужели, – спросил Савка, – у нас солдат не хватает?

Отец ответил ему:

– Если в добровольцы идут мои матросы, то мне, их комиссару, отставать не пристало. Положение на фронте сейчас тяжелое, как никогда. Война, сынок, кончится не скоро… Помяни мои слова: тебе предстоит воевать! А война на море – очень жестокая вещь. Как отец я желаю тебе только хорошего. И не дай Бог когда-нибудь тонуть с кораблем. Это штука малопривлекательная. Все совсем не так, как показывают в кинокартинах.

– А… как? – спросил Савка.

– Этого тебе знать пока не нужно. – Отогнув рукав кителя, отец глянул на часы: похлопал себя по карманам, словно отыскивая что-то. – Мне как-то нечего оставить тебе… на память.

– А разве, папа, мы больше не увидимся?

– В ближайшее время – вряд ли… Будем писать друг другу, но пока я еще не знаю номера своей почты. А ты?

– Нам тоже номер пока не сообщали…

– Тогда договоримся, – решил отец. – Ты пиши бабушке в Ленинград на старую квартиру, и я тоже стану писать туда.

– А если бабушка… если ее нет? – спросил Савка.

Отец нахлобучил ему на глаза бескозырку.

– Не болтай! Старые люди живучи. – Еще раз глянул на часы и спросил: – Хочешь, я оставлю их тебе?

– Не надо, папа. Тебе на фронте они будут нужнее.

– Ну, прощай. На всякий случай я тебе завещаю: не будь выскочкой, но за чужие спины тоже не прячься. До двадцати лет обещай мне не курить… Не забывай бабушку! Она совсем одна.

Отец поцеловал сына и шагнул за ворота. Савка долго смотрел ему вслед, но отец шагал ускоренно, не оборачиваясь.

А в бараках шла суматоха, юнги кидались к вешалкам, разбирая шинели.

– Эй, торопись, – сказали Савке. – Построение с вещами.

На дворе колонну разбили на отдельные шеренги. Юнгам велели разложить перед собой все вещи из мешков, самим раздеться до пояса и вывернуть тельняшку наружу. Старшины рыскали вдоль строя, придирчиво осматривая швы на белье:

– На предмет того, не завелись ли у вас звери.

Одного такого нашли. Напрасно он уверял:

– Это ж не гниды! Это сахарный песок я просыпал…

Его вместе с пожитками загнали в вошебойку. Вернулся он наново остриженный, и пахло от него аптекой.

– Запомните! – провозгласили старшины. – На кораблях советского флота существует закон: одна вошь – и в штаб флота уже даются о ней сведения, как о злостном вражеском диверсанте…

Перед юнгами – наконец-то! – раздвинулись ворота печального лагеря, обмотанные колючей проволокой, и колонна тронулась в неизвестность. В вечернем тумане, клубившемся над болотами, чуялась близость большой воды. Придорожный лесок вскоре поредел, и все увидели трухлявый причалец. Возле него стоял большой войсковой транспорт – неласково-серый, будто его обсыпали золой. Это было госпитальное судно «Волхов», ходившее под флагом вспомогательной службы флота. Началась погрузка юнг по высоким трапам. Сначала – на палубу, потом – в низы корабля. Светлые и просторные кубы трюмов заливало теплом и электричеством, в них бодро пели голоса вентиляции. Под самую полночь транспорт отвалил от топкого берега, не спеша разворачиваясь на фарватер. А когда дельта Двины кончилась и на горизонте просветлело жемчужным маревом, откуда-то из-за песчаного мыска вдруг вырвались два «морских охотника» и, расчехлив пушки, законвоировали госпитальное судно.

Команда «Волхова» наполовину состояла из женщин – врачей и санитарок, одетых в офицерскую и матросскую форму. Остальные – мужики-поморы, призванные на флот из запаса.

– Куда едем? – спрашивали юнги.

– Ездят лошади, а мы – идем. А куда – не твое дело.

Было приказано спать, и Савка долго залезал по скобам на свою койку, что размещалась на верхотуре трюма. Желтый свет померк – отсек залило мертвенно-синим (это врубили ночное освещение).

«Ну вот и море!» – думал сейчас каждый, переживая…

\* \* \*

Савка проснулся от качки – в остром наслаждении от нее. До чего же приятна эта стихийная колыбель. Но едва оторвал голову от подушки, как что-то вязкое и муторное клубком прокатилось по пищеводу, судорогой схватило горло. Устыдясь слабости, он заставил себя подняться. По железной этажерке нар слез на палубу трюма. Здесь в полном беспорядке ерзали с борта на борт заблеванные ботинки, раскрытые пеналы мыльниц, катались кружки и ложки. Отовсюду слышалось: шлеп… шлеп… шлеп! – это летели с высоты нар использованные полотенца. Из темного угла трюма до Савки донеслось чье-то жалкое и вялое бормотанье:

– Ой, мамуля, зачем я тебя не послушался? Ой, папочка, зачем только ты меня отпустил?

В лежку валялся и Витька Синяков; не вставая с койки, он потянул Савку за штанину, часто и стонуще повторяя:

– Какой я дурак… какой же я дурак… вот дурак!

«Волхов» положило в затяжном крене. Савка полетел, скользя, на другой борт. Он рухнул на какого-то юнгу, и тот с руганью отпихнул Огурцова обратно.

– За что, Витька, ругаешь себя? – спросил Савка.

Синяков отвечал ему от души, честнейше:

– Лучше бы меня в тюрягу посадили, чем так вот мучиться… – Он попросил воды из лагуна, но, отхлебнув из кружки, тут же выплеснул воду на палубу. – Противно… теплая. А пахнет железом и маслом. Ты пробовал?

Савка налил воды и себе. Выпил полкружки.

– Вода корабельных опреснителей. Нормальная…

И его тут же опорожнило от этой воды.

– А-а, баламут! – обрадовался Витька. – И тебя понесло!

Балансируя на палубе, уходящей из-под ног, Савка ответил:

– Пищать рано. Качаться нам еще и качаться…

Он выбрался на верхнюю палубу. Переходы трапов, сверкая медью, заманивали его в высоту. Трап… еще трап… еще. Дверь. Савке казалось, что если он в форме, то может ходить где хочет. Он открыл дверь, и в лицо ударило жарким шумом множества агрегатов, которые нагнетали в утробы корабля свежий ветер вентиляции. Вахтенный матрос грудью встал перед Савкой.

– Тебе чего? – грубо спросил он.

– Я так… посмотреть.

– Уматывай отсюда. Шляются тут… Нельзя.

Савка вновь оказался на палубе. Здесь, наполовину ослепленный брызгами, косо взлетающими из-за борта, он встретил Назыпова, мокрого и счастливого. Мазгут прокричал ему в восторге:

– Ох и красотища! Ты полюбуйся только на эти волны!

Савка глянул на волны, словно с крыши трехэтажного дома. Но корабль очень быстро провалился вниз, будто его спустили на быстроходном лифте, и волны оказались совсем рядом, возле самых поручней. От этой картины, в которой не было постоянства, а все непрестанно изменялось, Савке снова стало дурно.

– Эх, ты! – сказал ему Мазгут. – Еще питерский… Смотри на меня: хоть и касимовский, а хоть бы что…

Рассвет заполнял горизонт. Стали видны в отдалении «охотники». Море нещадно било их, взметывая на гребнях столь высоко, что иногда обнажались их черные днища.

Изредка через палубы катеров пробегали матросы в штормовой одежде.

– Вот это служба! – говорили юнги. – Как их там кидает… Неужели и нам такая судьба выпадет?

Не все оказались молодцами в море. Кое-кто уже проклинал тот день, когда рискнул связать свою жизнь с флотом. Сейчас многое вспоминалось. Кому – тихий садик дедушки на окраине города, где скоро поспеет сочный крыжовник. Кому – занятия в школе, где остались привычные классы, в которых никогда не качаются парты. А кто вспомнил и предостережения родителей: «Подумай прежде как следует. Флот – это тебе не шуточки!»

«Волхов» прилегал на борт, над его палубой несло водяные смерчи, и пена, похожая на разорванные капустные листья, еще долго лежала на трапах, гневно пузырясь и вскипая. Юнги удивились бы, узнай они, что служба погоды флота в эти дни штормов не отмечала. «Свежий ветер», – вот о чем говорила шкала Бофорта.

Обед был выдан роскошный: рисовая каша с изюмом, компот с черносливом. Однако напрасно старались корабельные коки – все полетело за борт, на прожор рыбам. Зато житье настало для тех, к кому море оказалось милостиво. Посмеиваясь, ели за десятерых. Мазали хлеб маслом толщиной в палец. Выдували по кастрюле компота и гуляли по трюмам, говоря небрежно:

– Развели тут свинарник. Сдержаться не могут.

Синяков поманил к себе Савку:

– Не знаешь, когда эта мука окончится?

Савка испытывал мстительное торжество победителя:

– А ты подумал, сколько плыли каравеллы Колумба? Больше двух месяцев. А что ты знаешь о моряках-скитальцах, которые у берегов Патагонии, огибая мыс Горн, дрейфовали иногда по году?

– Я бы… сдох! – ответил Витька, присматриваясь к Огурцову внимательней. – Щуплый ты. Тоже позарез укачался. Но, скажи мне честно, с чего это ты в бодрячка играешь?

– Я не играю. Мне и плохо, да все равно хорошо. Тебе этого не понять. Я на флоте по любви, а ты по хитрости…

Через сутки на горизонте показалась слабая искорка. Потом обозначился и конус высокой горы.

Качка заметно потишала. Юнги ожили, высыпав на верхнюю палубу. Как в старину на каравеллах Колумба, кто-то восторженно прогорланил:

– Земля… вижу землю!

Стали отряхиваться, приводили себя в порядок. Драили трюмы. Уже обрисовалась вдали полоска берега, словно вырезанная из зеленого малахита. «Охотники» вдруг отвернули в открытое море – обратно.

«Волхов» воем сирены уже оповещал землю о своем прибытии. Медленно он заходил в сказочную гавань, прямо в лазурь которой обрывались замшелые стены крепости, сложенные из диких валунов. Старинные пушки глядели на пришельцев из узких бойниц, словно выглядывая из другого века.

Суетясь, юнги спрашивали у команды «Волхова»:

– Что же это такое? Куда нас доставили?

Готовя швартовы для подачи на берег, один матрос ответил:

– Соловки.

При этом Витька Синяков сплюнул за борт:

– Ну, вот мы и влипли! Это же знаменитая тюряга.

Витькины дружки сразу завели нудную песню:

Вот умру я, умру, похоронят меня,

И никто не узнает, где могилка моя…

Стены крепости наплывали все ближе. Черный конус крутился на вышке метеостанции. С поста службы наблюдения у корабля запрашивали позывные. По дороге из леса босая старуха гнала хворостиной большущую свинью. Скоро на причале показалась фигура военного моряка.

\* \* \*

Лежал там грубо обтесанный камень. Если содрать с него мох, проступили бы древнеславянские письмена:

 ОТ СЕГО ОСТРОВУ

 ДО МОСКВЫ-МАТУШКИ – 1235 ВЕРСТ,

 В ТУРЦИЮ ДО ЦАРЬГРАДА – 4818 ВЕРСТ,

 ДО ВЕНЕЦИИ – 3900 ВЕРСТ,

 В ГИШПАНИЮ ДО МАДРИДА – 5589 ВЕРСТ,

 ДО ПАРИЖА ВО ФРАНЦИИ – 4096 ВЕРСТ…

А внутри острова – никем не тронутая глухомань. Через густой ельник едва проникают лучи солнца, горькие осины трепетно дрожат ветвями. В душных зарослях можжевельника и вереска, в россыпях брусники и клюквы кроются тропы зверей, еще не обиженных человеком. Среди обилия дикой малины, срывая ее пухлыми теплыми губами, бродят олени. Слепые лисицы живут на том острове – слепые, ибо чайки смолоду выклевывают им глаза, чтобы лисицы не воровали яиц из их гнездовий. А в глуши острова величаво покоятся десятки озер – красоты удивительной! И веками висит над лесом тишина, освященная древностью. Лишь бьется о берег море, гудят вершинами рыжестволые сосны да чайка, пролетая над озером, крикнет – и отзовется крик птицы над островом печально и одиноко…

Полтысячи лет назад на островах Соловецкого архипелага высадились первые русские люди. Это были новгородцы. Они и заложили обитель, ставшую потом столь прославленной. На островах нашли приют люди, гонимые властью. «Цари, охраняя свой покой, выбрасывали их сюда, в полное, казалось, небытие. А они и здесь продолжали думать и строить. На протяжении многих веков атмосфера Соловецких островов пропитывалась не только аскетической тоской и неудовлетворенностью отшельничества, она еще наполнялась огромной творческой энергией, которая и создала в конце концов чудо, имя которому – Соловки!» Так пишут сейчас наши историки… Во времена монгольского ига, во времена смутные Русь хоронила от врагов в монастыре Соловецком древние акты государства, памятники народной письменности; Русь сберегала за этими стенами ценности духовные. Монастырь был не только форпостом русской культуры в Поморье – обитель превратилась в мощный бастион, ограждавший Россию с севера от любого нападения. Инок соловецкий носил под рясой кольчугу воинскую, рядом с молитвенником он держал боевой меч. А цари московские привыкли одаривать Соловки не иконами с колоколами, а пищалями с пороховым зельем.

Суровая природа не давала лениться. Соловецкие монахи были тружениками, спорившими с природой. Они соединили острова архипелага дамбами, а между озерами прокопали судоходные каналы; системы шлюзов, водяных мельниц и подземных туннелей были достойны восхищения! На Соловках был создан первый в России «небоскреб» – храм Преображения, выше московского Успенского собора; он виден с моря за многие десятки миль. Инженеры-самородки в рясах создали такую систему докования кораблей, что даже английские инженеры приезжали на Соловки копировать эти доки для своего Лондона.

В 150 верстах от Полярного круга иноки выращивали в оранжереях дивные цветы, а в парниках вызревали арбузы, дыни, огурцы и даже персики.

Здесь каждый камень – сама история. На сбережение для потомства отдал на Соловки свою саблю князь Пожарский. Писатель и воин Авраамий Палицын трудился здесь, философствуя над судьбами Отчизны. Здесь укрывались от рабства беглые, прятались ученые начетчики, пережидали время гонений буйные ватаги Степана Разина, и здесь же скончался последний атаман Запорожской Сечи – Степан Кальнишевский. Страшным бунтом ответил Соловецкий монастырь на притеснения царей московских, и восемь лет без передыху иноки бились мечами на стенах обители с войсками правительства. А потом, уже в Крымскую кампанию, под стены монастыря подплыл английский флот. Он избил дворы и стены монастыря бомбами, но Соловки не сдались, выстояв под мощным огнем противника.

В зените богатства и могущества Соловецкий монастырь желал сыскать на островах только золотую жилу да источник горючего – все остальное было в избытке. Пять заводов работало в монастыре, где монахи строили пароходы и лили сталь. Они были капитанами и механиками собственного флота. Они были художниками, картины которых попали в Третьяковскую галерею. У них работали свои типографии и литографии. Они были сукноделы, фотографы, кузнецы, гончары, ювелиры, огородники, сыровары, сапожники, архитекторы, скотоводы, рыбаки, зверобои, косторезы… Невозможно перечислить ремесла, которые процветали на Соловках! Сюда шла многоликая Русь не только на поклон Святыням, но и чтобы восхититься плодами рук человека, дабы наглядно узреть чудеса, на какие способен русский человек в суровейших условиях, вблизи Полярного круга.

Соловки – настоящий оазис русского Севера, который раскинул свои пленительные кущи посреди студеного Белого моря.

И вот в 1942 году советское командование решило, что лучшего места для обучения юнг не найти. Здесь здоровый климат, от сосен и моря дух насыщается бодростью, а целительная вода озер закаляет тело.

\* \* \*

«Волхов» уже втянулся в гавань Благополучия; стали различимы отдельные камни на берегу; выводки чаячьих птенцов, не боясь людей, ковыляли по тине прибрежья.

Транспорт с юнгами встречал пожилой капитан третьего ранга. Сам в далеком прошлом начинавший флотскую службу мальчишкой, старик сильно волновался. С «Волхова» подали на причал сходни, и толпа юнг повалила на берег, а он шутливо покрикивал:

– Бодрости не вижу, черт побери! Ты же – юнга, так по трапам дьяволом порхай…

Ну, вот и прибыли. Что-то будет дальше?

Эпилог первый

(Написан Саввой Яковлевичем Огурцовым)

Была в Заполярье прохладная весна – весна 1945 года.

Мне вот-вот должно было исполниться семнадцать лет, и штурман с эсминца сказал с улыбкой:

– Огурцов, не пришло ли тебе время побриться?

Я тронул подбородок, ставший колючим, и сразу заробел:

– Не умею! Еще никогда не брился. Можно, я так похожу?

– Так нельзя. Бриться все равно когда-то надо…

Ночью дивизион эсминцев Северного флота получил приказ о переходе на повышенную боевую готовность. Ребята опытные, мы уже знали, чего следует ожидать. Скоро плотный, как тесто, ветер полетел нам навстречу. Брандвахта сообщила, что на Кильдинском плесе запеленгованы четыре германские подводные лодки: видать, они дружно всплыли, чтобы подышать свежим воздухом, проветрить зловонные отсеки.

Сколько было таких спешных выходов, и сколько раз пред нами распахивался океан! Дивизион шел хорошо, и за кормами эсминцев, часто приседающими на разворотах, вырастали буруны. Вода ярко фосфорилась от работы винтов.

На трапе мне встретился штурман, заметил:

– Так и не побрился? После похода – обязательно.

Перед рассветом команды получили горячий чай с клюквенным экстрактом, белый хлеб с консервированной колбасой. Колокола громкого боя, как я заметил, всегда начинают бить в самые неподходящие моменты. Вот и сейчас все побросали кружки, чай полетел на палубу. Я занял место в своем посту, гудящем моторами и аппаратурой. Как это делал сотни раз, я сказал штурману в телефон:

– Бэ-пэ-два бэ-че-один – к бою готов![1]

В соседнем отсеке провыли лифты элеваторов, подавая на орудия боезапас. Я слышал, как в погребах старшина подачи крикнул:

– Пять ныряющих и два фугаса… подавай!

Очевидно, на локаторах засекли рубку всплывшей подлодки противника. Замкнутый в своем посту, я по звукам определял, что творится на эсминце. Ну, так и есть: выходим на бомбометание. Бомбы кидали на врага сериями, штук по пять сразу, и при каждом взрыве стрелки датчиков нервно вздрагивали под стеклами. С гвардейского «Гремящего» сообщали, что бомбы они свалили хорошо, и сейчас удалось подцепить из моря полное ведро немецкого соляра, всплывшего с подводной лодки. Утром оперативники флота велели дивизиону возвращаться на базу, и мы, выстроившись в кильватер, рассекали форштевнями слякоть рассвета, еще не зная, что этот выход эсминцев в море явится нашей последней боевой операцией.

Восьмого мая на рейде Ваенги[2] началось необычное оживление. Поднялась дикая пальба на союзных кораблях. Рейд покрылся шлюпками с разноцветными, как рекламные плакаты, парусами. С конвойного корвета флота свободной Норвегии бородатые люди возносили к небесам божественные псалмы. А из иллюминаторов американского авианосца то и дело выскакивали в море опорожненные бутылки. Шлюпки подруливали к бортам наших эсминцев, союзники спрашивали, почему мы не ликуем. Они кричали, что война с Гитлером окончена. Мы говорили в ответ, что Москва еще молчит…

Было пять часов ночи, когда трансляция ворвалась в спящие кубрики. Радисты врубили ее на полную мощность, отчего динамики репродукторов, привинченные к переборкам, содрогались и с них слоями отлетала краска, словно с орудий при беглой стрельбе.

Это была весть о победе! Полураздетые, вскакивали мы с коек и рундуков, целовались и обнимались. А потом по трансляции выступил командир эсминца:

– Я думаю, что хотя побудка сегодня произошла раньше срока, но это самая счастливая побудка в нашей жизни. Спать мы, конечно, уже не ляжем. А потому, товарищи, убирайте койки, начнем авральную приборку… Готовьтесь к параду Победы!

После аврала я снова попался на глаза своему штурману.

– Ну, что мне с тобой делать, Огурцов? Вроде бы дисциплинированный юнга, а… Когда ты наконец побреешься?

Мы перешли в Полярный, и ветер здорово покрепчал. Это был отжимной ветер – он отталкивал наш эсминец от берега на середину гавани, и швартовы вытянулись в струны. По носу у нас стоял тральщик, а за кормой – американский корвет, экипаж которого не просыхал от выпивки.

Командир велел подать на причалы еще несколько швартовых. Как сейчас помню, за берег нас держали уже одиннадцать стальных тросов толщиной в руку ребенка. Эсминец готовился идти на парадное построение кораблей в Кольском заливе. Был дан сигнал короткого отдыха, и матросы, утомленные праздничной суетой, прикорнули на рундуках. Пользуясь затишьем, я взял у старшины бритву, намылил щеки и – мне стало смешно. Вспомнил я, каким молокососом пришел в экипаж Соломбалы, прямо из детских штанишек перебрался в гигантские клеши, и от этого стало еще смешней…

Около зеркала я отдраил иллюминатор, в его кругляше виднелись ослизлые сваи причала. Даже не сообразил я сразу, что такое произошло, когда эти сваи вдруг поплыли мимо иллюминатора. Затем сверху, через воронку люка, раздался противный треск. Бросив бритву, я кинулся по трапу на полубак, и надо мной взвизгнул лопнувший швартов. Глянул на мостик – там ни одного офицера, только метался одинокий сигнальщик, голося в ужасе:

– Ход дали… обороты на среднем… авария!

Я не сразу осознал всю дикость обстановки! На палубе – ни души. Корабль, держась за берег тросами, начал движение.

Форштевнем он таранил тральщик, один наш швартов случайно подцепил американца под корму, трос натягивался и уже начал вытаскивать союзника из воды. От юта бежал босой, прямо с койки, боцман, крича издали:

– Отдавай концы! Отдавай, отдавай!

Уловив миг ослабления швартовов, я стал раскручивать «восьмерки» с кнехтов. Конечно – без рукавиц, причем натянутые до предела тросы ранили руки. Эсминец продолжал работать турбинами. Швартовы лопались с такой силой, что, саданув по борту рваными концами, оставляли шрамы на прочном металле. Снова острое вжиканье, будто мимо пронесся снаряд, и трос мотнулся над моей головой. Даже прическу задело! Хорошо, что я пригнулся секундой раньше, иначе снесло бы за борт половину черепа. На пару с боцманом мы отдали носовые… А союзный корвет вздернуло тросом за корму так, что обнажились его винты, и там в панике бегали два нетрезвых американца, один с аккордеоном, другой с мандолиной. На мостик уже взлетел наш командир, не успевший накинуть китель. Из люков и дверей перло наверх команду по сигналу тревоги…

Потом выяснилось, что телеграф на мостике остался зачехленным, рукояти его стояли на «стопе». А в машинах диск телеграфа почему-то отработал «средний вперед». Котельный машинист повиновался движению стрелки и дал пар на турбины. Эсминец со спящей командой, не выбрав швартовых, тронулся вперед. Хорошо, что ЧП случилось не в море на боевой позиции, а в родимой гавани. Обошлось без катастрофы.

Я снова спустился в кубрик и окончил свое первое в жизни бритье.

По трансляции с мостика объявили:

– Юнге Эс Огурцову за проявленную инициативу и активные действия в аварийной обстановке объявляется благодарность…

Это была последняя благодарность, полученная мной на флоте.

Парад кораблей в честь нашей победы на всю жизнь остался в памяти. Никогда не забуду, как изрыгнули огненные смерчи башни линкора «Архангельск», как чеканно качались вдоль палуб одетые в черное прославленные экипажи подводных лодок. Наш эсминец тоже выпаливал в небо из пятидюймовок. Гирлянды огней повисали под облаками, неслышно опадая в воду, а от Мурманска гремела музыка – там тоже линовали победившие люди.

Штурман стрелял из ТТ, а мне достался пистолет системы Верри, похожий на пиратский. Я заталкивал в него нарядные патроны фальшвейров, выстреливая их над собой. Мои ракеты взметывало ввысь, и они сгорали в удивительной красоте праздника, а я стрелял и стрелял. Я, как ребенок, стрелял и плакал. Патрон за патроном! Хлоп да хлоп! Ракета за ракетой! Мне было очень хорошо.

– Ура! Мы победили…

Так я, юнга Эс Огурцов, закончил войну…

Разговор второй

На этот раз вместо книг по тропической медицине я увидел на столе Огурцова стопку книг о древнерусской живописи.

– Возник новый интерес? – спросил я.

– У меня всегда так… Я привык обкладывать себя книгами на тему, которая мне мало известна или непонятна. Я поставил себе за правило: в день не меньше сорока страниц нового текста. Если свежих книг нет, я перечитываю что-нибудь знакомое, но уже не сорок, а сто страниц… Этим я постоянно держу себя в норме.

– Но ведь на это у вас уходит все свободное время?

– Как понимать «свободное время»? – спросил Огурцов. – Что значит «свободное»? Разве время должно быть незаполненным? Или вне работы человек должен гонять лодыря? Неверно! Карл Маркс называл свободное время пространством для развития личности…

Потом мы заговорили об отношении ремесла к образованию. Огурцов, кажется, гордился своей принадлежностью к «великому цеху мастеровых и ремесленников».

– Значит, у вас нет никакого диплома?

– Школа юнг была единственным учебным заведением, которое я окончил. С тех пор я учу себя сам, и мне это нравится.

Очевидно, я задел больную струну в душе Огурцова.

– Диплом ведь еще не делает человека счастливым, – продолжал он. – Разве плохо быть хорошим ювелиром, скорняком или стеклодувом? Ведь чудеса можно творить! Вот я, компасный мастер, знаю русскую историю не хуже аспиранта в университете. Но я же не требую для себя диплома историка. По пять лет сидят на шее у родителей и государства, протирают себе штаны, а потом выясняется, что профессия им не нравится. Они, видите ли, ошиблись! Вот откуда рождается неудовлетворенность жизнью.

Постепенно наш разговор переключился на юнг.

– Сейчас я вам кое-что покажу. – Огурцов вышел и вернулся с бескозыркой размером не больше десертной тарелки. – Вот это – моя… Смешно, правда? Глядя на нее, понимаю, какой я был тогда маленький. А счастлив я был тогда безмерно! Но первый пот с нас сошел именно на Соловках. Пришлось делать то, к чему некоторые из нас никак не готовились. Нам казалось, что главное – надеть форму. Однако еще никто не становился моряком от ношения тельняшки и бескозырки. Одного желания сражаться с врагом еще мало.

– Ну, а романтика… – напомнил я неосторожно.

Савва Яковлевич неопределенно хмыкнул.

– Романтика – фея нежная и весьма капризная. С нею надобно обращаться осторожно. Для тех, кто действительно любил флот, трудности только укрепляли их романтическое стремление. А из таких, что случайно увлеклись морем, романтику вышибло сразу, как пыль из мешка. Такие люди видят в морской службе лишь тяжкую повинность, которую приходится отбывать в расплату за минутное увлечение юности.

– Вы мне подали мысль, – сказал я. – Следующую часть я с ваших же слов назову так: «Без романтики».

– Вы все перепутали, – сердито отвечал Огурцов. – Таких слов я никогда не произносил. Как я, романтик в душе, могу отказаться от романтики? Нет, романтика как раз была. Только путь к ней лежал через преодоление трудностей. Тут скрывать нечего: было нелегко.

– Так как же мы назовем следующую часть?

– А как хотите, – отмахнулся от меня Огурцов.

В конце разговора, собираясь уходить, я спросил:

– Савва Яковлевич, вы сегодня чем-то огорчены?

– Да. В газетах пишут, что какой-то мерзавец застрелил на Соловках последнего оленя. Это был самец. А год назад браконьер убил самку. Убил ее, сожрал тишком, а обглоданные кости забросил в крапиву… Архипелаг лишился большого семейства. Много веков назад монахи завезли оленей из тундры на остров и приучили их к жизни в этом дивном лесу. У красоты отнята часть ее! Соловки, – заключил Огурцов, – драгоценная жемчужина в короне нашего государства, а любой жемчуг, как вы знаете, нуждается в уходе. Иначе он померкнет и ему уже не вернуть былого блеска!

Часть вторая Гавань благополучия

Не секрет, что в начале войны на самые опасные участки фронта командование бросало «черную смерть» – матросов! Тогда-то и появилась эта отчаянная песня:

А когда бои вскипают

И тебе сам черт не брат,

В жаркой схватке возникают

Бескозырка и бушлат.

Это в бой идут ма-тро-сы!

Это в бой идут мо-ря!

Никогда не сдаваясь в плен, предпочитая смерть с последним патроном, многие моряки не вернулись из атак на свои корабли. Уже на втором году войны флот испытывал острую нехватку в хорошо обученных специалистах. Ведь те, кто погиб на сухопутье, были минерами, радистами, рулевыми, гальванерами, оптиками и электриками…

Павших должны были заместить юнги. Хотя по званию они и ниже краснофлотца, но Школа юнг должна дать им полный курс обучения старшин флота.

Царский флот имел своих юнг. В советском же флоте юнги никогда не числились. Имелись лишь воспитанники кораблей, но плачевный опыт их «воспитания» привел к тому, что во время войны их на кораблях не держали. Эти воспитанники были, по сути дела, живой игрушкой в команде взрослых людей. Они хорошо умели только есть, спать, капризничать и получать в школе двойки, ссылаясь на свою исключительность.

Совсем иное дело – юнги! Это тебе не воспитанник, которому не прикажешь. Юнга – ответственный человек, знающий дело моряк. Приняв присягу, он согласен добровольно и честно участвовать в битве за Отчизну, и смерть вместе со взрослыми его не страшит, как не страшит и любая черная работа.

Слово «юнга» – голландского происхождения, как и большинство морских терминов, пришедших на Русь в пору зарождения русского флота. Основав в 1703 году легендарный Кронштадт, Петр I открыл в нем и первое в стране училище юнг. Сам император, будущий шаутбенахт флота российского, начинал службу на флоте в чине «каютного юнги». А это значило, что если адмирал Корнелий Крюйс прорычит с похмелья в каюте: «Рррому… или расшибу всех!» – то император должен покорнейше ответствовать: «Не извольте серчать. Сейчас подам…»

Но времена изменились круто, и нашим юнгам таскать выпивку по каютам офицеров уже никогда не придется.

\* \* \*

«Волхов» высадил юнг на Соловках утром второго августа, и первые пять дней они провели в кремле, где их все восторгало. Ощущение такое, что эти гиганты-камни сложены не муравьями-людишками, а сказочными циклопами. Обедали юнги в Трапезной палате кремля, которая по величине сводов и дерзости архитектурной мысли могла бы соперничать и с Грановитой палатой Московского Кремля. Странно было просыпаться в кубриках, где когда-то томились декабристы…

Постепенно юнги усвоили, что они становятся военнослужащими, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Одно из таких последствий вменяло им в обязанность трудиться. Но пошли гиблые разговоры, что «ишачить не нанимались», и от работ некоторые отлынивали.

– Сачок! – говорили о таких. – Опять сачкует.

Помимо морской терминологии, давно вошедшей в уставный и литературный обиход, существовал на флоте еще и жаргон. К примеру, «гауптвахта» – слово пришлое из неметчины, хотя всем понятное, но как оно превратилось в «губу» – этого уже никакой академик не выяснит.

Когда один юнга говорил в бане другому: «Ну-ка, подрай мне спину мочалкой», – то это говорилось по-морскому точно, и греха в такой фразе не было. Но когда за обедом слышалось над мисками: «Рубай кашу живей!» – то это уже был не язык моряков, а глупейшее пижонство.

Савка Огурцов почему-то сразу невзлюбил дурацкий жаргон и тогда же решил, что он не станет осквернять свой язык. Сачков он называл по-русски лодырями, а на камбузе не рубал, а просто ел (или, как говорили любители уставов, принимал пищу).

Кремль тогда принадлежал учебному отряду.

– Видал-миндал? – говорил Синяков. – Вот как гайку у них закручивают… Ежели и нас таким же манером завернут, убегу.

– И станешь дезертиром, – отвечал ему Савка.

– Какой же я дезертир, коли присяги еще не давал. Я не дурнее тебя и сам знаю, что бежать после присяги опасненько…

Скоро юнгам выдали первое их оружие – противогазы. Конечно, они по-мальчишески тут же развинтили и свинтили все, что в противогазах откручивалось. Это кончилось для любопытных плохо, потому что юнг сразу погнали в герметические камеры, где их окуривали хлорацетафеноном. У кого противогазы оказались неисправными, те потом до вечера не могли открыть глаз, из которых струями текли обильные слезы.

Юнги изучали положения воинских уставов. Им велели твердо помнить нумерацию форм одежды.

– Вот сейчас вы одеты по форме номер три. При температуре воздуха до минус шести, когда положены шинели, форма будет шестой. Но если смените бескозырку на зимнюю шапку, это форма седьмая…

Выяснилось, что некоторым номерам юнги не могли соответствовать, ибо у них не было бушлатов, не было и белоснежных форменок – только фланелевки. Начинался бунт:

– А когда бушлаты дадут?

– У меня ботинки каши просят…

– Почему нам белых форменок не дали? Или мы других хуже?

– Спокойно! – утихомиривали юнг офицеры. – Форменок вы и не увидите, ибо на Северном флоте они не входят в форму одежды. Бушлаты выпишут позже. А кто, недели не прослужив, умудрился ботинки порвать, ну это, знаете ли… На вас не напасешься! По аттестату обувь выдается матросу на год службы. Нечего в футбол гонять булыжниками вместо мячей!

Занятия пошли на пользу, и скоро шутники изобрели новую форму для ношения в тропических морях. Они прыгали по койкам в нижнем белье и с противогазными масками на лицах:

– Стройся по форме раз – кальсоны и противогаз!

А за монастырем лежало глубокое Святое озеро, и юнги, стоило отвернуться начальству, нещадно, до синевы, до дрожания губ купались в нем. Савка при этом сиживал на бережку.

– Огурцов, – звали его с воды, – полезай к нам.

– Не хочется, – отвечал он, завидуя товарищам острой завистью отверженного. – Да и не жарко сегодня.

Огурцов… врал! Он врал от позора, что угнетал его.

Огурцов не умел плавать! Да, так уж случилось, что, мечтая о большом море, он не выучился плавать в той мелкой речке, возле которой жил на даче. И вот теперь Савку мучил стыд перед товарищами, когда они хором обсуждали достоинства кроля, брасса или баттерфляя.

Чтобы не оказаться в одиночестве, Савка вставлял и свои лживенькие слова:

– А я так больше саженками…

Мирное житие в тихой обители неожиданно кончилось. Юнгам еще разок вкатили по два укола, так что сесть было нельзя, и велели выходить из кремля с вещами. Святые ворота, похожие на въезд в боярский терем, выпустили их на берег Гавани Благополучия.

Колонна миновала поселок, юнги углубились в густой лес. Опять никто ничего не знал – куда, зачем, почему?

Савка глянул назад и поразился:

– Я и не думал, что нас так много.

Рядом с ним шагал рыжий юнга с фальшивой железной коронкой во рту.

– Поднабрали нас немало, – согласился он. – Если все станут одного лупцевать, то сразу пиши – амба! Живым не уйдешь.

Лес, лес, лес… гуще, темнее, сырее. Куда ведут?

– Ишачить, наверное, – пророчили пессимисты.

\* \* \*

Зато оптимисты радовались… Она была прекрасна, эта дорога, и юнги, вчерашние горожане, даже малость попритихли при виде ее красот.

Сколько озер! Сложная система старинных дамб, возведенных трудом богомольцев, была создана вполне художественно – гармония с природой соблюдена. Идешь по такой дамбе, справа возле самых ног плещет рыбой озеро, слева внизу, будто в пропасти, тоже затуманилось волшебное озерко.

Как люди умудрялись одной лопатой творить такие чудеса – непостижимо!

Юнги шагали целый день и наконец устали.

Над лесом уже вырастала коническая гора, на вершине ее стояла церковь, в куполе которой расположился маяк. Это был тот самый маяк, теплые огни которого посветили юнгам в ночи их первого плавания. А по склону горы спускался к дороге заброшенный фруктовый сад.

– Товарищ старшина, а далеко нам еще топать?

– Теперь уже близко. Почитай, все Соловки прошли мы сегодня, с юга прямо на север. Движемся к заливу Сосновому.

– А там что? Или опять секрет?

– Там колхоз рыбацкий. Место старинное.

– Неужели и мы в колхозе жить будем?

– До Соснового мы не дойдем. Скоро покажется наше озеро.

В просвете величавых сосен и вправду засветилось озеро – длинное, мрачное, колдовское. Хотелось верить, что по ночам, когда притихнет природа, в этом озере начинают играть водяные, высоко всплеснет воду чаровница-русалка… Совсем неожиданно, разрушая очарование, громадная черная крыса с длинным хвостом спрыгнула с кочки в воду. За ней – другая, третья, еще, еще крыса.

– Бей их! – закричали юнги, ломая строй.

Кто – за камень, кто – за палку. И – понеслись.

– Стой! – властно задержал их офицер, сопровождавший колонну. – Это мускусные крысы из Канады. Называются – ондатры. Для человека безобидны, а мех отличный, дорого ценится на международных пушных аукционах.

Побросали камни и палки. Вернулись в строй.

– Надо же! А я-то обрадовался… вот дурак.

Еще один поворот, и за лесом открылась сваленная из камней конюшня, в воротах которой устало фыркала одинокая лошадь. Там, где есть лошадь, должны быть и люди. Верно, вот и баня топится, тоже каменная, тоже древняя. Показался дом, совсем неподходящий для такой глуши, – в два этажа, с резными карнизами, а на крыше – башенка, вроде беседки, для обзора окрестностей. Перед домом был разбит сквер – с клумбами и березками. А за садиком возникла угрюмая постройка с черными глазницами окон, и на каждом окне – тюремная решетка. Возле этого здания, почти впритык к нему, красовалась церковь святой Одигитрии. Едва держась на последнем гвозде, висела над мрачным домом доска с непонятной надписью:

 С. Л. О. Н.

– Стой! – скомандовали старшины. – Напра-во! Вольно.

День уже мерк, последние чайки отлетали на север, откуда пошумливало близкое море.

Перед строем появился флотский офицер политработник. С тремя нашивками, в том же звании, в каком ходил и Савкин отец. Осмотрев строй, он сказал:

– Поздравляю вас, товарищи юнги, с прибытием к месту вашей будущей службы. Именно здесь будет создана первая в нашей стране Школа юнг Военно-Морского Флота, и отсюда, товарищи, вы уйдете на боевые корабли.

Над лесом замерло эхо. От озерной осоки тянуло туманцем. В общей тишине прозвучал отчетливый хлопок по шее.

– Эй, чего ты спохватился?

– Да комар… вон их сколько!

– Товарищи, – продолжал офицер, – давайте познакомимся. Я в звании батальонного комиссара, зовут меня Щедровский, буду заместителем начальника школы. А место, где мы сейчас с вами находимся, зовется Савватьевым – по имени новгородца Савватия, одного из первых русских людей, который полтысячи лет назад высадился на Соловках с моря. Гора с маяком, мимо которой вы сейчас проходили, называется Секирной… Секирная, потому что в древности там кого-то здорово высекли, но кого – точно не извещен… У кого есть какие вопросы – прошу задавать.

Один юнга, видать, приготовил свой вопрос заранее:

– А в отпуск можно будет съездить?

– Разве ты успел утрудиться? – спросил его комиссар.

– А тогда можно, чтобы моя мама сюда приехала?

– Никаких мам и пап! – отрезал Щедровский. – Здесь вам не детский сад.

Попросил слова рыжий юнга по фамилии Финикин:

– А кормить будут? Или сегодня ужин зажмут?

– Что за выражение! – возмутился комиссар. – Ужина никто не «зажмет», он просто не состоится. На берегу озера только начали складывать печи, чтобы приготовить вам обеды. Пока предстоит кушать под открытым небом. Завтра утром получите горячий чай. Ну, хлеб, конечно. Ну, по кусочку масла. Со временем, когда все наладится, обед ваш будет по-флотски состоять из трех блюд. Еще вопросы?

Огурцов точно по уставу назвал себя, потом спросил:

– Скажите, что означает эта надпись: «С.Л.О.Н.»?

Щедровский обернулся к фасаду мрачного здания.

– Ах эта, – засмеялся он. – Она расшифровывается очень просто: «Соловецкий лагерь особого назначения». Здесь, товарищи, когда вас еще на свете не было, размещалась знаменитая тюрьма. В ней сидели бандиты-убийцы, взломщики-рецидивисты и мастера по ограблению банков. Их давно уже здесь нет, тюрьма в Савватьеве ликвидирована еще в двадцать восьмом году…

Как раз в этом двадцать восьмом году Савка появился на свет.

Щедровский велел старшинам разводить юнг ко сну.

Внутри бывшей тюрьмы – длинные коридоры, большие камеры. Лампочки едва светятся в пыли.

Старшины кричат:

– Прессуйся, молодняк! Запихивайся для ночлега.

– Да тут уже ступить некуда, – попискивали малыши.

– Ничего, утрясетесь. Или в лесу ночевать лучше?

Стены полуметровой толщины. Глазки, проделанные для надзора за бандитами, начинались в коридорах кружочками с монету, зато и камерах они расширялись в громадные кратеры в полметра радиусом, чтобы глаз надзирателя охватывал все пространство камеры. Кто-то из числа неунывающих уже бегал по коридору, вставлял губы в эти дырки, кричал радостно:

– Тю-тю, тю-тю! Вот мы и дома… зовите в гости маму!

Было холодно.

Синяков растолкал юнг послабее, широко разлегся на полу, положив мешок под голову. Мешок был тощий, подушки заменить не мог, и потому Витька голову свою положил на живот одного малыша, который не сопротивлялся.

– Ну, влипли! – посулил Витька всем. – Наобещали нам бочку арестантов, так и вышло. Всех за арестантскую решетку забодали… У-у черт бы побрал, до чего курить хочется…

Раздался тонкий вскрик. В углу юнги стали ругаться.

– Эй, чего там авралите? Спать надо… ша!

Кто-то чиркнул спичкой, и в потемках камеры она высветила на стене выскобленные гвоздем слова: «Здесь страдал по мокрому делу знаменитый от Риги до Сахалина московский налетчик Ванька Вырви Глаз. Боже, помоги убежать!» Спичка погасла.

\* \* \*

 «Здравствуй, дорогая бабушка!

 Мечта моей жизни исполнилась – я стал моряком, а мама умерла на вокзале, так и не повидав папы, а сам папа ушел на фронт. Сейчас я пишу тебе перед построением и потому спешу. Вот мой номер полевой почты… А нахожусь я в таком чудесном месте, какое известно всем русским людям, только называть его не имею права. Ты поймешь, где я нахожусь, если я скажу, что тут или молились, или сидели за всякие делишки. Здесь очень красиво. Кормят нас хорошо, но мне все равно не хватает на воздухе. Один врач сказал, что при строгом военном режиме я поправляюсь после блокады скорее, чем на карточку иждивенца. Бабушка, я тебя очень люблю…»

Писание письма прервал сигнал на построение. Щедровский отобрал серебряную дудку у вахтенного юнги.

– Это тебе не свистулька! – заявил сердито. – А ты не дворник, который высунулся из подворотни и зовет милицию… Старшины, – наказал он, – впредь юнг ставить на дежурства, отработав с ними морские сигналы на дудке.

Утром пошел короткий, но крупный дождь. В мокрой листве зябко вздрогнул на дереве репродуктор, и Москва передала на Соловки последнюю сводку событий. Юнги молча слушали об ожесточенных боях и степи близ Котельникова, в районе Армавира на Кавказе; военно-морские силы союзников совместно с авиацией начали наступление в районе Соломоновых островов; в Индии большие волнения, англичане арестовали Ганди и Неру. Сталинград в сводке еще не упоминался…

Щедровский начал разговор неожиданно:

– Товарищи, кто из вас любит возить тачку?

Юнги подумали, что комиссар шутит, а Витька Синяков присел, чтобы его не заметили, и пропел залихватски:

Грязной тачкой

Руки пачкать?

Ха-ха!

Это дело перекурим как-нибудь!

– Перекурить не удастся, – сказал комиссар. – А эту песенку я на первый раз вам прощаю. Итак, деловой вопрос: кто согласен работать на тачках? Кто хочет копать землю? Или быть лесорубом?

Вот уж не ожидали юнги, что флот предложит им такие профессии. Строй не шелохнулся. Щедровский был явно огорчен.

– Товарищи, – заговорил он, – что-то я не совсем понимаю ваши настроения. Школа юнг сама собой не построится. Вас ведь никто за шиворот на флот не тянул. Вы пришли сами, по доброй воле, и это накладывает на всех юнг особые обязанности…

Перед строем появился мужик с плоской бородкой, держа за поясом остро отточенный топор. Это был местный прораб-трудяга, и нежелание юнг с радостью схватиться за тачку он расценил как злостное хулиганство. Прораб вмешался в речь комиссара.

– Да что вы этой шпане байки рассказываете, товарищ начальник? Они же сюда озоровать приехали. Сплошное жулье – по глазам видно. Пороть бы их всех по понедельникам, чтобы во вторник еще добавить…

Юнги грянули хохотом, а Щедровский посуровел.

– Если вам кажется, что флот станет кормить и одевать тунеядцев, то вы здорово ошиблись. Не такое сейчас время, чтобы с вами тут цацкались… Старшины, начинайте!

Старшины были новые: видать, они уже давненько прозябали в скуке Савватьева, ожидая прибытия юнг, и теперь рады были проявить служебное рвение. Нет, они не деликатничали:

– Вы в землекопы – отходи в сторону. Вторая группа, пойдете на валку леса. Третья – кру-хом! На дергание мха и сортировку пакли. Четвертая… Отставить! Что за вид у вас?

Открылась истина: Школы юнг как таковой вообще не существует. Имеется лишь вот эта бывшая тюрьма, приютившая юнг за своими решетками. В лесу домик санчасти. Бывшая гостиница для богомольцев, где разместилось начальство. И все. Школы же и жилья – н е т… Флот оборачивался другой стороной – не парадным шествием кораблей в кильватере, не шелестом вымпелов над головой. Флот предлагал лопату и тачку как пропуск в морской мир!

Савка попал в группу юнг, созданную для набивки матрасов водорослями. Подчинялись они старшине Росомахе – щеголю и скептику лет тридцати. Он завел юнг подальше в лес и там прочитал нудную лекцию о том, что за восемь лет службы он и не таких обламывал. После чего показал на Огурцова:

– Ты не кровь с молоком, вот и будь за старшего…

В просвете могучих сосен открылось море. Это была Сосновая губа, в устье которой виднелись домики рыболовецкого колхоза. Вдоль берега, обнимая старинные камни, обвешивая стволы прибрежных деревьев, квасились завалы морской капусты. Юнги пихали в матрасы водоросли посуше.

– Во спать-то лафа будет! Мягче сена.

– И пахнет… А чем пахнет?

– Йодом. Из такой капусты йод выжигают.

– А японцы едят ее. Может, и мне попробовать?

Кое-кто попробовал. Пожевав, выплевывали:

– Даром давай – не надо! Сосиски лучше…

Савка так и не понял, в чем заключались его обязанности старшего. Вместе со всеми он усердно тащил на загривке тяжелый матрасище, на котором предстояло спать кому-то другому. Однажды, когда он скинул ношу, чтобы передохнуть, возле него сбросил матрас еще один юнга.

Кажется, это был тот самый, что вчера спрашивал комиссара, не пора ли ему в отпуск.

– Давай тикать отсюда, – вполне серьезно предложил он Савке. – Все интересное нам уже показали, а дальше ничего веселого не ожидается. Видишь, вкалываем…

Савка бежать отказался наотрез.

– Разве тебе не хочется домой? – удивился юнга.

– У меня нет дома. Ты как хочешь, а для меня теперь флот – дом родной, он мне и папа, он мне и мама. И лучше не подначивай меня, а то я комиссару скажу.

– Если накапаешь, я ребят подговорю, устроят тебе темную.

Савка взвалил на себя громадный матрас, который был в два раза больше его самого. Попер его дальше на горбу, задевая ветви елок. Когда поздно вечером юнги свалили последние матрасы в Савватьеве, Росомаха пересчитал свою группу. Одного не хватало.

– Куда делся человек? – набросился он на Савку.

В группе не хватало как раз того самого юнги, что подговаривал Савку сбежать. Огурцов об этом промолчал.

– Как его фамилия? – не отставал Росомаха.

– Не знаю. Не спрашивал.

– Какой же ты к черту старший? – возмутился Росомаха. – На флоте ты кем рассчитываешь быть? Матросом или матрасом?

Этим каламбуром неприятности для Савки пока и закончились…

\* \* \*

Выдали робу. Рабочая одежда боевого флота – штаны и голландка из парусины. Темно-синюю форму юнги теперь должны были надевать только по табельным дням – по праздникам страны или заступая на караул. Отныне ходить им в робе, и только в робе! Юнги поняли, что в иных книжках моряков рисуют неверно – нарядными, как на параде. Жесткая и прочная роба – не для того, чтобы франтить, а чтобы трудиться. Новенькая, она обдирает тело, словно наждачная бумага, но после нескольких стирок мягчает, и к ней скоро привыкаешь. Ботинки у юнг тоже отобрали, взамен они получили со склада здоровенные кирзовые бутсы. Идешь в них по лесу – звери прячутся…

Школа юнг строилась на голом месте и голыми руками.

Командование верно рассудило, что юнга должен уметь делать все, и потому слова «я не умею» не принимались во внимание. Если уж ты пришел на флот, так будь любезен делать, что тебе велено. Не хватало лопат и кирок, молотков и гвоздей, а топоры ценились на вес золота. Юнги пальцами соскребали в лесу подушку мха, и под ним обнажалась земля – сочная, перевитая корнями деревьев, унизанная прожилками червяков. Особая команда юнг наловчилась корчевать пни – без трактора и даже без рукавиц. На одном мальчишеском задоре вытягивались из земли корни, помнившие первых новгородцев. Учитывая особую тяжесть труда, корчеватели получали на камбузе по две миски каши. В землю, освобожденную от корней и камней, вонзались лопаты других юнг: копали глубокий котлован для будущего кубрика. Кубрики строились из расчета, что в них будет жить по пятьдесят человек. Увы, кубрики строились в виде землянок (как на фронте).

Постепенно в работе выяснялись наклонности юнг. Один был мастер-конопатчик, второй с тридцати ударов топора валил любую сосну, третий умел запрягать лошадь, четвертый перенял от дедушки печное ремесло, а пятый, склонный к ваянию, обожал месить глину и бывал сам не свой от радости, когда топтал ее босыми ногами в глубокой яме. Работа обрела смысл: не бывать тебе мокрым в море, пока не вспотеешь на берегу!

Уже образовалась комсомольская организация, и с комсомольцев требовали особенно строго. Многие еще не были готовы вступить в комсомол по возрасту. В число таких малолеток попал и Савка Огурцов.

Росомаха определил его в бригаду «разрушителей». Это была такая работенка, что по ночам кости стонали. Чтобы тюрьма перестала быть тюрьмой, нужно было привести ее в порядок, а для начала выдернуть из окон решетки.

Два силача сунули ломы между решеткой и карнизом окна, поднатужились, но решетка даже не крякнула.

– До чего же хорошо сделано! – огорчились юнги.

– В таком случае, – распорядился Росомаха, – нам предстоит как бы блатная работа: будем решетки эти самые пилить. Я, конечно, в тюрьме не сидел. Но читать приходилось, что решетки пилят.

Первая решетка рухнула, и в окно глянула красота уже ничем не обезображенная. Скоро пришлось Савке побыть в роли водопроводчика. Следовало привести в порядок гальюны на первом и втором этажах. Работа грязная и пахучая. После этого стелить полы считалось чистоплюйством. В труде не раз подтверждалась русская поговорка: глаза боятся, а руки делают. Это правда: только возьмись – работа закрутится и сам ты закрутишься в работе.

В один из вечеров перед юнгами выступил комиссар Щедровский.

– Товарищи! Хочу сообщить радостную весть: осталось выкопать четыре котлована, и можно закладывать кубрики в землю. Своими руками вы приближаете день, когда сможете сесть за учебу. Пока все идет хорошо, – сказал комиссар. – Просто замечательно идет! Однако, как это ни печально, и в нашей семье не без урода. Стыдно сказать, но завелся у нас дезертир…

Из штаба два матроса вывели юнгу, и Савка про себя ахнул: тот самый, что бросил матрас в лесу, а сам куда-то скрылся.

Щедровский выставил беглеца на всеобщее обозрение.

– Вот полюбуйтесь! Задержан катером морпогранохраны на шлюпке, в трех милях от берега. Недалеко ушел. Вообще-то перед вами стоит неуч! Чтобы плыть морем, нужно обладать знаниями. И дезертир еще должен сказать спасибо тем пограничникам, что его поймали. Ведь этот олух царя небесного поплыл на восток от Соловков, а там сильное течение уже понесло его в море. Так бы и выперло его через Горло[3] туда, откуда уже нет возврата. А шлюпку, – закончил комиссар, – он украл у колхозных рыбаков.

Беглец, понуря голову, вращал в руках бескозырку.

– Я больше не буду, – сказал он вдруг.

– А тебя никто и не спрашивает, будешь ты или не будешь. Товарищи, этот юнга присяги еще не принимал и суду военного трибунала не подлежит. Мы поступим с ним по долгу совести.

Беглецу велели снять форму. Поверх шинели он водрузил свою бескозырку – так осторожно, словно возлагал венок на собственную могилу. Дезертир остался в одних кальсонах.

Откуда-то притащили пиджачок, брючки, кепочку с шарфиком. Все это, с помощью конвоиров, быстро намотали на дезертира. Вот тогда-то он заревел – страшно, громко. Но ему вручили документы, и Щедровский сказал:

– А теперь проваливай, чтобы тебя здесь не видели…

Август кончился. Северное лето короткое, и на Соловки надвинулась осень. Зарядили дожди. Набухла почва. Кубрики строились верстах в двух от Савватьева – между озерами Банным, Утинкой и Заводным, в глухой чащобе леса, где порскали по соснам белки, а тетерева и куропатки лениво выбегали из-под ног. Савка попал на рытье последнего котлована. Там, в глубокой яме, залитой водою, он встретил Джека Баранова. Облокотившись на лопату, Джек о чем-то крепко задумался.

– О чем ты, Джек? – спросил его Савка.

Баранов с трудом отвлекся от мыслей.

– А ведь сегодня первое сентября. Будь я дома, пошел бы в школу. Ох и не любил же я ее! – признался он откровенно. – А вот сейчас стою здесь, жрать хочу, которые сутки просыпаюсь от холода и… Моя мечта, – закончил Джек, – служить на подводных лодках. Только на подлодках. Ради этого я здесь!

И со страшной злостью он всадил лопату в скользкую глину. Рядом с ним стал работать и Савка. Здесь тоже быть школе. Только не той, которая чинно выводит в институт, – эта выведет их прямо в море. Здесь они получат право сражаться наравне со взрослыми!

Именно в этот день, 1 сентября 1942 года, исполнилось три года с начала второй мировой войны. В этой грандиозной битве мы вели войну Великую, мы вели войну Отечественную…

К вечеру котлован сдали прорабу.

\* \* \*

Хотя в юности хандрить и не принято, но иногда (чаще по воскресеньям) тоска все же одолевала. Печально шумел по вечерам черный осенний лес, затекший дождями, и ты казался себе маленьким, заброшенным на край света, всеми забытым… Остров! Географическое понятие суши, окруженной со всех сторон водою, иногда все же сказывается на психике. И очень редко, в исключительных случаях, начинал работать маяк на Секирной горе – яростные проблески света, отрывисто посланные в безлюдность осеннего моря, только усиливали одиночество.

Осень – но юнги еще обедали под открытым небом, сидя за столами на берегу озера, а старшины, всегда верные букве устава, командовали с присущей им безжалостностью:

– Головные уборы – снять! Отставить… Кто это там опоздал? Бескозырку надо в момент скидывать. Головные – снять! Вот теперь хорошо. Сесть! Отставить… Вот теперь плохо. Синяков, тебя команда не касается? Сесть! Можете принимать пищу.

У многих юнг из разодранной обуви вылезали пальцы, но во время войны вещевой аттестат был неумолим: ты в тылу, а не на фронте! Они глотали суп пополам с дождем. Они ели кашу, присыпанную снегом. Черные низкие облака проносило над их трапезой. Однажды прилетела с материка ворона, села на башню маяка и каркала весь день напропалую. Каркала до вечера, словно вещая беду, и чайки вдруг разом снялись с гнездовий и улетели вслед за облаками, в сторону океана. А с материка уже неслись к острову несметные тучи ворон, которые и заполнили архипелаг до самой весны.

Барак санчасти уже был забит простуженными, придавленными в лесу. От холода и грязи юнги покрывались фурункулами, у многих болели зубы. Всех лечили и возвращали в строй. Артель наемных плотников подновляла в лесу барак для клуба юнг; в глухомани между озерами создавался колоссальный камбуз, способный вмещать сразу по триста человек; на окраине Савватьева поставили в конюшне изношенный дизель с подводной лодки, он долго чихал в холодной ночи, потом его клапаны затрещали выстрелами, словно открыла огонь многоствольная митральеза, и электростанция Школы юнг дала первый ток. Жизнь как будто налаживалась, но конца работам еще не было видно.

Раньше они – за папами и мамами! – жили припеваючи, как за стенами крепости. А теперь, милый друг, ты обязан и себя обслужить. Бельишко свое, будь любезен, постирай-ка в озере, студя руки в ледяной воде, и тогда поймешь, сколь неблагодарен труд матерей и бабушек. Надо заготовить дровишки на зиму, и никто, кроме тебя, этого уже не сделает. Давай пили! Давай коли! Не кубометр и не два – сто и двести кубометров: ты не один, а твоя семья большая. Раньше ведь как? Гонят в баню, а ты не хочешь, и родители в конце концов отстанут. Теперь никто не спрашивает, есть у тебя настроение мыться или такового не наблюдается. «Выходи строиться с мылом!» – и шагаешь в баню, и моешься как миленький. В той самой бане, где, если верить преданиям, мылся сам император Петр Первый. Дома, бывало, поешь и тарелку на столе оставишь… Дальше тебя ничто не касается…

Дежурства по камбузу особенно лестны для юнг с развитым аппетитом. Савка же Огурцов не выносил этих круглосуточных бдений возле еды, которая и за одни сутки может стать ненавистной. Склонившись над гигантской лоханью с горячей водой, он с утра до глубокой ночи перемывал тысячи мисок и тысячи ложек – мочалкой и мылом, чтобы они треснули. Хорошо еще, что юнги подчищали миски так, будто их собака вылизала, а то бы совсем беда.

Но среди прочих обязанностей была и караульная служба – четкая и строгая. О заступлении в караул юнги предупреждались заранее, чтобы могли привести себя в порядок. Утюгов не было, а от брюк требовалось соблюдение идеальных складок. В таких случаях брюки клались под матрас, и когда выспишься на них, складки отпечатывались сами собой в надлежащем виде… Жить надо уметь!

В начале сентября заступил в караул и Савка Огурцов.

Начальником караула был старшина Колесник – чернобровый красавец-украинец, еще молодой парень с черноморских крейсеров. Словно припечатанный к плечу старшины, ни на шаг не отходил от него юнга Мишка Здыбнев – подросток крупный телом, не по годам серьезный. Командование его уже отличало: Мишку назначили разводящим. Савка много читал об ответственности часовых, о строгих требованиях в карауле и потому был настроен приподнято.

Стоять ему выпало у склада боепитания.

Колесник еще раз обошел юнг. Кое-где штыки винтовок торчали на полметра выше тех, кто держал в руках оружие.

– Служба понятна? Обязанности ясны? Вопросы имеются?

– Имеются, – сказал вдруг один малыш, самый дотошный. – У меня в казеннике винтовки какой-то вредитель просверлил дырку, в которую даже спичка пролезет.

– Товарищи, – объяснил Колесник, – у всех у нас винтовки дырявые. Но это не есть акт вредительства. Вам выданы учебные винтовки, из которых нельзя произвести выстрела. Потому как при сгорании пороха в патроне газы не выталкивают пулю из ствола, а через эту самую дырку бесцельно вырываются в атмосферу. Чего же тут не понять?

Не в меру серьезный Здыбнев приосанился:

– Кому что-либо еще объяснить?

– А патроны не дадут? – обратился к старшине Огурцов.

– Как не принявшие еще присяги, – отвечал Колесник, – вы имеете оружие лишь для видимости. При таком дырявом оружии и патроны вам не нужны. Пуля-то все равно никуда не полетит.

– А если враг? – не унимался Савка.

– Какой враг? Соображай, что воркуешь! Фронт далече и хорошо держится, а на острове люди проверены так, что комар носу не подточит. Но, товарищи, вахту несите бдительно. Так, словно вы находитесь в боевой обстановке…

Первую смену уже развели по боевым постам. В двенадцать ночи, когда, согласно сказкам, в лесу шевелится всякая чертовщина, именно в полночь Савка должен был заступить на «собаку». Так на флоте издавна называлась самая трудная вахта – от ноля до четырех часов, когда особенно хочется спать… «Собака»! Первая «собака» в жизни человека!

Есть от чего волноваться.

\* \* \*

Без четверти двенадцать Здыбнев его растолкал:

– «Собака» ждет. Пошли на пост.

Склад боепитания размещался в отдаленной землянке, когда-то служившей монахам погребом для хранения мороженой рыбы. Идти до него было порядочно. Погасли за спиной огни Савватьева, глухой мрак обступил шумящий под ветром лес, и разводящий освещал фонарем узкую тропинку… Беседовали они больше о пустяках.

– У тебя сколько классов? – спросил Здыбнев.

– Пять. С похвальной грамотой.

– У меня шесть, но без грамоты. Зато я с военного завода. Имел рабочую карточку. Пятьсот граммов хлеба – не как-нибудь! А сестренка иждивенческую получала, так я ее подкармливал.

– А кем ты работал на заводе?

– На слесаря выходил. Как и батька. Целый день на ногах. Работали-то для фронта. По шестнадцати часов у станка, хоть тресни. Я лишь на Соловках отоспался.

– А я отъедаться начал. На еду уже не кидаюсь.

– Вот видишь, – заметил рассудительный Здыбнев, – нам с тобой здорово повезло… Кстати, ты не курящий ли?

– Нет.

– Жаль. Курить охота. Триста граммов песка сахарного дали взамен табаку, а курить – баста! Что ж, – погоревал Мишка, – я потом, когда все в караулке заснут, у Колесника стрельну махорки. Он мужик добрый, даст мне втихаря потянуть.

– А ты такого Витьку Синякова знаешь?

– Здоровый бугай. Вола свертит. А что?

– Нет, ничего. Вот он тоже курящий.

– Он в юнги-то и пьющим попал. Говорят, это он у нашего прораба топор увел. А потом прораб свой же топор за осьмушку махорки обратно выкупал… Витька – блатной, стерва!

Этот ничего не значащий разговор вывел Савку из состояния торжественности. Соседство же сильного и уверенного товарища придало ему спокойствия. Скоро из темноты, обступившей лес, раздался окрик часового: «Стой! Кто идет?» Сошлись возле дверей погреба. Узкий луч фонаря в руке Здыбнева осветил громадный купеческий замок, сургучные печати.

– Все в порядке, – сказал Мишка, – стой. А мы пошли. В четыре ноль-ноль жди меня со сменой. Я – как из пушки…

Шаги уходящих юнг слышны были еще долго. Потом настала цепенящая душу тишина. Один только раз донесся шумок от дороги – это, наверное, грузовик привез из кремлевской пекарни свежий хлеб к завтраку. Конечно, если ты родился и провел детство в большом, ярко освещенном городе, тебе жутковато очутиться одному в ночном лесу. Мало того, ты не костер палишь в пионерском лагере, а охраняешь склад боепитания. Чтобы придать себе бодрости, Савка с винтовкой обошел весь погреб. Знать бы, сколько он уже отстоял? Напрасно отказался взять часы. Отец достал бы себе другие, а Савке часы были бы кстати… Когда он вырастет, он заведет себе не карманные, а чтобы носить на руке – пусть все видят. От этих мыслей о часах мечты его потекли в будущее. Под неспокойным мраком ночи, в котором шум ветвей заглушался ропотом моря, Савка сладчайше грезил о тех блаженных днях, когда война закончится и он вернется домой героем. Вряд ли кому из его однокашников выпала такая судьба, как ему. Коля Претро остался в Ленинграде, в блокаде… выживет ли? Яшка Гриншпан эвакуировался из Ленинграда еще осенью, когда в булочных батоны продавали; теперь, наверное, сидит за партой в какой-нибудь алма-атинской школе. А где Наташка Сосипатрова? Где пухленькая Ниночка Плетнева? Небось отощала…

Страшный треск оборвал его мысли. Страшный – потому что он вмиг разрушил все видения. Стало ясно: кто-то сломал под ногой ветку. Савкина спина покрылась мурашками. Он вскинул винтовку – дырявую, без единого патрона.

– Стой! Кто идет? – окликнул точно по уставу.

Лес молчал. Может, показалось?

И вдруг Савка расслышал отчетливые шаги за кустами.

Это был шаг человека. Вот еще шаг…

– Стой! Стрелять буду!

Савка бросился в кусты, жестоко пронзая их черноту длинным лезвием штыка. Но вспомнил о сургучных печатях на двери склада и отбежал обратно, встав спиною к двери. Попробовал запугать криком:

– Стой, зараза, тебе говорят… Я же застрелю тебя!

Но кто-то невидимый и зловещий продолжал деловито обшагивать склад боепитания по кругу. Удивительная враждебность чуялась Савке в его спокойных, размеренных движениях. Сейчас юнга был слабой, беззащитной стороной. А противник вел себя так, словно заранее был уверен в своей неуязвимости…

«Может, подшучивают? Свои же ребята?»

– Здыбнев! Мишка… это ты? – тихо спросил он у леса.

Шаги замерли. Стало совсем тихо и страшно.

– Хоть бы один патрончик, – бормотал Савка.

Со штыком наперевес юнга снова кинулся на кусты, раня их острием штыка. Ему было страшно. Так страшно не бывало даже в блокадные ночи, когда дом, наполняясь пылью, ходил ходуном под бомбами; когда, лежа под одеялами. Савка слышал выстрел немецкого орудия, а потом отсчитывал, как метроном, до шестнадцати, после чего снаряд коверкал гранит Фрунзенского универмага.

Неуловимый кто-то был здесь, рядом. Савка заставил себя успокоиться. Что должен делать часовой в таких случаях? Дать знать своим. Но как? Телефона нет. И нечем выстрелить, чтобы поднять караул по тревоге. Часов тоже нет, да и неизвестно, сколько времени продлится этот поединок на одних нервах. Савка поступил на свой лад: вжался в двери склада, так что замок впился ему в спину, и, выставив оружие перед собой, замер.

– Вот только подойди, – шептал он. – Вот только сунься…

Он чувствовал, что из мрака за ним наблюдают чужие глаза.

А дальше произошло то, чего никак не ожидал Савка. Буквально в пяти шагах от него выбило из кустов хлопок приглушенного, но очень сильного выстрела. Выпорхнула голубая искра пламени, и в небо, прямо над складом, ушла зеленая ракета. Она погасла, после чего шаги человека пропали в отдалении. Замелькал фонарь разводящего – Здыбнев вел смену. Еще никогда в жизни Савка так не радовался товарищам.

– Замерз? – окликнули его юнги, подходя ближе.

– Вспотел даже.

– Чего так? Ночь-то холодная. Ниже нуля.

– А я… страху натерпелся, – сознался Савка.

– Страху? – хмыкнул Мишка. – Отчего?

– Ходили вокруг меня.

– Да брось! Наверное, корова. Колхоз-то рядом.

– Корову я бы признал. Но это был двуногий зверюга.

– Не ерунди! Корова…

Здыбнев сменил часовых и вместе с Савкой пошел обратно в караулку. Савка долго шагал молча, потом сказал:

– А знаешь, Мишка, корова-то эта ракету запустила…

Колеснику он сразу доложил о событиях во время «собаки».

– Почудилось? – не поверил старшина спросонья. – Кипяток вон там, накрыли подушкой. Попей чаю да ложись кемарить.

– Я лягу, – сказал Савка, раздергивая крючки шинели. – Да не заснуть. Он же под боком у меня ракету выстрелил в небо…

Из головы Колесника выбило сонную одурь.

– Вот как? Ну, ладно. Я доложу по команде, кому следует.

\* \* \*

Острота ночного возбуждения не пропала и днем. Савка охотно делился со всеми своими переживаниями на посту. Охотников послушать было немало, и он бестолково рассказывал:

– Стою я, как положено. А он ходил, ходил, ходил…

– Кто ходил-то?

– Да этот… шпион, наверное. Вдруг как пальнет…

– В тебя?

– Нет. Прямо в небо…

В четыре часа дня Савка готовился заступить на пост во вторую очередь, чтобы смениться, отстояв до восьми. Но случилось иначе. После обеда в Савватьево неожиданно прикатил заляпанный грязью пикап, из него устало выбрался пожилой боец-пограничник со старомодным наганом у пояса.

– Юнга Огурцов – тебя. За тобой приехали.

Савка подошел к пограничнику.

– Ты будешь Эс Я Огурцов двадцать восьмого года?

– Я.

– Садись. Поехали…

Выяснилось, что из Архангельска прибыл представитель контрразведки.

(Позднее она получит наименование «смерш».

Савке доходчиво растолкуют:

– Смерш – это значит «смерть шпионам». Военная контрразведка по обнаружению врагов и паникеров.)

Всю дорогу до кремля боец горячо убеждал Савку:

– Только правду говори. Упаси тебя Бог соврать! Там ведь у нас не дураки сидят. Понимают что к чему. Ежели ты чистосердечно покаешься, тебя, может, и простят по малолетству.

Вот и кремль. Конвоир провел Савку на второй этаж бывших архиерейских покоев, открыл дверь, обитую черной кожей, и ввел в кабинет, где юнгу поджидал капитан в сухопутной гимнастерке и широких галифе. Без всяких предисловий он стал орать на Савку:

– Тебя зачем привезли сюда?! Чтобы ты панические слухи распространял?! От горшка два вершка, а уже вредительством занимаешься на руку врагу? Ты эти штучки брось… Каких еще шпионов ты выдумал? Приснилось тебе? Ты злостные вымыслы оставь при себе. Небось от страха штаны прохудил, а теперь ходишь всюду и треплешься.

Савка дал капитану честный ответ:

– Мне было страшно. Не скрою. Но я не струсил.

– Не было никаких диверсантов! – настаивал капитан. – И никто вокруг тебя по лесу не шлялся… Выдумал черт знает что! А зачем же мы тут сидим, если враг под боком ходит?

– Нет, были, – ответил ему Савка. – И по лесу шлялись.

Капитан вскочил из-за стола, побледнел.

– Отвечать не умеешь! Повтори, что тебе сказано.

Давясь от обиды слезами, Савка повторил:

– Есть не было диверсантов. Есть никто не шлялся.

– Ну вот! – Капитан, довольный, вернулся за стол. – Это уже другое дело. А то городишь тут… Придется мне тебя задержать и проверить, чтобы ты больше честных людей не баламутил. Нашлись бдительные товарищи. Просили пресечь злостные слухи.

Савка тут же плеснул масла в угасающий костер:

– Он и ракету выпустил от склада боепитания.

– Кто выпустил? – снова взвился капитан.

– Да этот вот… как его? Не знаю кто.

– Опять ты в паникерство ударился? Звезда с неба скатилась, а тебе она со страху ракетой показалась.

Тут Савка не выдержал – разрыдался.

– Как звезда? – говорил он, всхлипывая. – Я же ленинградский, из блокады. На Международном жил… Там, знаете, как было? Из нашего же дома тетка, как только объявили воздушную, в одной рубашке на подоконник села – и ракету в небо! Я же зажигалки тушил, не пугался. Как же я могу спутать ракету со звездой? Это был враг! Если хотите правду знать, мне в жакте управдом говорил, что была бы его воля, он бы мне медаль «За отвагу» выдал…

Капитан почти с огорчением развел руками.

– Я тебе, дураку, как лучше хочу, а ты опять за свое… Чтобы такой город – Ленинград, и чтобы какая-то баба на подоконник садилась? Ты эти враждебные сплетни оставь в кармане, иначе я тебя живым отсюда не выпущу…

За спиной юнги вдруг хлобыстнула дверь, и Савкин мучитель вскочил, поспешно одергивая гимнастерку. В кабинет вошел (а точнее – ворвался!) капитан третьего ранга. Не обращая внимания на мальчишку, он набросился на капитана:

– Тебя зачем сюда прислали? Чем ты занимаешься?

В растерянности особист еще раз дернул гимнастерку.

– Прорабатываем… – произнес неуверенно.

– Чего прорабатываешь? Я тебя так проработаю, что ты завтра же в окопах за Кандалакшей проснешься.

– Вот… – показал капитан на Савку. – Можете посмотреть.

Капитан третьего ранга мельком глянул на юнгу, но, кажется, не понял, какая тут шла проработка. Сказал уже более спокойно:

– Почему мне ничего не было доложено сразу? Сейчас за Лапушечным озером берут диверсанта. Он при гранатах и при шмайсере. Отбивается отлично. Как зверь! Матросы будут брать сукина сына живьем и притащат сюда… Разберись!

Капитан сразу переменился.

– Этот вопрос я и выясняю, – сказал он, кивая на юнгу. – Вот и товарищ Огурцов подтвердит. Молод, а уже проявил похвальную бдительность на посту.

Капитан третьего ранга круто развернулся в сторону Савки.

– Из Савватьева? – спросил отрывисто. – Ну, ясно. Мне как раз на рассвете звонили рыбаки. Одна бабка встретила в лесу подозрительного человека. Молодец! – похвалил он Савку. – Хорошо служишь, юнга. Что надо отвечать в таких случаях… знаешь?

– Служу Советскому Союзу, – ответил Савка. В сторону капитана в галифе он даже не глянул.

– Иди. Тебе будет объявлена особая благодарность.

Особист распорядился, чтобы юнга не топал обратно тринадцать верст по лесу, и Савку отвезли домой на пикапе. Сопровождал его тот же солдат.

– Ну вот, – говорил он с лаской, – а ты, дурачок, ехал и боялся. Выпустили же тебя – не съели. Видать, послушался совета и не врал, а сказал правду…

Через день юнгам был зачитан приказ:

– Юнге Эс Огурцову за образцовое несение караульной службы объявляется благодарность с занесением в личное дело.

Эта первая благодарность за службу не доставила Савке никакой радости. Будто ему залепили крепкую оплеуху, а потом вдруг погладили по головке. Но эта благодарность открыла собой череду других, и они будут вспоминаться Савке совсем иначе, по-хорошему…

В ту ночь, когда Огурцов воевал дырявой винтовкой, выданной для макетной видимости, катера охраны водного района засекли летевший от Коми самолет противника. Недалеко от Соловков рыбаки подцепили в море отстегнутый парашют немецкого производства.

Конечно, от вражеской разведки, действовавшей на ближайшем участке фронта, не укрылось, что 2 августа на Соловках был высажен большой отряд юных добровольцев флота. Помешать созданию Школы юнг противник не мог. Но в дальнейшем он еще не раз пожелает сорвать их учебу…

Ондатры, отремонтировав свои хатки на воде, готовились встретить зиму. Звери давно были готовы к зиме, а вот юнги, кажется, опаздывали. Не так-то легко без помощи техники, одними лопатами отрыть громадные котлованы, потом из досок и бревен собрать под землей благоустроенные жилища на полсотни человек каждое, утеплить их сверху пластами дерна, сложить внутри печи и выстроить нары в три этажа. Теперь юнги хвастали мозолями:

– Пощупай, какие у меня. Вот здесь.

– Это что! А у меня – во…

Уже валил мокрый снег, когда бабушка переслала Савке первое письмо отца, написанное еще в августе. Отец был по-фронтовому краток, а общий тон его письма суров. Он сообщал, что уже многие его матросы погибли, что Волга рядом, но все время мучает жажда. В конце письма отец словно прощался: «Сынок! Война – жестокая штука, ты уже взрослый и должен понять меня правильно. Может случиться и так, что живым из этих развалин на берегу Волги я не выберусь. Не помню, какой писатель сказал: „Да возвеличится Россия – да сгинут наши имена!“ Это сказано точно. Я очень рад, что ты сейчас на флоте, где человек никогда не может быть одинок…» Отец и в морской пехоте оставался комиссаром, но вскоре юнгам зачитали приказ об установлении единоначалия. Должности комиссаров в армии и на флоте упразднялись. Если отец жив, он стал офицером морской пехоты – «черной смерти»!

Встретив Щедровского, которого теперь стали называть замполитом, Савка спросил у него, когда начнутся занятия.

– Скоро. Кубрики нас держат.

– А долго ли нас будут учить? Воевать хочется.

– Осенью следующего года ты будешь уже на корабле.

– А в комсомол мне все еще нельзя?

– Исполнится пятнадцать – приходи, примем.

Скоро в Савватьеве появились новые офицеры. В основном – строевые командиры с кораблей, которых ради воспитания юнг оторвали от боевой службы, и, кажется, многие из них болезненно переживали это перемещение в тыл. Среди них заметно выделялся высокий и стройный лейтенант Кравцов, в прошлом командир «морского охотника». Ходили слухи, будто Кравцов за отчаянную храбрость был представлен к званию Героя, но совершил крупный проступок и на Соловках появился уже без единого ордена. Особым жестом он поддергивал на руках перчатки и был явно недоволен обстановкой.

– Не было печали, так черти накачали. Возись тут с детьми…

Среди прибывших встречались и старшины-специалисты. Внимание юнг привлек к себе Фокин – человек болезненного вида, слегка заикающийся. С подводной лодки «М-172» Фокин привез пакет сушеной картошки – большая диковинка по тем временам! Добродушно предлагал юнгам попробовать:

– Угощайтесь, пожалуйста. Не стесняйтесь.

Чемодан старшины был наполнен разными чудесами.

– А вот лампочка с моей «малютки». Дорогая память!

Обыкновенная лампочка пальчикового типа. Но она пережила большую передрягу: баллон ее оторван от цоколя, под стеклом жалко болтались обрывки вольфрамовых паутинок. Фокин объяснял:

– Это недавно… в мае нас фрицы так бомбили, что все полетело кувырком. В отсеках плавал туман из распыленных масел. А с бортов отлетали покрытия.

– А почему вы ушли с подлодок? – спросил Джек Баранов. – Я бы за такое счастье держался руками и ногами.

– Нервы у меня истрепались… Врачи признали негодным. Вот и прислан на должность педагога.

– А чему вы нас учить будете?

– Мое дело хитрое – дело сигнальное…

В одно из воскресений Синяков внимательно следил, как Савка драит бляху ремня. Потрет суконкой, полюбуется зеркальным отражением своей личности, дыхнет пожарче, чтобы бляха слегка запотела, и с новым усердием – драит, драит, драит…

– Стараешься, – начал Синяков. – Но чистеньким да гладеньким все равно жизнь не проживешь. Обязательно сам измараешься или другие в лужу толкнут. Знаешь, как писал поэт: «А вечно причесанным быть невозможно…» Вникни!

– Это ты к чему? – не понял его Савка.

– А к тому, чтобы ты не порол горячку. Тебе кажется, что ты фигура на флоте, а на самом деле ты пешка… жалкая и маленькая.

– Пока мы все тут люди маленькие, – согласился Савка. – Но через год мы уже запоем другие песни.

– Адмиралом во сне себя видишь?

– Для начала хотел бы я стать боцманом.

– Допустим, – засмеялся Витька. – Стал ты, доходяга, боцманом. А когда на гражданку тебя выкинут, кому ты будешь нужен со своей «полундрой»?

– Вот ты о чем! – прозрел Савка. – Но я на флот не за хлебом пришел. И за мое будущее ты не беспокойся.

В воскресенье юнг неожиданно вывели на улицу для общего построения. С моря тянуло обжигающей стужей. Намокшие и озябшие, юнги покорно стыли под ветром. Бескозырки наползали малышам на красные от холода уши. Юнги тихонько переговаривались.

– А чего стоим?

– Да стой. Тебе-то что?

– Мне ничего. Митинг будет, что ли?

– Опять, наверное, на аврал погонят.

– Может, с фронта какое известие…

От штабного дома в окружении офицеров двинулся на них совершенно незнакомый человек в кожаном пальто без нашивок. Лейтенант Кравцов молодцевато подошел к нему с рапортом.

– Товарищ капитан первого ранга. Школа юнг построена по вашему приказанию для представления по случаю вашего прибытия.

Каперанг козырнул и пошагал дальше на юнг без тени улыбки. Лицом он напоминал хищного беркута. Из-под мохнатых бровей клювом налезал на сизые губы крючковатый носина. Глаза ярко горели. Неизвестно, что испытывали другие юнги, но Савка при виде этого человека вдруг мелко завибрировал. Казалось, что, слова доброго не сказав, человек в кожаном врежется в строй и всех раскидает…

Юнги притихли. Щедровский вышел вперед и объявил, что перед ними – начальник Школы юнг, капитан первого ранга Николай Юрьевич Аграмов. Никто не запомнил, что сказал начальник школы в приветствие. Но голос его звенящим клинком пролетел над строем, словно одним взмахом он хотел срубить все легкомысленные головы. Аграмов метнул рукою под мокрый козырек, приветствуя юность.

– …будет трудно! – эту фразу расслышали все. – Будет очень нелегко, но разве можно чем-нибудь запугать русского юнгу?

– Р-разойдись! – последовала команда, и все разбежались.

Человек сам не выбирает для себя внешность, но первое впечатление о нем складывается именно по его внешности.

– Ты видел? Глаза-то у него… так и зыркает.

– Ух, и страшный же человечище! – говорили юнги.

– Ну, держись, братва. Теперь гайку закрутят.

– Долго для нас выбирали начальника и вот прислали.

– Задаст он перцу! Ох задаст!

– Ша! Сюда Кравцов идет… улыбается.

Лейтенант, умудрявшийся среди луж сохранить яростный блеск своих ботинок, подошел к юнгам, подтянул перчатки.

– Ну, молодые, отвечайте по совести – струсили?

Спрашивал он добродушно, и юнги разом загалдели:

– Расскажите нам о каперанге… Кто он такой?

Кравцов отвечал с подчеркнутым уважением:

– Лучшего начальника вам и не надо. По книгам Аграмова училось не одно поколение моряков, даже я, грешный. Это один из лучших моряков нашего флота, знающий морпрактику, как никто в стране. Обещаю: с ним вам будет очень хорошо.

– А где он воевал?

– Не волнуйтесь, – утешил Кравцов. – Аграмов вояка старый. Еще будучи мичманом, участвовал в Цусимском сражении и тогда же получил именное золотое оружие за храбрость.

Юнги плохо представляли себе, что такое золотое оружие, но зато были достаточно сведущи по части Цусимы: легко проявить мужество, когда твоя эскадра идет к победе, но двойное мужество нужно, когда эскадра идет навстречу верной гибели…

\* \* \*

Уже на следующий день Аграмов прошелся по камерам бывшей тюрьмы, где временно в страшной теснотище селились юнги, разложив на полу матрасы. По-отечески побеседовал, вызывая на откровенность, иных пожурил, но как-то смешно пожурил, и юнги – галдящей оравой – сразу же потянулись к нему, как к отцу родному.

Стоило ему прибыть в Савватьево, как дело заспорилось. В окна землянок уже вставляли стекла. Словно с неба свалились на Соловки флотские портные, стали беспощадно пороть и кромсать форму на юнгах, подгоняя ее по фигуре. И когда шинель на тебе по росту, а рубаха плотно облегает грудь, тебе уже хочется держать подбородок чуточку повыше… Повеселело!

– Ходить только с песнями, – приказал Аграмов.

Маршировать было хорошо. Спасибо соловецким монахам: опутали остров крепкими дорогами. Две роты расходились на контркурсах, не залезая при этом на обочины… Юнги пели:

Ты не плачь и не горюй, моя дорогая,

Если в море потону, знать, судьба такая!

Аграмов остановил колонну юнг на марше.

– Уже пузыри пускать вознамерились? – спросил недовольно. – Если в ваших планах потонуть как можно скорее, тогда Школу юнг надо сразу прикрыть, ибо утопленники флоту не нужны. А «моей дорогой» у вас еще не было… Продумайте репертуар!

Война обновляла старинные водевильные тексты, и многие песни звучали теперь совсем по-иному. Запевалы начали:

За кормой земля полоской узкой —

Там живет моя родня.

Ветерок, лети на берег русский —

Поцелуй их за меня.

И долго еще качались за лесом слова припева:

По морям, по волнам,

Нынче здесь, завтра там.

Эх, по морям, морям, морям, морям.

Эх, нынче здесь, а завтра там!

Против таких слов Аграмов не возражал. А скоро прибыла в Савватьево опытная медицинская комиссия, среди членов которой был даже профессор «уха-горла-носа». Вызываемых для осмотра даже не раздевали. Комиссия проверяла только слух и зрение.

По слуху Савка в радисты не прошел и был этому рад: к радиотехнике он пристрастия не имел. Указка в руке врача гоняла Савку по таблице буквенных обозначений. Глазник начал с верха таблицы – с крупных букв, но указка его быстро сползала ниже, ниже, ниже… Наконец она коснулась самого края таблицы, где Савка, нисколько не напрягаясь, прочел крохотные буквочки. Потом окулист раскрыл перед юнгой дальтонический альбом, где на странице пестрела яркая россыпь разноцветных кружков.

– Зрение отличное, – сказал окулист. – Ступай, мальчик. Очки тебе не понадобятся. Годишься на сигнальщика!

Но врачи ничего не решали сами, и была создана еще одна комиссия, которая, сверяясь с медицинской карточкой, вела с юнгами собеседования. Беседы эти носили самый дружелюбный характер. Офицеры как бы прощупывали каждого юнгу на смышленость, особо отмечали любовь к технике. Савка показал на комиссии свои сочинения, и ему сказали:

– Школа станет готовить мотористов-дизелистов, боцманов торпедных катеров, радистов-операторов и рулевых-сигнальщиков. В боцмана ты не годишься: слишком хрупок, а там работа тяжелая. Слух у тебя неважный. Вот и выбирай сам…

Ясно! Кто стоит на мостике? Кто больше всех видит?

– Конечно, рулевым! Конечно, хочу сигнальщиком!

– Ну, так и запишем…

Вышел он, счастливый до изнеможения:

– Я в рулевые… вот здорово!

– Еще один извозчик, – засмеялись радисты.

На дворе уже построили отдельно двадцать пять юнг, самых крупных, самых здоровых, которым суждено стать боцманами. Среди них Савка разглядел Мишку Здыбнева и Витьку Синякова.

Мимо Савки рысцой пробежал Мазгут Назыпов.

– Еще увидимся! – крикнул он на бегу.

Да! Сейчас рушились прежние знакомства и приятельства, отныне юнги должны были обрести новые дружбы – по учебе, по специальности. Кто-то зашел за спину Савки, закрыл ему глаза руками.

– Джек! – догадался Савка.

– Честь имею, – ответил Баранов. – И тоже зачислен в рулевые. Желательно, конечно, попасть на подводные лодки…

В отдалении от всех строились, уже с вещами, мотористы. Учебный отряд, живший в кремле, вынужден потесниться, чтобы принять юнг-мотористов; там оснащенные аудитории, там на занятиях трещат клапаны дизелей… Всюду шла веселейшая перетасовка! Ротой рулевых будет командовать лейтенант Кравцов, под его начало попал и взвод боцманов. А два первых класса роты Кравцова приняли в свое подчинение знакомые старшины – Росомаха и Колесник… Как все хорошо! И черные роты уходили в черный лес, чтобы занять свои кубрики. Иногда слышалось:

– Рулевым – легкота: лево на борт, право руля. Это не то что у радистов. Плешь проедят разные там катоды и аноды!

– А вот дизелистам, тем еще труднее. Сопромат дают, как в институте. Механику, физику… А нам – ерунда: штурвал да флажки! Вот в кино рулевые: стоят себе на ветерке, баранку одним пальчиком покручивают…

Вдоль строя, развевая полами шинели, пробежал Кравцов:

– Прекратить болтовню! Или устава не знаете?

…Ничего-то они еще не знают. Но скоро узнают.

\* \* \*

Расселялись в лесу поротно. Возле озера Банного осели в землянках радисты, а боцмана и рулевые – подальше от Савватьева, в версте от камбуза. Зато здесь было полное раздолье: сказочный лес на холмистых угорьях, вокруг плещут озера, а море недалеко.

– Вот на лыжах-то будем… Красота!

Равнодушных не было, когда занимали кубрики. Не обошлось и без потасовок – кто посильнее, старался выжить слабейших с верхнего, третьего, яруса коек, чтобы самому наслаждаться «верхотурой». В многоликой ораве сорванцов, что наехали сюда со всех концов страны, уже чуялся воинский коллектив, но еще не спаянный духом боевого товарищества. Это придет позже…

Савку тоже сшибли вниз – с мешком вместе.

– Товарищ старшина, – пожаловался он Росомахе, – а меня рыжий спихнул сверху и сам забрался под потолок.

Росомаха был занят. Он свой класс размещал по левому «борту» землянки, а Колесник судил, рядил и мирил двадцать пять своих рулевых – по правому «борту».

– Ну, чего тебе? – не сразу отозвался Росомаха. – Как звать рыжего?

– Не знаю. У него во рту еще зуб железный.

Росомаха задрал голову:

– Эй, как тебя там? Объявись, красно солнышко.

Из-за бортика койки вспыхнула ярко-огненная голова, словно подсолнух высунулся из-за плетня.

– А обзываться нельзя! – заявил юнга с высоты яруса, сверкая стальной коронкой. – Я вам не рыжий и не красно солнышко, а товарищ Финикин.

– Пошто, товарищ Финикин, ты маленьких обижаешь?

– И не думал. С чего бы это? Я и сам небольшой…

Ладно! Савка расстелил свой матрас в нижнем ярусе, у самой палубы. С наслаждением вытянулся на койке. До чего же хорошо, когда у человека есть свой постоянный уголок, куда он складывает вещи и где нежит свои мечты… Тумбочек юнгам не полагалось, но зато над головой каждого плотники приспособили полочку. Савка аккуратнейшим образом разложил на ней свое богатейшее личное хозяйство: два тома собственных сочинений, ярко-розовый кусок туалетного мыла, трафарет для чистки пуговиц и полотенце. Разложил все это и затих на матрасе, блаженствуя. Он недурно себя чувствовал и в нижнем ряду, тем более что рядом с ним, голова к голове, разлегся милый и славный дружище Джек Баранов – будущий покоритель глубин.

– Нравится? – спрашивал Джек, взбивая подушку.

– Еще бы! И читать будет удобно.

Росомаха уже гонялся вдоль «борта», срывая юнг с коек:

– Что вы тут разлеглись, словно паралитики? А ну вставай! На койках лежать в дневное время не положено. Ты что? Или дачником вообразил себя? Ишь развалились кверху бляхами, будто их, инвалидов труда, привезли на отдых в Сочи или в Пицунду…

Старшины стали учить, как заправлять койки. Одеяло подоткнуть с двух сторон под матрас. Вторую простыню стелить навыпуск.

– Финикин, ты все понял, что я сказал?

– Так точно. Когда по-русски – я все понимаю.

– Уже застелил свою коечку?

– Как приказывали. На ять!

Финикин думал, что старшина не рискнет акробатничать. Но Росомаха немало в жизни побегал по трапам, и через секунду он уже взлетел под самый потолок. Тотчас же сверху вниз, на «палубу», кувырнулся матрас Финикина, за матрасом – подушка и одеяло.

– Зачем врешь? – спокойно сказал старшина. – Думал, я поленюсь слазать? Перестилай заново!

Пришлось Финикину затаскивать матрас наверх – в зубах: руки-то заняты. Савка кинул ему под потолок подушку.

– Так тебе и надо, – отомстил он на словах.

Посреди кубрика – две железные койки для старшин. Возле них столы – для учебных занятий и чтения. Колесник прибил к своему «борту» плакат: «Краснофлотец, отомсти!». Росомаха гвоздями укрепил над своим «бортом» красочный лозунг политотдела флота: «Врагов не считают – их бьют!». Порядок в кубрике определился.

Росомаха погрозил своему классу молотком:

– Я разные эти морские фокусы знаю. Сам, будучи первогодком, в ботинки старшине объедки от ужина по ночам сыпал. Бывали случаи, когда старшина спит, а к его койке подключают электрические провода. Но со мной вам этого провернуть не удастся! Я вас всех, – энергично заключил он, – сразу выведу на чистую воду.

Забил в стенку гвоздь и развесил на нем свой бушлат.

– Кто среди вас московский? – спросил Росомаха.

Перед ним мгновенно вырос, как из-под земли, расторопный и быстроглазый подросток.

– Есть! – отпечатал он, приударив бутсами.

– Будешь старшим в классе… мне помощником. По опыту жизни знаю, что московские сообразительны и никогда не теряются.

– Есть быть старшим. Только я не московский, а ярославский.

– Так чего ты петушком таким выпорхнул?

– Вы же меня позвали!

– Ярославских не звал, звал московского.

– Я и есть Московский, а зовут меня Игорем.

Росомаха скребанул себя в затылке:

– Все равно. Ярославские еще похлеще московских. Тоже пальца в рот не клади, откусят.

От дверей послышалась дудка дневального по роте.

– Внимание… Каперанг обходит кубрики.

В землянку шагнул Аграмов. Принял рапорты от старшин. Оглядел всех. Поплясал на «палубе», проверяя, не скрипят ли половицы. Потом сказал:

– Печи топить круглосуточно. Чтобы дерево просохло. Старшины, ввести на топку печей особое дежурство.

Хитро прищурясь, Аграмов вдруг присел на корточки.

– Посмотрим, где у вас табачок секретный хранится.

С этими словами Аграмов полез рукою на одну из полочек. Крякнул и извлек наружу «Критику чистого разума» Канта. Кажется, если бы начальник школы достал бы с полочки гремучую змею, и то не столь велико было бы его удивление.

– Кант… Чей?

К нему резво шагнул юнга ростом с ноготок:

– Николай Поскочин. Это я читаю.

– Поскочин? – переспросил Аграмов. – Фамилия знакомая, известна из истории флота… А не рано ли ты взялся за Канта?

– Для Гегеля рановато, – ответил юнга, – а Кант вполне по зубам. – И пошел шпарить насчет дедукции категорий.

Аграмов со вниманием его выслушал. Не перебил.

Юнги притихли по углам, потрясенные тем, что среди рулевых объявился философ. Росомаха растерянно смотрел на Колесника, а Колесник глуповато взирал на Росомаху. Немая сцена продолжалась недолго. Аграмов спросил философа:

– А где твой отец, юнга Поскочин? Не на флоте?

– Его уже нет. Он… пропал.

– А мать?

– Она уцелела. Теперь работает уборщицей.

Аграмов помрачнел. Сняв перчатку, он положил ладонь на стриженую голову Коли Поскочина.

– Только смотри, – внушил он ему, – чтобы Кант и Гегель не помешали твоим занятиям. – Тут каперанг заметил золотую голову Финикина. – А ты? Учился до службы или работал?

– Работал в Ногинске на фабрике.

– Что делал?

– Точил иголки для патефонов.

Финикин с его иголками Аграмова не заинтересовал. Начальник школы уже прицелился взглядом в другого юнгу, который стоял в сторонке и всей своей осанкой выражал внутреннее достоинство.

– Тоже работал? – поманил его Аграмов. – Или учился?

– Я… воровал, товарищ капитан первого ранга.

– Зачем?

– Так уж случилось. Отец погиб. Мать немцы угнали. Жить негде. Голод. Холод. Спасибо, что милиция меня подобрала.

– Как фамилия.

– Артюхов я… зовут Федором. По батюшке – Иваныч.

– Воровство на флоте строжайше карается.

– Я это хорошо знаю, – невозмутимо ответил Артюхов.

Аграмов, скрипнув кожаным пальто, повернулся к дверям.

– Кстати! – напомнил, задержавшись у порога. – Прошу вас, товарищи, чаще писать родителям. Обычно ваши мамы, чуть задержка с письмом от вас, в панике запрашивают командование, что случилось с их Вовочкой. Так избавьте мой штаб от лишней писанины. У нас и своих бумажек хватает… Пишите мамам!

Покидая кубрик рулевых, Аграмов позвал с собой Поскочина. Юнга долго беседовал с начальником наедине и вернулся взволнованный.

– О чем вы там? – спросил Савка, любопытничая.

– Не скажу, – ответил Коля.

Был месяц ноябрь – впечатляющий ноябрь. В этом месяце войска под Сталинградом перешли в решительное контрнаступление.

\* \* \*

На том месте, где когда-то болталась ржавая доска с надписью «С.Л.О.Н.», теперь появилась новая надпись:

 ШЮ ВМФ СССР

Уже ноябрь и вокруг белым-бело, запуржило леса. Савватьевский репродуктор доносил до юнг голос далекой Москвы; звучали приветствия, полученные от друзей к двадцать пятой годовщине Октября. Над затишьем соловецкой зимы Москва произносила имена Рахманинова и Чойбалсана, Эптона Синклера и де Голля, Теодора Драйзера и Колдуэлла, Иосипа Броз Тито и Томаса Манна.

Заметен был перелом в войне, открывающий дорогу к победе! От этого и настроение юнг было праздничным:

– Скоро всем фюрерам по шапке накидают.

– Наши не теряются – наставят Гитлеру банок…

Теперь они имели право и на собственную гордость. Куда ни повернись, все сделано своими руками. Что здесь было? Среди плакучих берез стыла захламленная тюрьма и постоялый двор для богомольцев. А теперь в лесу создана флотская база, большой учебный комбинат.

Есть все, что надо. Начиная с любимой юнговской лошади Бутылки и кончая крейсерским радиопередатчиком, который вчера едва вперли по лестнице на второй этаж, в класс радистов. Аудитории рулевых заполнила навигационная техника. Благородно отсвечивало красное дерево нактоузов, бронза и сталь приборов. Холодно мерцали выпуклые «чечевицы» компасных линз.

– А какой самый главный прибор в кораблевождении?

– Голова, – отвечали педагоги…

Вот и вечер. Зажглись окна в землянках радистов, а в роте рулевых затопили печи. Потекли над лесом вкусные дымки.

Большая человеческая жизнь каждого юнги только начиналась. Именно в ноябре, когда русские солдаты начали уничтожение армии Паулюса под Сталинградом, когда врага сбросили с предгорий Кавказа, юнг привели к присяге.

Было в этот день как-то необычно тихо над озерами и лесами древних российских островов. Неслышно падал мягкий снежок. Даже не хотелось верить, что за тысячи миль отсюда грохочет, звеня гусеницами танков, великая битва…

Еще с побудки юнги ощутили некоторую торжественность. По случаю праздника стол в кубрике был застелен красной материей. С плакатов взирали на юнг – из славного былого – Ушаков и Сенявин, Нахимов и Макаров. На камбузе было особенно чисто и нарядно. Вместо чая – какао. Обратно до своих рот шли с песнями о морской гвардии:

Где враг ни появится – только б

Найти нам его поскорей!

Форсунки – на полный, и в топках

Бушуют потоки огней.

Врывайтесь, торпеды, в глубины,

Лети за снарядом, снаряд…

От тамбура дневальный оповестил кубрик:

– У боцманов уже приняли присягу… Сюда идут!

Классы Колесника и Росомахи выстроились по «бортам» кубриков. С улицы внесли связки заснеженных карабинов. Флотского образца, укороченные с дула, они в уюте тепла хранили строгий нежилой холодок. Вороненая чернь стволов невольно настраивала на суровость, Савка подумал об отце: «Только одно письмо, а в Сталинграде уже наступают… Неужели письмо было последним?»

– Смирно! – вытянулись старшины.

В кубрик рулевых шагнули контр-адмирал Броневский, офицеры политотдела гарнизона, Аграмов со Щедровским. За ними ловкий писарь базы нес под локтем папку с текстом присяги. Юнг поздравили, потом стали выкликать по алфавиту.

Первым шагнул к столу Федя Артюхов. Волнение свое он выдал только тем, что читал присягу повышенно громким голосом… Он ее принял!

– Распишись вот здесь, – сказал ему писарь.

Звонко и радостно дал присягу Джек Баранов, второй по алфавиту. Савка терпеливо ждал своей очереди.

– Огурцов! – позвали наконец от стола.

Оружие еще не отогрелось в кубрике – студило руку.

– …клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, – произносил Савка. – Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу…

Уже подступали в конце мрачноватые, но необходимые в клятве слова, и Савка прочел их, невольно приглушив голос:

– Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона… всеобщая ненависть… презрение трудящихся!

После чего неторопливо расписался. Заняв место в строю, не мог удержаться, чтобы не оглядеть полученное оружие. Это был настоящий боевой карабин, уже без глупой дырки. Вот бы такой ему тогда, ночью, когда он стоял в карауле, страдая от своей беспомощности!

\* \* \*

Итак, с этого дня начиналась новая жизнь.

Теперь юнги наступали на своего командира роты:

– А когда ленточки на бескозырки? Раньше говорили, что нельзя без присяги. Но ведь присягу-то мы дали!

Кравцов в ответ ослеплял юнг белозубыми улыбками:

– Вы не матросы, а юнги! А начальство еще не решило, что начертать на ваших ленточках… Подумайте сами – что?

Юнги изощряли фантазию. Коля Поскочин повершил всех:

– Пусть напишут нам золотом: «Не тронь меня!»

Эпилог второй

(Написан Саввой Яковлевичем Огурцовым)

Глубокой осенью, в самое предзимье, Ледовитый океан страшен – он высоко бросает эсминцы. Мрак долгой ночи уже нависает над волнами. Радисты мучаются на вахтах, ибо радиопосылки штабов разрушаются треском разрядов полярного сияния. В одну из таких ночей – в мороз и ветер – миноносцы вышли из Ваенги, чтобы отконвоировать в Киркенес три корабля. Это были транспорты, трюмы которых забиты подарками норвежцам из Советского Союза: хлеб, медикаменты, строительный лес и прочее. На скорости эсминцы своими скулами гулко выбивали из волн каскады брызг, и брызги смерзались на лету, словно пулями осыпая стекла рубок.

Один из транспортов в составе эскорта показался мне знакомым по силуэту, и я спросил сигнальщика:

– А кто это нарезает по правому от нас траверзу?

– Это «Волхов»… госпитальный.

Старый знакомый – на этом судне я плыл из Соломбалы на Соловки.

Между тем обстановка в океане была тревожной. Фашисты резко увеличили в Заполярье количество подводных лодок. Под конец войны их подлодки были значительно усовершенствованы, покрыты слоем изоляционных пенопластиков, чтобы затруднить их обнаружение в воде. Они имели дыхательные хоботы – «шнорхели» – и широко применяли акустические торпеды, целившие в машину или под винты кораблей.

К утру я почувствовал себя скверно. Разламывалась голова. Раз, наверное, пятнадцать за ночь меня срочно вызывали на мостик, чтобы снять с навигационной оптики пленку льда. Из духоты кубриков – на мороз, обратно в люки валишься мокрый, хоть выжимай, зуб на зуб не попадает. Заболели многие, особенно наружная команда. Но своих постов, конечно, никто не покинул. Вот и день настал – серый; в сером тумане качались серые тени кораблей. Я прилег на рундук, как вдруг раздался взрыв и тут же проиграли тревогу. Подлодка противника торпедировала «Волхов», от которого мгновенно не осталось и следа, только где-то очень далеко прыгали на волнах головы людей, будто в море кто-то побросал мячи. Пока миноносцы вели гидропоиск, бомбами загоняя противника на критическую для него глубину, наш эсминец пробежал над местом гибели корабля. Люди с «Волхова» еще плавали, ибо их держали на волнах спасательные жилеты, надутые воздухом. Но все они, пробыв в море не больше пяти минут, были уже мертвы. В Баренцевом море разрыв сердца от резкого охлаждения почти неминуем. Кое-кого удалось подхватить из воды. Их складывали на цементный пол душевой. Мимо меня матросы пронесли женщину в кителе и юбке – женской форме флотского офицера. Волосы ее висели длинными ледяными сосульками, вмиг закостенев на морозе. Женщина была врачом.

Это был тяжелый поход, полный жертв. Волной смыло с эрликонов двух автоматчиков. Спасти их было никак невозможно, и эсминцы прошли мимо…

Когда пришли в Киркенес, очень многие в командах грипповали и с трудом несли вахту. Миноносцы развернулись и, набрав побольше оборотов, давали до дому узлов восемнадцать. На скорости пена полетела еще выше, и меня опять звали на мостик. Помню, я уже плохо соображал, чуть не бредил. Можно бы сбегать в лазарет, но я не такой уж дурак, чтобы бежать в корму за аспиринчиком. Пробежки по обледенелой палубе обычно скверно кончаются. Короче говоря, когда мы пришли в Ваенгу, на пирсе уже поджидали санитарные машины, и заболевших повезли в госпиталь. Ехать было недалеко – до губы Грязной, где средь голых сопок стоял пятиэтажный корпус госпиталя. Тут я даже обалдел. После двух лет жизни на корабле, среди люков, горловин и трапов, так странно было видеть обыкновенные двери и окна, стоять не на железе, а на деревянных половицах.

На первых порах меня поместили в палату для умирающих. Молодость не хочет думать, что любая жизнь имеет скорбный финал, а потому я с любопытством вступил в страшный мир мучительных стонов и хрипов, свиста кислорода, рвущегося из баллонов в омертвелые легкие, в запах предсмертного пота. Сейчас я понимаю, что был тогда безнадежно глуп, и, помню, радовался, что попал в компанию умирающих, потому что в этой палате не надо было делать по утрам физзарядку. Возле меня лежал молодой парень, летчик, ничем не примечательный. Когда его накрыли простыней и вынесли, в палату вошел плачущий полковник флотской авиации и вынул из-под подушки летчика Звезду Героя Советского Союза. Так я познавал жизнь…

Возле окна лежал молоденький солдатик и все время порывался что-то спросить у меня. Мы с ним встретились после войны. Это был Ленька Тепляков из квартиры на Малодетскосельском проспекте, где жила моя бабушка. В детстве мы с ним играли на Обводном канале. Странно, но так оно и было: лежа в одной палате, мы не узнали друг друга – вот как изменяет людей война!

Скоро главный врач госпиталя отправил меня в команду выздоравливающих, куда я прибыл, получил отметку об этом в документах и… тут же сбежал на эсминец. Снова меня закачало на волне. А когда война окончилась, я обратился к командованию с просьбой перевести меня на Балтику – поближе к Ленинграду, где жила моя бабушка, единственный оставшийся в живых человек из всей моей родни. Просьбу мою уважили, и летом тысяча девятьсот сорок пятого года на попутной машине я уехал из Ваенги на мурманский вокзал.

Разговор третий

Этот разговор начал я:

– А понимали тогда юнги, что Родина вправе потребовать от них больших жертв, может, даже и жизни?

– Хотя и были мальчишками, но отлично сознавали, на что идем. Именно к войне нас и готовили! Вообще-то, – призадумался Огурцов, – на флоте многое не так, как на земле. Существует особое флотское равенство перед смертью, непохожее на солдатское. Команда корабля, как правило, или в с я побеждает, или в с я погибает. Таким образом, на флоте как нигде уместен этот славный призыв: «Смерть или победа!»

– Простите за такой вопрос: а много юнг погибло?

– К чему извиняться? Вопрос не праздный. Война с фашизмом была очень жестокой, и если гибли подростки в партизанских отрядах, то почему судьба должна была щадить нас? Из юнг вышло немало подлинных героев. Вспомните хотя бы Сашу Ковалева, которому уже поставлен памятник. Я знал Сашу плохо: он учился на моториста не в Савватьеве, а в кремле. Когда его торпедный катер в Варангер-фиорде пошел в атаку, осколок пробил радиатор мотора. Саша грудью закрыл пробоину, из которой бил горящий бензин. Это все равно что закрыть собой амбразуру дота. Саша погиб… Вот вам и мальчик! Саша был в Школе юнг скромным и тихим, а когда понадобилось – проявился большой человек. Обычно у нас пишут: каждый на его месте поступил бы точно так же. Но в том-то и дело, что каждый так поступить бы не смог. Потому-то мы и называем героями тех, кто способен поступать так, как не способен поступить каждый из нас…

Огурцов задумался, а потом продолжал:

– Вообще-то мне чертовски повезло! Смолоду рядом со мной находились старшие товарищи. Это очень хорошо, когда рядом с юнцом есть зрелый человек. Такой человек попался мне на Соловках, а потом встретился и на эсминце. После войны я тоже отыскал себе друга в два раза старше себя. Сначала дружил с его сыном, моим одногодком. Мы с ним больше обормотничали. Но потом я понял, что отец интереснее и умнее сына… Было бы идеально, – сказал Огурцов, – если бы наше юношество соприкасалось не только с ровесниками, а имело бы друзей, по возрасту годящихся в отцы. Зрелый человек вовремя одернет, удержит от ненужных поступков. Своя же развеселая компания этого не сделает. А то еще и подтолкнет на какую-нибудь глупость, припахивающую протоколом… Ну, всего!

В пролете лестницы меня нагнал голос Огурцова.

– Советую вам, – крикнул он на прощание, – назвать третью часть «Истинный меридиан»!

– Какое странное название.

– Назовите именно так. По содержанию читатель и сам поймет, что такое истинный меридиан.

– Вы думаете?

– Я знаю! – донеслось сверху, и дверь захлопнулась.

Так закончился третий разговор.

Часть третья Истинный меридиан

 Великие шлюзы, ведущие в мир чудес, сразу раскрылись настежь…

 Г. Мелвилл. «Моби Дик»

Соловки уже надели на себя теплую зимнюю шубу, день был ясный и чистый, казалось, ничем не примечательный, когда юнги собрались на митинг. Вся школа, по ротам, по специальностям, выстроилась с соблюдением ранжира, и капитан первого ранга Аграмов закончил речь словами:

– …кто будет плохо учиться, тот приготовит себе незавидную судьбу. Флот в лишнем балласте не нуждается. А потому у вас не уроки, а боевая подготовка. Не экзамен, а – бой, который надо выиграть. Помните, – сказал он с ударением, – отличники боевой и политической подготовки получат право выбора любого флота страны и любого класса кораблей!

Шеренги юнг слабо дрогнули, возник шепоток:

– Ты слышал? Любой флот. Любой корабль.

Это была новость обнадеживающая и радостная, и юнги долго кричали «ура». После чего открылись классы.

\* \* \*

Раз в месяц для юнг наступала сладкая жизнь – не в переносном, а в буквальном смысле. Юнги получали сахарный паек. Дня выдачи они ждали с таким же нетерпением, с каким штурман ждет в облачную погоду появления Полярной звезды. Сахар! Кажется, ерунда. А что может быть слаще? Недавно выйдя из детства, юнги оставались грешниками-сладкоежками, хотя в классе боцманов некоторые уже серьезно нуждались в услугах бритвы. Даже философ Коля Поскочин, познавший строгую диалектику вещей, и тот невыносимо страдал в конце каждого месяца.

– Как подумаю о варенье, так мне даже худо становится.

Сахар выдавался в канцелярской землянке роты. Там возле весов с гирями стояла бой-девка в матросской форме, про которую юнги знали одно – зовут ее Танькой. А еще знали то, что знать им было не положено: Росомаха безнадежно влюблен в эту Таньку, но после каждого свидания с нею возвращается злее черта! За неимением другой тары юнги принимали сахарный песок с весов прямо в бескозырки и бережно несли до дому. По дороге беседовали:

– Ох и стерва же эта Танька! Так обвешивает…

– Что делать, если женщины, как и мы, обожают сладкое.

– Ладно. Не судиться же нам с нею. Пускай по три ложки на стакан себе сыплет. Может, добрее к нашему старшине станет.

Сладкая жизнь продолжалась краткие мгновения. Иные по дороге до кубрика успевали слизать половину бескозырки. Сидя на лавках, юнги ели сахар ложками, как едят кашу.

Не проходило и часу, как отовсюду слышались стыдливые признания:

– Кажется, я свое кончаю. А ты?

– У меня немножко. Вытрясу бескозырку и оставлю чуток.

– Зачем оставишь?

– Завтра утром чаек себе подслащу.

Бережливость в этом вопросе строго осуждалась.

– Придумаешь же ты! Как будто чай и так нельзя выдуть.

Сомневающийся быстро соглашался с таким железным доводом.

– Это верно, – говорил он. – Чего тут тянуть?

К отбою бескозырки бывали уже чистыми. А на следующий день если кто и сластил свой чай, то делал это робко, с виноватой оглядкой по сторонам. Один только Финикин ухитрялся растянуть пайку на целый месяц. Мало того, этот премудрый пескарь для сбережения сахара сшил себе кисет, а не таскал его в бескозырке, как другие. Злые языки говорили, что Финикин даже спит с кисетом на груди. Он не стеснялся весь месяц подряд пить чай с сахаром.

– Я ведь не украл, – говорил он, глядя в глаза товарищам.

Джек Баранов не раз просил у него в шутку:

– Может, сыпанешь малость в мою кружку?

– А ты мне много насыпал, когда свою пайку ложкой наворачивал? Дано на месяц – так и тянись все тридцать дней.

Поскочин смотрел на Финикина поверх пустой кружки.

– Неужели тебе самому не противно экономить? Это же сущая меркантильность.

На что Финикин, упорствуя, отвечал:

– Не лезь ко мне с иностранными словами…

Савка по ранжиру класса стоял возле Финикина, а когда строй поворачивался и превращался в колонну, ему самой судьбой было предназначено шагать Финикину в затылок. Честно говоря, он этого рыжего недолюбливал. Железный зуб его раздражал своим фальшивым блеском. Ногинский граммофонщик, как прозвали юнги Финикина, жил особнячком, не вмешиваясь в споры, но чуялось, что он себе на уме. Особенно был он непригляден в обстановке камбуза. Финикин резал свой хлеб на маленькие квадратики – так бабушка Савки колола сахар, дабы пить чай вприкуску. Хлеб надо откусывать, а не мельчить ломоть, чтобы потом жевать всю дорогу с камбуза, будто корова. Савке нравилось, как ест Федя Артюхов: раз откусил, два откусил – порядок.

– Я-то кушаю, – говорил Финикин, – а вы как с голодного острова сорвались и принимаете пищу, словно горючее в бензобаки.

– Говорить про себя, что ты кушаешь, – заметил ему Поскочин, – это слишком уважительно к собственной персоне и выдает твою бескультурность. Подумай об этом на досуге.

Громадные чайники, фыркая паром, гуляли между рядами юнг и наконец, сдвинутые в концы столов, остывали, пустые. С камбуза уходили с песнями.

Их сегодня ждал учебный корпус, где так уютно от протопленных за ночь печей. Уже не повернется язык назвать «тюрягой» это светлое здание, пахнущее свежей краской и насыщенное техникой. Одного только не могли исправить юнги – не уничтожили глазки для надзирания за бандитами в камерах.

Расписание занятий поражало обилием тем. Для рулевых: морпрактика, сигнальное дело, устройство корабля, навигация и штурманское дело, карты и лоции, рули и поворотливость корабля, метеорология, вождение шлюпки, мореходные приборы и электронавигационные инструменты, – как много предстоит знать!

Маленький Поскочин, волнуясь, загибал пальцы:

– Смотри! Еще стрельба, гранатометание, лыжи, рукопашный бой, плавание и ныряние, походы летом под парусами…

Прозвенел звонок, как в школе. Первый урок в классе Росомахи – дело сигнальное. Нужное дело, без которого корабли плывут слепые и глухие. Преподаватель электронавигационных инструментов еще не прибыл, и Росомаха даже обрадовался.

– Вот и ладно! В свободные часы вместо этих самых инструментов я вас увлеку романтикой строевой подготовки. Шаг на месте, ать-два, ать-два! Что может быть занимательнее?

\* \* \*

В класс вошел старшина Фокин, и юнги встали. Сигнальщик с подводной лодки «М-172» не был педагогом, но командование смело доверило ему преподавательскую работу. Запас учебных пособий Фокина скромен – два флажка, скрученные в кокон. Под мышкой он принес набор сигнальных флагов, пошитых из особой материи, называемой «флагдух».

– Без флажков трудно представить себе сигнальщика, – начал Фокин. – Так вот, давайте сегодня побеседуем о флагах вообще. Начнем со старины. Какой флаг был в старом русском флоте?

– Андреевский! – резво поднялся Огурцов. – Это такое большое белое поле, пересеченное по диагоналям синим крестом.

– А кто мне скажет, почему эти же самые расцветки присущи и советскому военно-морскому флагу?

Никто не знал. Даже Савка помалкивал.

– Кто-нибудь из вас слышал о символике цветов?

– Позвольте мне. – Коля Поскочин отштамповал полный набор: – Белый цвет означает благородство и честь воинскую, красный – мужество и братство по крови, черный – мудрость и осторожность, синий – безупречность в верности долгу, а желтый – могущество, знатность и богатство рода.

– Таким образом, – подхватил Фокин, – в основу советского морского флага легли белизна, синева и красный цвет. Это означает: честь воинская, верность долгу и братство. Сейчас в нашем флоте появился новый флаг – гвардейский, на котором вьется черно-оранжевая лента. Эти цвета означают огонь и дым сражений, в которых кораблем завоевана особая честь…

Савка испытал некоторое беспокойство. Он уже настроил себя на первенство в учебе.

Слова Аграмова о праве отличников на выбор флота и корабля только подстегнули его самолюбие. Но в Поскочине он почуял опасного соперника.

– Военно-морской флаг, – продолжал Фокин, – носится кораблем на корме. Как только выбраны якоря, его переносят на гафель мачты. Флаг чаще всего и называют «кормовым». В носу же полощется гюйс, убираемый на время похода. Вымпел означает готовность корабля к походу и бою. Брейд-вымпел поднимается сразу, едва нога начальника соединения кораблей коснулась нашего борта… Когда всходите по трапу на корабль, вы обязаны приветствовать флаг. Неотдача чести флагу карается. Оскорблением корабля будет поднятие его флага «крыжом» – кверху ногами. В первом Морском уставе Петра сказано: «Все воинские корабли Российские не должны ни перед кем спускать флаги, вымпелы и марсели под страхом лишения живота своего». Этот закон свят и поныне… А теперь, – сказал Фокин, – перейдем к флагам сигнальным. Но сначала, ребята, вам нужно изучить алфавит.

– Мы его знаем! – отозвался Финикин. – А, бэ, вэ…

– Такой алфавит для флота не подходит, – отвечал старшина. – На мостиках кораблей, во время боя или когда шумит ветер, сигнальщик не может крикнуть, что флагман поднял «Б», ибо ветер скомкает его возглас, и командиру может послышаться, что флагман поднял «П». Таким образом, командир из-за неверного восприятия исполнит приказ «к повороту вправо» вместо «прибавить ход». А это может привести к гибели корабля.

– Как же тогда выкрутиться? – заинтересовался Артюхов.

– Выкручиваться не надо. На вооружение флота принят церковно-славянский алфавит. «Б» и «П» читаются в этом алфавите как «буки» и «покой». Слова же не спутает никакой ветер. Итак, повторяйте за мною: аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, живете, земля, иже, како, люди, мыслете, наш…

Фокин стал показывать юнгам флаги двух сводов – Военно-морского Свода СССР и Свода Международного. Говорил он быстро:

– Аз! Флаг красный с косицами, в поле белый квадрат. Означает: «Нет. Не согласен. Не имею. Не разрешаю». А по Международному Своду флаг тоже с косицами, но у шкаторины белое поле, а косицы синие. Означает: «Произвожу испытание скорости». Буки! Белый конус с красным кружком. Означает: «Сняться с якоря. Больше ход. Дать ход (если машины корабля на стопе)». По Международному Своду это флаг красный с косицами, и он означает: «Занят погрузкой взрывчатых веществ»…

Тут юнги взвыли.

– Что с вами? – удивился Фокин.

– Где же это все запомнить!

– Тихо! – прикрикнул Фокин. – Я занятий с вами еще и не начинал. Я только познакомился с вами сегодня и вижу, что вас надо гонять и гонять. Чего испугались? Да вы и сами не заметите, как все эти сигналы застрянут в ваших головах так, что клещами обратно не вытащишь…

Он успокоился, сел за стол и кротко улыбнулся. Юнги стали просить, чтобы старшина рассказал какой-нибудь случай.

– Когда лодка пробует балласт «на всплытие», первым на мостик выскакивает командир, а за ним сигнальщик. Только после них комендоры бегут к пушке. Из этого вы можете заключить, сколь ценится на флоте сигнальщик! Служба, правда, хлопотная и слякотная. Мы не просыхаем! Но зато много знаем. Мы присутствуем при сложных решениях командования, обеспечивая связь и наблюдение. Нет секрета, который укрылся бы от нашего глаза. Горизонт, воздух и вода – вот три сферы, в которых царит глаз и слух сигнальщика. В море нельзя упустить ничтожной мелочи. Иногда вдруг видишь топляк – бревно, которое плывет стоймя. Не стыдись доложить, что по правому борту, пеленг сорок – перископ подлодки! Пусть объявят лишний раз тревогу, но зато не возникнет трагической ошибки. Тем более что противник хитер и линзы своего перископа иногда маскирует как раз вот таким топляком…

– Ну а смешное в море бывает? – спросил Поскочин.

Фокин и на это ответил серьезно:

– Однажды я здорово хохотал, когда нам чемодан попался. Плывет себе и плывет. В открытом океане, где ни души. Из хорошей кожи чемодан. С ручкой. Честь по чести. Плывет в океане один-одинешенек по своим чемоданным делам. Докладываю командиру, что по пеленгу такому-то вижу чемодан, а сам стоять не могу от хохота… Однажды и Гитлера встретил. Как раз на мою вахту пришелся. Большой портрет фюрера, рама дубовая, вся в позолоте. Тоже стоймя плавал, не хуже топляка. И как всякий мусор, не тонул…

– И вы его не потопили?

– Ну вот еще… связываться.

Прозвенел звонок. Фокин встал, собрал свои флаги.

– Сигнальное дело простое – обходимся без логарифмов. Надо лишь иметь прилежание. Я еще посмотрю, как вы запоете, когда вам станут читать электронавигационные инструменты!

\* \* \*

Перемена. Юнги повыскакивали на улицу, в воздухе замелькали снежки. Савке встретился Мазгут Назыпов.

– Ну, как у вас? А мы будто студенты: индукция, частоты, синусоиды…

– Нас тоже электротехникой пугают.

Здыбнев врезал в лицо Савке крепкий снежок.

– Больно? – спросил он, подходя. – Это не со зла. Ну как, баранку свою уже начали изучать? Как она у вас там крутится?

– До баранки еще не доехали. Так пока… по сигналам.

– А нам на первом занятии корабельный набор давали: киль, шпангоуты, бимсы, стрингеры, пиллерсы, отсеки, люки, горловины и лазы. Сейчас второе занятие будет: лаки, краски, эмали и кисти.

– В маляры готовят? – ухмыльнулся Мазгут.

– Кому-то надо и корабли красить, – не унывал Здыбнев. – А по боевому расписанию, я уже знаю, боцмана торпедных катеров сидят по самые уши в турели и кроют по врагу из спаренной установки… Кто на торпедных катерах погибает больше всего? Боцмана! Кто замещает командира, если его убило? Опять боцмана…

Звонок к уроку очистил двор, все кинулись по классам. Было приятно после возни в снегу раскрыть чистую тетрадку, обмакнуть новенькое перышко в чернильницу. Савка испытывал радость, что снова учится: блокада выбила его из школьной колеи, и год он пропустил. На тетради он аккуратно вывел: «НАВИГАЦИЯ. Курс лейтенанта Зайцева. Юнга С. Огурцов». Подумал и добавил: «Кто возьмет тетрадь без спросу, тот останется без носу».

Игорь Московский уже занял позицию возле дверей.

– Идет! – выглянул он в коридор. – Внимание… встать!

Вошел щеголеватый лейтенант Зайцев, шлепнул на крышку стола классный журнал. Московский отрапортовал ему, что все юнги к занятиям готовы.

– В чем я ни минуты не сомневаюсь, – ответил Зайцев.

Заполняя журнал, лейтенант беседовал сам с собой.

– Науки юношей питают, отраду старым подают… Как дальше? Ага, вспомнил: в счастливой жизни украшают, а в несчастьях от чего-то берегут… Итак, – сказал он, отодвинув журнал, – я буду читать вам навигацию, метеорологию и астрономию в тех пределах, что необходимы для служения на почетной ниве морского искусства.

За окнами класса – пустынная белизна озера.

Огненно-рыжая голова Финикина невольно привлекала к себе внимание, и Зайцев обратился к нему с вопросом:

– Вот скажи по совести – что такое метр?

– Метр – это когда… когда сто сантиметров.

– Слабо! – ответил Зайцев. – Юнга должен знать, что метр составляет одну сорокамиллионную часть Парижского меридиана. Навигация – древнейшая в мире наука о кораблевождении, и начинается она с познания земного шара. В широком понимании задача навигации – провести корабль безопасным путем, предположим, из точки А в точку Б. Навигатора в пути подстерегают опасности – течения, ураганы, мели, айсберги, рифы и… корабли противника! Современный штурман – это инженер, прокладывающий самый точный курс кораблю и умеющий в любой момент определить место корабля в море. Определить по видимым ориентирам. По глубинам. По звездам. Даже по цвету и солености воды! Рулевой же не только ведет корабль – он прямой помощник штурмана. И должен понимать ту работу, которую его начальник исполняет. Рулевой обязан знать лоции и карты, приборы управления и навигации. Должен уметь производить гидро– и метеонаблюдения. На нем лежит и почетная служба времени, точность и завод корабельных часов…

Юнги невольно глянули на эти часы, повешенные в классе. Привыкнуть к ним трудно. Циферблат разбит на двадцать четыре деления, а глаз юнги еще не отвык от берегового лада. Когда часовая стрелка смотрит строго вниз, кажется, что сейчас шесть часов вечера. На самом же деле наступил полдень.

Зайцев энергично разрисовал доску чертежами. Сначала все просто – широта, долгота, выведение координат, деление горизонта на градусы, минуты и секунды.

– Все понятно? – спрашивал лейтенант от доски.

– Все! – хором отвечали юнги.

Доска вытерта начисто. Она покрывается новой сеткой.

Началась голая арифметика, без всяких иксов и игреков – на радость юнгам.

– Морская миля, – рассуждал вслух Зайцев, – есть длина одной минуты дуги земного меридиана. В нашей стране она равняется тысяче восьмистам пятидесяти двум метрам. Точнее – с тридцатью сантиметрами. Такую же длину имеет и узел, служащий на флоте мерою движения корабля. Они равнозначны. Но миля означает расстояние, а узел – скорость. Нельзя сказать: «Мы шли со скоростью десять узлов в час». Эта фраза архибезграмотна, ибо само слово «узел» означает расстояние, пройденное кораблем за часовой отрезок времени. Моряки говорят: «Даем (или – делаем) десять узлов». Вот это правильно! Морская миля, в свою очередь, делится на кабельтовы. В миле их десять. В каждом по сто восемьдесят два метра. Плюс еще три сантиметрика, но эта ерунда редко учитывается…

Зайцев нравился юнгам. Он был хорош возле доски, на сложном фоне параллелей, обнимающих земной шар, и меридианов, бегущих к полюсам.

Земной шар с доски исчез. Вместо него распустился пышный цветок румбов.

– Завтра перейдем к курсам и пеленгованию. А пока зарисуйте в тетради вот эту румбовую картушку. Можете забыть свое имя, но названия всех тридцати двух румбов вы должны помнить даже ночью, если вас внезапно разбудят. Тут не надо быть большим мудрецом, а надо просто-напросто запомнить по ходу часовой стрелки: норд, норд-тень-ост, норд-норд-ост, норд-ост-тень-норд, норд-ост и так далее.

Сильнее всех пыхтел над румбами Финикин:

– Постойте! Я же русский, а тут все по-иностранному.

Зайцеву такой подход к делу не понравился.

– Если ты русский, так тебе не прикажут держать курс на два лаптя правее солнца! Пожалуйста, – вдруг заявил он, – специально для тебя перевожу названия румбов на русский язык: север, стрик севера к полуношнику, меж севера полуношник, стрик полуношника к северу и, наконец, полуношник, то есть норд-ост. Боюсь, что русские названия сложнее голландских… Хорошо китайцам – у них всего восемь румбов, чтобы не мучиться. Но ты же ведь не китаец.

– Все равно не пойму, – уперся на своем Финикин. – Я не виноват, что у меня котелок слабый и не варит слов иностранных.

Зайцев – отличный педагог! – даже обиделся:

– Но здесь не школа-семилетка, и твоих родителей к завучу не потащат. Если котелок слабый, так тебя выпроводят в хозвзвод – и будешь там гнилую картошку разгребать…

Игорь Московский пихнул Финикина в бок локтем:

– Присягу давал? Давал. Тогда сиди и помалкивай.

– А при чем здесь присяга? – засопел Финикин.

– А при том, что в ней есть слова: «Клянусь добросовестно изучать военное дело…» Коли так, теперь зубри!

Прозвенел звонок. Лейтенант поднялся:

– Это еще только азы… Когда вам станут читать электронавигационные приборы, вот тогда покряхтите!

Что за зверь такой – эти приборы, которыми их пугают?

В середине дня повели обедать. Было морозно.

– Ать-два! Ать-два! – командовал Росомаха, будучи в хорошем настроении. – Задери носы кверху. Не стесняйся ножку поднять повыше…

Из-за дремучего леса уже потянуло от камбуза запахами.

– Опять суп гороховый, – точно определил Джек Баранов.

И все разом заныли, будто их обидели. Артюхов сказал:

– Зажрались вы, как я посмотрю. Если бы голодными были, так радовались бы, что горох да пшено ежедневно молотим.

– Верно! – поддержал его маленький Поскочин. – Не пойму, отчего вы боитесь гороха. В древности на Руси гороховая пища входила в ежедневный рацион воинов-витязей. Ибо горох укрепляет мышцы для боя, придает человеку силу и мужество…

Над кашей Савка Огурцов задумался о своей дальнейшей судьбе. Он уже твердо решил, что служить надо обязательно на эсминцах. На этих стремительных, как гончие, кораблях – на них, кстати, начинал служить и отец Савки – масленщиком!

А вот флот Савка еще не выбрал. Балтика, конечно, ближе к родному дому, но…

Тут старшина Росомаха постучал ему ложкой.

– Огурцов! Я могу подождать. Рота тоже подождет. Даже война согласна тебя подождать. Но каша ждать тебя не будет.

После плотного обеда юнги всегда обретали некоторую сонливость. Строились перед камбузом не спеша. Куряки рыскали в поисках окурков. Конечно, дома юнги завалились бы на диван с кошкой. А тут опять надо идти в классы. Сегодня еще две лекции: основы службы погоды на море и устройство корабельных рулей. До кубриков добрались лишь после ужина. И таким славным, таким милым показался им их подземный дом. Между «бортами» вовсю шла перекличка двух классов рулевых.

– Ух и дали нам… Аж голова вспухла.

– У вас метео была сегодня?

– Нет. Зато вам еще не читали устройство корабля.

Ближе к вечеру кубрики огласились криками радости:

– Почту самолетом привезли! Письма несут!

Огурцов тоже получил письмо от бабушки. Она сообщала, что от отца вестей нет. Беспокоилась, как бы внучек на флоте не простудился, и от души советовала просить бескозырку пошире, чтобы прикрывала уши. Сама же она, как истощенная, помещена на пункт усиленного питания, где всегда тепло и можно пить чай.

Вчера ей дали кусочек сахару без карточек, половину она откусила, а другую приберегла…

Савка вспомнил свое обжорство сахарным пайком. Как он ложкой-то его наворачивал! И страшным стыдом обожгло его. До чего стыдно перед бабушкой!

Джек Баранов похвастал домашней новостью:

– Ты не поверишь – у меня сестренка!

– Откуда она взялась?

– Как откуда? Мама родила. И знаешь когда? Первого сентября. Помнишь, мы с тобой в этот день по колено в воде котлованы рыли… Назвали Клавочкой.

– Котлован?

– Спятил ты, что ли? Сестренку. Вот кончится война, приеду в Москву в шикарных клешах, а Клавочка уже подрастет и спросит: «Кто этот дядя?»

Что-то хмуро и сосредоточенно вычитывал из письма родителей Финикин. Потом он обратился к Росомахе:

– Товарищ старшина, обдираловка тут какая-то.

– Это ты о чем?

– Пишут родители, что посылку мне выслали. А где она, эта посылка? Видать, зажали. Знаем, как это делается.

– А я тебе не Главпочтамт, – обозлился Росомаха. – Самолетом доставили лишь письмишки, а посылки не поместились. Здесь тебе не материк, а остров… Соловки! Или это я твою посылку зажал?

Финикин был не таков, чтобы много рассказывать о себе. Знали о нем юнги мало. Видать, дома у него, в Ногинске, все было благополучно, отец имел броню и в армию призван не был, и жили, видать, не только на то, что выдавалось по карточкам. А через денек после получения писем дневальный оповестил:

– Где ногинский граммофонщик? Его к командиру.

Финикин схватил шинель, перетянул ее ремнем.

– За что меня-то? Я не как другие!

Вернулся от Кравцова с посылкой в руках. Большущая тяжелая посылка была обшита холстиной.

– Помочь открыть? – предложил Игорь Московский.

– Еще чего! Не надо, – отказался Финикин.

Взял посылку за бечевку в зубы, словно собака жирную кость, и полез с нею под потолок. Юнги испытали даже неловкость, когда с поднебесья кубрика раздался страшный треск – это Финикин раздраконивал свое сокровище, выдирая гвозди из крышки. Юнги с подчеркнуто равнодушными лицами занимались своими делами. А с верхотуры уже послышалось чавканье. Стоя на корточках, прижатый сверху низким потолком, Финикин черпал из банок домашнее вареньице. Никто не сказал ни слова, но про себя юнги подумали, на редкость проницательно, что варенье-то небось сладкое!

– Эй, тебе какое варенье прислали?

– А тебе зачем это знать? – ответил Финикин, прежде как следует подумав.

– Просто так, – смутился Коля, – я вот люблю вишневое.

С недосягаемой для Поскочина высоты донеслось:

– Вишневое тоже есть, да не про вашу честь!

Спать юнги ложились в скверном настроении, какого давно у них не бывало. Конечно, люди они гордые, никто не будет напрашиваться на даровое угощение. Но все равно противно: свой же товарищ ведет себя как последняя свинья.

Коля Поскочин перед сном шепнул Савке:

– Мог бы и угостить… хотя бы ложечку.

– Перестань! – И Савка отвернулся к стенке, терзаемый все тем же жгучим стыдом перед бабушкой.

– Так сладкого хочется, даже мутит.

– Спи, – ответил ему Савка. – Люди бывают разные, и с этим приходится считаться.

– Но они-то, эти люди, – возразил Коля, подразумевая Финикина, – они с нами ведь никогда не считаются…

Уже задремывая, Савка вспомнил блокадные дни, когда он возил на саночках с пожарища Бадаевских складов, разбомбленных фашистами, мешки с землей. С настоящей черной землей, впитавшей в себя сахар, расплавленный в огне. Мама варила эту землю в кастрюле. Получался пахучий черный настой, слегка сладковатый, и эту воду они с бабушкой пили, считая за счастье.

Рано утром он навестил командира роты рулевых. Кравцов, стоя у зеркала, собирался бриться. Он был красив той особой красотой подтянутости, которая свойственна большинству офицеров флота.

– У тебя что ко мне?

– Не знаю, как это делается, – пояснил Савка, – но я хотел бы отправить бабушке в Ленинград свой сахарный паек.

– Посылки с Соловков не отправляют.

Савка перетопнулся бутсами на пороге:

– И никак нельзя? От вас разве не приняли бы?

– Приняли бы… – Кравцов, намылив щеку, повернулся к юнге. – Слушай, – заметил он душевно, – я тебе советую как старший: не связывайся ты с этим…

– Почему?

– Бабушка есть бабушка, все это так. Но сахар должен съесть ты сам! Организм твой быстро растет, и лишать его сахара никак нельзя. Сам знаешь, как сейчас всем трудно. И все-таки вам, юнгам, выделен колоссальный паек. Да еще вдобавок триста граммов сахару как некурящим. Почти два кило сахару зараз! Где ты еще такое видел по карточкам?

– Нигде не видел, – согласился Савка. – Но мне-то ведь все равно не хватает. Так лучше уж послать бабушке.

В руке лейтенанта страшно сверкнула бритва.

– Ах, не хватает? – крикнул он, наступая на Савку. – Но командование флота не виновато, что вы у меня такие дикари! Весь паек трескаете быстрее, чем мыши крупу! А потом вас же при виде сладкого чуть не в обморок кидает. Ступай на построение. Опоздаешь – влетит. Я проверю. Марш отсюда!

\* \* \*

Капитан-лейтенант Симонов, полный живой брюнет, начал, как водится, с компаса. Он сразу предупредил, что верная двойка обеспечена тому, кто скажет коўмпас, а не компаўс! В классе стоял высокий шкафчик красного дерева, вроде тумбочки, а сверху его закрывала медная сфера с иллюминатором, внешне похожая на водолазный шлем.

– Перед вами магнитный компас. Тумбочка, в которой он помещается, зовется нактоузом. Сам же компас – вот!

Симонов снял с нактоуза колпак и велел юнгам подойти поближе. В сцеплении колец безмятежно колыхался небольшой котелок из меди, а внутри его тихо плавала картушка с румбами.

– Такое подвешивание прибора на кольцах, которое называется кардановым, обеспечивает компасу в любую качку горизонтальное положение. Как бы ни бросало корабль, компас все равно станет ровно. Магнитные стрелки, прикрепленные снизу картушки, плавают в спирте, отчего картушка движется в котелке плавно. Почему не вода? Так ведь вода-то при морозе замерзнет… Что непонятно?

– А спирт из компаса можно выпить? – спросил Финикин.

– Выпить можно всё, – последовал ответ. – В том числе и спирт из этого компаса. Но я вам, коллега, не советую даже думать об этом, ибо спирт в компасе заранее отравлен… Итак, продолжим!

Каким простым и надежным был компас, который они брали летом в туристские походы. И каким сложным и капризным вдруг стал компас, когда Симонов заговорил о нем далее.

Юнгам следовало знать: стрелка компаса не тянется к тем полюсам, что обозначены на картах и глобусах. Нет! Нордовый, северный конец ее устремлен к магнитному полюсу планеты – примерно к полуострову Бутия на севере Канады. Симонов провел на классной доске прямую вертикаль меридиана, а рядом с ним пролегла косая линия. Угол между ними он соединил дужкою измерения.

– Этот угол между географическим меридианом, который называется истинным, и направлением стрелки компаса и есть магнитное склонение. Следовательно, мы имеем первую поправку к курсу корабля. Мало того, в открытом океане корабль может войти в область более высокого магнитного влияния, и тогда поправка изменится. Наконец, случаются магнитные бури, когда компас может просто взбеситься. Склонение же бывает к осту или весту – с плюсом или минусом. Прошу так и записать.

Кажется, капитан-лейтенант решил сделать все, чтобы юнги потеряли веру в магнитный компас. Юнги знали, что склонение – не единственный порок компаса, есть и другие, более сложные. Корабли, как известно, собирают из металлов. Железо активно воздействует на стрелки корабельных компасов – с такой силой, что компасы способны показать север на юге. Это – девиация, опасный враг мореплавания. Рассказав о ней, Симонов возле двух линий – истинного и магнитного меридианов – провел третью, косую линию.

– Образовался еще один угол поправки к курсу нашего корабля. Задача усложнилась. А теперь допустим, что наш корабль выбросил в противника тонны снарядов. Погреба его опустели. Значит, воздействие железа на компас уменьшилось, а поправка на девиацию снова изменилась. Противник стал нас преследовать. Или мы его. На форсаже машин прогрелись трубы и палубы. Воздействие тепла на стрелку компаса усилилось, и она опять отклонилась. Рядом с ходовой рубкой включили мотор – сейчас же возникло магнитное поле, которое сбивает нас с курса, и штурман уже измучился от внесения все новых и новых поправок к курсу…

Закончил Симонов предупреждением:

– Таким образом, при заступлении на ходовую вахту рулевой обязан проверить даже свои карманы. Нет ли в них чего железного? В число запрещенных предметов входят ключи, перочинные ножики. И даже… тонкий прутик стального каркаса в бескозырке.

Финикин при этих словах тронул свой железный зуб.

– Придется вырвать, – улыбнулся Симонов.

– Это как?

– Очень просто. Щипцами. А вставить, например, золотой. Золото относится к числу нейтральных металлов, которые не могут воздействовать на стрелки магнитных компасов.

Финикин растерянно понурился, бормоча:

– Золото… где взять-то? Небось денег стоит. Хоть бы предупреждали, когда в рулевые записывали.

– Магнитный курс корабля устарел! – закончил лекцию Симонов. – Сейчас флот равняется по истинному курсу, в основе которого лежит прямая и четкая линия между полюсами – истинный меридиан.

В коридорах уже бегали дежурные со звонками, оповещая о конце занятий, но юнги-рулевые выждали заключительного аккорда лекции.

– Истинный меридиан! – повторил Симонов. – Сейчас флот идет по истинному курсу. А дает этот курс гироскопический компас. Но гирокомпасы – область знаний штурманских электриков. Подготовка этих специалистов обходится государству недешево, на флоте их мало. На подводной лодке – один, на Эсминце – два человека. На линкоре – точно не скажу. На линкорах я не плавал.

– А мы тоже будем изучать гирокомпасы?

– Быть рулевым и не знать электронавигационных приборов нельзя. Но ознакомят вас с гирокомпасами кратенько. Без углубления в тему. Преподаватель еще не прибыл. Ждем его с флота. Скоро приедет, и тогда берегитесь, как бы не нахватать двоек. Дело трудное…

В перерыве все обступили Финикина.

– Когда зуб-то рвать пойдем?

– А хоть сейчас! Только пускай золотой вставят.

Федя Артюхов буркнул:

– Охота вам связываться… с этим.

Савка всегда уважал Артюхова, иногда почему-то даже жалел. Однажды он тихонько спросил его:

– Федя, скажи – а воровать… страшно?

– Не знаю, – ответил Артюхов. – У сытого да жадного, когда ты сам голодный, своровать еще можно. Но совсем уж противно голодному красть у голодного. И больше ты ко мне с этим не приставай.

\* \* \*

В роте их ждала радость – привезли лыжи. Боцмана кинулись на них первыми, вмиг расхватали самые лучшие, с хорошими палками. Боцмана вообще задирали носы не в меру. Они как-никак единственные из юнг, которым предстоит лично вести огонь по противнику.

В кубрике рулевых шла суетливая возня. Если полсотни мальчишек запихнуть в одно помещение, они могут так побеседовать между собою, что у взрослых через десять минут затрещат головы. Росомаха уже разбирал свою койку, а Колесника еще не было, он утащился в соседний колхоз на танцульки.

– Ти-ха! Ти-ха! – взывал к юнгам Росомаха.

Стало чуть-чуть потише, и в этой случайной паузе все расслышали, как Финикин обратился к старшине:

– Разрешите доложить, что у меня банку варенья сперли. Вчера была, а сегодня – нету.

Росомаха вновь застегнул манжеты своей фланелевки.

– Ти-ха! Кто у этого товарища банку варенья увел?

Вот теперь в кубрике стало совсем тихо.

– Никто не сознается? – вопросил старшина. – Или вам неизвестно, что воровство особо жестоко карается на флоте?

Все молчали. Кто был удивлен. Кто пристыжен.

– Становись! – скомандовал Росомаха.

Вдоль левого «борта» вытянулась шеренга колесниковского класса, вдоль правого – класса Росомахи. Лампочки светили вполнакала, от печки несло жаром. Забытые учебники и тетрадки валялись на столах и койках.

Росомаха рысцой пробежал вдоль шеренг.

– Еще раз спрашиваю – кто взял банку?

Финикин проговорил:

– Артюхова допросите. Пусть он мое варенье отдаст.

– Артюхов, это случайно не твоя работа?

Тот отвечал старшине с достоинством:

– А почему вы именно меня спрашиваете?

– Так ты же… – начал было Росомаха и умолк.

Из шеренги левого «борта» кричали:

– У нашего Серебрякова вчера кто-то перышко из ручки выдернул. Может, это один и тот же гад работает!

Растерявшийся Росомаха вызвал из строя Московского.

– Старший, – сказал он Игорю, – этого дела мы так не оставим. Ты начинай с того конца кубрика, а я с этого. Из строя никому не выходить, пока не обыщем все койки.

Росомаха разворошил постель Феди Артюхова, заглянул на его полочку, отвернул матрас. Нигде вареньем даже не капнуто. Московский нехотя пощупал рукой книги на полке Коли Поскочина, отодвинул куски мыла и… вытащил банку.

– Вот она! – сказал Игорь в полном изумлении.

Из банки торчала ложка. Половины варенья уже не было.

Финикин сразу полез на Колю Поскочина.

– Умника из себя строишь, а сам… Твое это было варенье? Тебе его прислали? Я вот сейчас как врежу…

Но тут прозвучал резкий голос Артюхова:

– Не тронь маленького. Что он тебе худого сделал?

– Как что сделал? Он же мое варенье слопал.

– Захотел и слопал. А тебя это не касается.

– Видали? Мое варенье едят, а меня это не касается.

– Дурак! – ответил Артюхов. – Ты еще жизни не видывал…

– А ты… Ты сам вор и другого вора покрыть хочешь.

Артюхов, побледнев, двинулся на Финикина:

– Слушай, ты! За такие слова я тебя так кокну по твоей банке, что из нее последнее варенье вытечет. Да, я крал. Чтобы не подохнуть. Но я копейки не украл с тех пор, как попал на флот…

– Кокну, кокну… Ишь кокальщик какой нашелся. Эво, старшина рядом стоит. Он тебя живо на отсидку отправит.

– Прекратите! – вмешался в спор Росомаха. – А то и правда возьму и обоих вас закатаю на гауптвахту… Кончайте баланду! Дело ясное. Юнга Поскочин, ты зачем чужое хватаешь?

Бедный «философ» горчайше разрыдался:

– Сам не знаю… сладкого захотелось… не удержался!

Росомаха еще крутил в руках липкую банку.

– Держи сам! – и сунул банку Финикину. – Юнга Поскочин, а тебе известно, что воровать нехорошо?

– Известно… конечно же! – отвечал Коля.

– А если так, то, выходит, действовал сознательно. Это как понимать? Всяких там Кантов изучаешь, а к себе философски отнестись не можешь… Чего молчишь? Отвечай.

Явился с танцев Колесник – заснеженный, румяный.

– Что за ярмарка? – удивился он с порога.

– Да вот… вора нашли, – мрачно пояснил Росомаха.

Из класса Колесника надрывно взывали к честности:

– Заодно и перышко поищите. Писать человеку нечем!

Савка слышал, как Росомаха тихо сказал Колеснику:

– Мне этого Канта, чтоб ему ни дна, ни покрышки, честно-то говоря, позарез жалко. Лучше бы он, сукин сын, слопал варенье, а банку в сугроб закинул…

Шепотком отвечал ему Колесник:

– У нас на крейсере такого Финикина давно бы в гальюн сунули и воду спустили. Поскочин-то – пацан. А кто не тягал варенья у бабушки из буфета?

– Сравнил. Дома высекут – и порядок. А здесь из-за такой ерунды может кончиться плачевно…

Савке стало безумно жаль Колю, и никак не укладывалось в голове, что он может украсть.

– Коля, – спросил он, – зачем ты это сделал?

Тот поднял лицо – страдальческое, в слезах:

– Да не вор же я… Просто сладкого хотелось.

Росомаха велел юнгам отходить ко сну, но кубрик еще долго бурлил, по углам ожесточенно спорили. Гнев рулевых, как ни странно, был направлен в основном против Финикина с его банками.

– Хозяин! – с презрением говорили ему. – Если б не твои сласти, так и позора не было бы. Нашли, что прислать, родители – варенье! Лучше бы гуталину для сапог прислали или порошку зубного, чтобы бляхи драить.

– Чего вы на меня-то накидываетесь? Я разве украл?

– Провокатор ты! – было заявлено от Игоря Московского.

– Я провокатор? – изумился Финикин.

– А кто же ты еще? Расставил свои банки и лижет. То малиновое. То вишневое. То собачье. Вот человек и не выдержал. А кто его подначил, как не ты?

Финикин отбивался, как мог:

– По-вашему, я всех должен угощать? Вас двадцать пять едоков в классе. Да по другому «борту» еще столько же облизывается. Моим родителям на полсотни ртов не напастись.

– Давись сам, – отвечали ему юнги. – Только слопай поскорее и кончай эту канитель. Не порти нам настроение.

– Дневальный! – требовал Росомаха. – Гаси свет!

Один лишь Джек Баранов отмолчался в этих спорах.

– А ты что? – спросил его Савка.

– У меня на этот счет свое мнение.

\* \* \*

В соседних классах радистов уже стала попискивать, как мышь в подвале, морзянка: та-ти-ти, та, та-та-ти, ти-та… Сначала робкая и сбивчивая, она все чаще взрывалась каскадами бравурных передач. Уже появились юнги-мастера, гнавшие количество знаков по секундомеру – все быстрее, все больше. Рота радистов, чтобы юнги не потеряли чуткость руки, была освобождена от тяжелых работ – валки леса, пилки дров и прочего.

Такая же морзянка проникла и в классы роты рулевых. Только здесь она беззвучно билась в пучках света. Старшина Фокин отщелкивал ее на клавишах Ратьера, и рулевые по проблескам фонаря хором читали слова, а потом и целые фразы:

– По пра-во-му бор-ту и-ме-ю бар-жу с топ-ли-вом…

Флажный семафор казался юнгам труднее. Допустим, дается «веди»: правая рука держит флажок горизонтально. Но при чтении сигнал виден читающему зеркально: для него флажок реет уже не справа, а слева. Фокин не спешил. Поначалу писал флажками простые обозначения: «вызываю на разговор», «понял», «не разобрал», «повтори», «передвинься», «не могу принимать». Затем старшина стал писать текст.

– Не бойтесь, буду давать медленно.

Класс рулевых загудел, прочитывая слова, и отдельные ошибки одиночек потерялись в общем правильном хоре.

– Како… он… рцы… аз… буки… люди… мягко.

Фокин дал отмашку «оканчиваю». Получилось слово «корабль». Быстрее всех выдал шестьдесят знаков в минуту Федя Артюхов. Фокин обрадовался:

– Ставлю тебе пятерку. Первая в вашем классе! – И добавил: – А сейчас открою один секрет, известный всем сигнальщикам флота. Мы никогда не разводим руки так широко, как это делает новичок, стараясь, чтобы его поняли. Смотрите, в чем заключается секрет стремительной передачи семафора…

Фокин стал писать. Но руки старшины при этом не разлетались в стороны, как это рисуют на картинках. Руки мелькали лишь впереди корпуса. Фокин сократил размах флажков, и движения его рук стали взрывчатократкими, напоминая жесты экспансивного человека при разговоре.

– Только так! – сказал он, окончив передачу. – Можно ставить рекорды, если уверен, что тебя поймет читающий. Издали-то даже сокращенные размахи рук читаются легко. Особенно – на фоне неба.

Следующий урок – устройство рулей, поворотливость и маневренность корабля при эволюциях. Вел этот предмет инженер-капитан третьего ранга Плакидов, человек бывалый и строгий. Он не делал никаких скидок на то, знаком юнга с физикой или нет. Плакидов в случае недоразумения говорил:

– Удивляюсь! Чему вас в школе учат?

Урок, ответственный и трудный, начался.

– Для начала повторим пройденное, – сказал Плакидов, ни на кого не глядя. – Юнга Огурцов!

– Есть юнга Огурцов.

– Прошу. Составные части руля.

– Есть! Плоскость руля называется пером, ось вращения – баллер. Баллер связан с румпелем и рулевым приводом, который ведет к штурвалу на мостик. Передняя кромка руля, что прикасается к ахтерштевню, называется рудерписом, а нижняя кромка – пяткой.

– Ты забыл гельмпорт и рудерпост. Повторить!

– Есть. – Савка, недовольный собой, садится на место.

– Юнга Баранов, что вам известно о «гитаре»?

– «Гитарой» моряки зовут рулевой привод Дэвиса.

– Прошу. Устройство.

Класс слушает, как Джек с трудом выгребается из гаек с ползунами и червячно-дифференциальных редукторов… Выгребся!

– Ставлю четыре, – говорит Плакидов. – Юнга Поскочин…

Тягостное молчание класса рулевых.

– Нет Поскочина? Дежурный!

– Есть дежурный, – поднимается с места Финикин.

– Почему отсутствует юнга Поскочин?

– В роте уборку делает. Он к занятиям не допущен. У своего же товарища банку вишневого…

Игорь Московский резко дергает Финикина за подол голландки, заставляя его прервать гневное прокурорское выступление.

– Тогда, – говорит Плакидов, – вам, Финикин, придется ответить за отсутствующего Поскочина. Для начала обрисуйте нам процессы, происходящие при работе винта правого шага, и явление отбрасываемой струи. Предстоит похудожничать, а потому идите к доске.

Финикин берет мел, но до рисования ему далеко.

– Ну, винт… – говорит он.

– Так. Винт! – охотно подтверждает Плакидов, вышагивая по классу.

– Он работает…

– Так. Работает.

– Ну, он правого шага. Крутится в эту сторону…

– В какую «эту»? – возмущается Плакидов, забравшийся тем временем в угол класса. – Флотский язык точен! Представьте себя наблюдателем работы винта правого шага… Что вы наблюдаете?

Финикин, надувшись, отмалчивается у доски.

– Значит, ничего не наблюдаете… Ни завихрений, ни сил реакции? – Плакидов удручен. – О чем вы думаете?

– Забыл… – сознается Финикин.

– Садитесь. Для развития памяти ставлю вам двойку.

– Не успел, – оправдывается Финикин. – Расстроился вчера.

Плакидов не терпит таких ответов.

– Какие могут быть у юнги причины для расстройства? Или вы отец семейства, обремененный чадами? Сыты, обуты, одеты…

Инженер-капитан третьего ранга развешивает по стенам схемы и технические чертежи, которые по вечерам рисует сам – искусно и добротно. Чувствуется большая любовь Плакидова к делу, и класс невольно сжимается, когда он берется за указку. Сейчас на всех немощных в физике горохом посыплются всякие там векторы всасывающих струй…

– Итак, – начинает Плакидов, – вы стоите на мостике у штурвала. Положение руля нулевое. То есть, говоря по-морскому, руль в диаметральной плоскости. У вас на корабле винт правого шага. Дали «средний вперед». В какую сторону покатится ваш корабль?

– Прямо! – хором сообщают юнги.

– Почему?

– Потому что руль-то стоит прямо… на нуле!

– Ох, опасное заблуждение, – причмокивает Плакидов. – Если руль стоит прямо и дан ход винту правого шага, то корма вашего корабля будет заброшена тоже вправо. А нос корабля круто рванется влево. Произойдет разворот «на пятке», опасный в тесноте гавани. Понятно? Теперь рассмотрим загадочные процессы, происходящие под килем корабля…

Плакидов выводит юнг в море. На переменных скоростях они ведут корабли. Под ними вращаются винты правого и левого шага. На эсминцах по два винта. На крейсерах по три. На линкорах до пяти. Возникает дикий хаос мощных водяных струй. С полного вперед машины реверсируют на полный назад. За сорок минут урока юнги не раз терпят жестокие катастрофы. Их кормы забрасывает на соседние корабли. Они повинны в чудовищных авариях. Встреча с опасной инерцией кончается тем, что корабли таранят причалы и стальные бивни форштевней с хрустом разбрасывают по воде просмоленные бревна…

– Теперь вы понимаете, – заканчивает лекцию Плакидов, – насколько безмятежна была ваша жизнь раньше. Вам ведь казалось, что рулевой на мостике – вроде опереточного героя. Сказали ему «вправо» – он покатил штурвал вправо. Сказали «влево» – пожалуйста, готово дело, лево руля. Но управление кораблем – это наука, построенная на знании, глазомере, опыте – и на риске! Бывают дикие случаи, когда руль до предела положен вправо, по корабль катится влево…

Плакидов берет под локоть журнал и указку. На прощание его стальной перст выстукивает по рыжей маковке Финикина:

– У вас не должно быть никаких забот, кроме одной: учиться, учиться и учиться. А что еще? Че-пу-ха!

\* \* \*

В кубрике их ждал приунывший Росомаха. Честно говоря, насколько Колесник был весел и бесшабашен, настолько Росомаха по характеру был занудой. Он утюжил через тряпку свои клеши, и от широких штанин валил пар, пахнувший уксусом. Плаксивым голосом Росомаха заговорил:

– Драть бы вас всех! Теперь нам из этого поганого варенья не вылезти, влипли в него всем классом, как мухи. Уже и начальство пронюхало.

– Ну и что ж, – бодрились юнги. – Мы рассудим по-товарищески.

– Вы по-товарищески, а командование – по уставу. Могут вашего философа и с флота попросить. Он несовершеннолетний, его демобилизовывать не будут, а просто вышибут, и дело с концом!

Поскочин, совсем опечаленный, весь день мыл полы в землянках, колол дрова, топил печки. Кажется, он был готов к самому худшему. Юнги сочувствовали ему:

– Не грусти! Мы тебе пропасть не дадим…

Открытое комсомольское собрание проводили в кубрике рулевых. Присутствовали и те юнги, что не были комсомольцами по малолетству. Пришел заснеженный с ног до головы Щедровский, явился и Кравцов.

– Случай возмутительный, – сказал замполит. – Конечно, варенье – ерунда, важен сам факт воровства. Поскочин еще только начинает служить и уже так опозорился. Вам известно, что подобные вещи на флоте не прощаются. Мы должны быть принципиальными и строгими. Дурную траву – с поля вон.

Росомаху попросили дать характеристику Поскочину.

– Дурного не замечалось. Я всегда считал его хорошим, дисциплинированным юнгой. Что с ним стряслось, и сам не пойму.

Поскочин, тоже не комсомолец по причине малых лет, плакал и твердил одно:

– Как вы не понимаете? Просто сладкого захотелось…

Кравцов твердо бил ребром ладони по краю стола:

– Ты прежде подумал ли о мерзости своего поступка?

– Нет, не думал. Как увидел сладкое, так меня и потянуло.

Савка, страдая за Колю, поднял руку.

– Можно я?

Ему дали слово, и он сказал кратко, но горячо:

– Я так думаю, что юнга Поскочин понял всю нехорошесть своего поступка, и больше он так делать не будет.

– Ну, это уже разговор для детских яслей, – вступился Щедровский. – Если все на флоте, совершив проступок, станут говорить, что они больше не будут, то во что обратится служба? Надо рассуждать серьезно.

Росомаха, кашлянув в кулак, робко сказал:

– В самом деле, товарищи, давайте серьезнее…

Замполит оглядел юнг постарше:

– Из комсомольцев кто выскажется?

– Я!

Над столом поднялся комсорг Джек Баранов. Он был красивым юношей. Широкая голландка навыпуск великолепно шла к его стройной фигуре, и даже стрижка наголо не портила его, как других юнг, а казалась особой прической.

– Давай! – сказал ему Кравцов.

– Мое мнение особое, – начал Джек. – Считаю, что Коля Поскочин поступил с этим дурацким вареньем правильно!

Это было так неожиданно, что поначалу Джека не поняли. Упрямо мотнув головой, он продолжал:

– Флот кулацких замашек не терпит. Юнга Поскочин самовольно раскулачил Финикина, но раскулачил правильно. Как принято на флоте? Твое – мое. А мое – твое. Представьте на минуту, что мы сейчас сидим не в землянке, а в отсеке подводной лодки. Завтра в этом отсеке мы, может быть, задохнемся на грунте, так разве ты или я станем прятать друг от друга какую-то банку варенья?

Тишина в кубрике рулевых. Тишина…

– Поскочин, – продолжал Джек, – поступил по законам святого морского братства. Твое, Финикин, он взял у тебя, как свое. Но если ты возьмешь у Поскочина все, что пожелаешь, он жалеть не будет, в этом можешь не сомневаться. – Джек повернулся к Щедровскому: – Поймите меня правильно. На чужое мы не заримся. Посылка пришла не нам, и Финикин вправе ею распоряжаться. Но если уж он такой жадюга, взял бы две банки варенья, принес бы к завтраку на камбуз и выставил бы на стол: вот вам, ребята! Это было бы честнее и порядочнее, чем забираться на верхотуру и там, согнувшись в три погибели, наслаждаться в одиночку… Мы не защищаем Поскочина! Но мы осуждаем и Финикина.

Игорь Московский был краток:

– Поскочин всегда был хорошим товарищем, и с ним я пошел бы в любую заваруху, хоть на гибель. А что касается товарища Финикина… я бы еще подумал, идти с ним или не идти.

Остальные юнги соглашались:

– Верно! Чего уж там. Не варенье дорого, а чтобы все по-человечески было… Разве можно так, как Финикин?

Поскочин всхлипнул, счастливый. Финикин проворчал:

– Это не по существу! Варенье-то мое съели… Факт!

Щедровский велел ему замолчать:

– Не лезь со своим вареньем. Тут вопрос посложнее…

Кажется, офицеры поняли суть дела. И поняли ее правильно. Обстановка разрядилась, и Кравцов лукаво подмигнул Поскочину:

– Не рыдай! Флот не выдаст – свинья не съест…

После отбоя, когда погасили свет в кубрике, с высоты третьего этажа долго слышался печальный перезвон. Это Финикин в потемках сортировал свои банки с вареньем.

– Меня же обчистили, и я же виноватым остался. Где же справедливость?

Возня с банками была прервана окриком Росомахи:

– Слушай! Тебе еще не надоела твоя сладкая жизнь?

Все затихло. Мир и покой…

А в шесть утра – еще темнотища над Соловками – от большака уже поют залихватские горны: вставай, побудка… Никто потом ни словом не упрекнул Колю Поскочина за его житейское прегрешение, но зато слова Джека Баранова о морском братстве прочно засели в памяти каждого, и они, эти слова, определят еще многое…

Юнги учились быть щедрыми. Иначе нельзя!

\* \* \*

Когда закончилось комсомольское собрание, Савка на улице возле землянок нагнал Щедровского.

– А, Огурцов! Что скажешь?

Савка рассказал о своих заботах. Бабушка в Ленинграде, отец еще летом ушел в морскую пехоту, под Сталинград, и с тех пор не пишет.

– Ничего мне не сигналит! – закончил Савка свой рассказ.

– Насколько я понял, ты хочешь навести справки об отце. Это нелегко. Если погиб – скорее ответят. А если пропал без вести, тогда устанешь дожидаться. Откуда отец призывался?

– Он не призывался. Служил на Северном флоте в таком же звании, как и вы… Был комиссаром.

– Ну, комиссаров теперь нет. Ладно, – сказал замполит. – Пошлем запрос, но скорого ответа не жди. Сам знаешь, какая идет война. Не до переписки.

Щедровский глянул на часы, потом на небо, вдоль которого распускался павлиний хвост полярного сияния. Шумел черный лес.

– Комиссар Огурцов… Кажется, я его знал. Да, встречались однажды на конференции. – Щедровский вдруг снял перчатку и подал Савке теплую ладонь. – Беги в кубрик. Уши отморозишь.

Утром, после умывания в ледяных прорубях, юнги обычно толпились в кубриках возле расписания занятий, еще красные с мороза, запыхавшиеся от беготни по сугробам. Обсуждали предстоящий день.

– Первый урок – служба погоды, Зайцев ведет.

Метеорология, тайны стихий… Лейтенант Зайцев, щеголеватый, чуточку язвительный, интересовал юнг сам по себе, но и предмет свой вел интересно.

– Что у нас было в субботу? – спросил он, усаживаясь за стол.

– Давление. Циклоны. Муссоны и пассаты.

– Ага. Анероиды и барографы я вам уже читал?

– Читали. Остановились на влажности воздуха.

– Так. Значит, сегодня пробежим дальше.

Зайцев отправился гулять между рядами столов, источая запах одеколона.

– Значение службы погоды в нынешней войне неизмеримо возросло. От метеосводок зависят действия армий и флотов, зависит исход битв на воде и в воздухе. Перед вами – гигрограф, прибор для автоматической записи влажности воздуха. Его действие основано на свойстве человеческого волоса укорачиваться или удлиняться с изменением влажности в атмосфере. Причем, как выяснили ученые, лучше всего реагирует на влажность рыжий волос.

Класс дружно обрадовался:

– У нас Финикин рыжий! Если его два года не стричь, он весь флот обеспечит рыжими волосами. Можно за границу продавать!

Зайцев даже не улыбнулся.

– При всем моем уважении к товарищу Финикину должен сразу его огорчить. Волосы для приборов берутся от рыжих женщин. Век живи – век учись.

– А почему от женщин, товарищ лейтенант?

– Женский волос мягче, восприимчивее и эластичнее. Подойдите к столу. Спокойнее, без давки. Вот он, этот прибор, который так важен в морской метеорологии. Он же позволяет кораблям вовремя избежать взрывоопасной сухости или влажности в погребах, где хранятся боеприпасы.

Зайцев позволял юнгам не только смотреть, но и щупать пальцами, крутить барабан автомата. Не беда, если испортят учебный прибор, – важно научить!

– Насмотрелись? По местам. Откройте тетради. Кто из вас читал книгу Лухманова «Соленый ветер»?

Выяснилось, что половина класса знакома с нею.

– Добро, – похвалил их Зайцев. – Лухманов, бывший капитан парусного судна, написал стихи… Многовековый опыт мореплавателей выявил ряд удивительно точных примет погоды. Лухманов, чтобы легче запомнить, изложил эти приметы в стихах. Конечно, все знают: если небо красно к вечеру, моряку бояться нечего, если красно поутру, моряку не по нутру… А вот приметы по облакам:

Радуга утром – дело плохое,

Радуга вечером – дело иное.

Если солнце село в воду,

Жди хорошую погоду.

Если солнце село в тучку,

Берегись – получишь взбучку.

Вечером небо коль полно огня,

Утром же зорю туман застилает, —

Верные признаки ясного дня,

Старый моряк парусов прибавляет.

Савка, записывая стихи, наслаждался, и урок окончился незаметно.

– Поздравляю вас, – сказал Зайцев на прощание, – в Савватьево прибыл преподаватель электронавигационных инструментов. Толковый специалист флота, мичман Сайгин, прошу любить и жаловать.

– Уррр-а! – обрадовались юнги, вскакивая из-за столов.

– Чему вы радуетесь? – удивился Зайцев. – Мичман Сайгин сейчас задаст вам перцу…

– Мы радуемся другому, – признались юнги…

\* \* \*

Звонок – и с чемоданчиком в руке мичман явился в класс рулевых. Обыкновенный мичман, каких много на флоте. Только маленького роста. Да на левом рукаве кителя два золотых шеврона, означающих десять лет службы сверх срока. Что было неприятным в Сайгине, так это сладенькая улыбочка. Впрочем, юнги уже понимали, что внешность человека бывает обманчивой. Вон Аграмов – уж каким страшилой показался на первых порах, а теперь они в нем души не чают.

Сайгин действовал молча. Покопался в своем чемодане, и в руках его вдруг оказался волчок. Самая обычная детская игрушка-волчок. Не спеша мичман поместил чемодан под стол и – улыбка! улыбка! улыбка! – раскрутил волчок на плоскости стола. Юнги смотрели, как вращается игрушка, и ничего не понимали. Ведь Сайгин им еще и слова не сказал. Похоже было, что мичман просто решил поиграть немного…

Наконец мичман произнес:

– Оп! – И линейкой подсек волчок снизу.

Теперь волчок вертелся на самом конце линейки, и Сайгин обошел с ним весь класс, продолжая улыбаться. Раздалось:

– Оп! – И с линейки волчок перепрыгнул на подоконник.

Вращение его угасло, а мичман перестал улыбаться.

– Всем вам знакома эта игрушка, – заговорил он. – Между тем великий Леонард Эйлер уже относился к волчку с большим почтением. Он подозревал, что в волчке скрыта загадка, но… какая? Если бы волчок был только игрушкой, то его свойства не стали бы изучать такие корифеи науки, как Софья Ковалевская, академик князь Голицын, кораблестроитель Крылов и отец русского воздухоплавания Жуковский. Советую вам забыть об игрушке… Сейчас перед вами откроется окно в новый мир.

Сайгин подтянул рукава, словно фокусник на эстраде, и снова сунулся носом в свой волшебный чемоданчик. Он извлек оттуда блещущее никелем сооружение. В системе кардановых колец покоился волчок – только массивный, на шарикоподшипниках.

– Карданов подвес вам уже знаком. Именно благодаря ему ось волчка вращается в любом направлении, а сам волчок как бы подвешен в свободном пространстве. Поэтому он и перестал быть игрушкой, а превратился в особый прибор, название которому – гироскоп… Вот вы – все равно, кто из вас – подойдите!

Артюхов шагнул к гироскопу. Мичман велел ему:

– Надавите на любой конец оси слева направо.

Федя тихонько толкнул гироскоп по горизонтали.

– Теперь ткните его снизу вверх… смелее!

Артюхов выполнил приказание.

– Вы убедились, что гироскоп охотно вам подчиняется?

– Да, – кивнул Федя. – Отлично убедился.

– Тогда садитесь на место.

Сайгин достал из кармана длинный тонкий шнурок.

– Сейчас мы заставим этот гироскоп работать.

Он продел шнурок в отверстие на оси гироскопа и во всю длину намотал его на ось. Потом взялся за кончик шнурка, притих, напрягаясь перед рывком, и сильно дернул шнурок на себя. Гироскоп стремительно вошел во вращение, класс наполнился ровным ноющим звуком. Сайгин спрятал шнурок в карман.

– Гироскоп работает, – сказал он, опять сладко улыбаясь. – Обратите внимание, сейчас его ось глядит вон в тот угол класса. Представьте себе, что он вращается час, два, три, четыре часа… Куда, по вашему мнению, будет направлена ось гироскопа, скажем, часов эдак через пять-шесть?

Никто не знал. Послышались предположения:

– Туда же… в угол.

– Неправда! – вдруг крикнул Сайгин. – Через пять-шесть часов постоянного вращения гироскоп направит свою ось вот в это окно. Единый вздох удивления юнг. – А все просто, – ошарашил их мичман. – Вы совсем забыли о Земле! Гироскоп сохранит свое положение в пространстве неизменным. Но Земля-то ведь за это время совершит четверть оборота. За двадцать четыре часа работы гироскоп обведет своей осью всю комнату и через сутки уставится опять в этот угол… Вы меня поняли?

Вращалась планета, и как бы независимо от нее крутился гироскоп. Сайгин рукою остановил его движение. Ротор сразу ожил. Чередуясь в блеске никеля, замелькали его кардановы кольца, обнимающие гироскоп, уже отдыхающий от быстрого бега.

– Откройте тетради. Запишите крупными буквами. Слово в слово, как я вам скажу. Диктую: ОСЬ СВОБОДНО ПОДВЕШЕННОГО ГИРОСКОПА СОХРАНЯЕТ В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ НЕИЗМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ… Вот это и есть первое, самое значимое правило гироскопа!

Шнурком он раскрутил гироскоп еще сильнее.

– Меня, – сказал мичман, – не удивляет, когда ребята катаются на велосипедах, сняв руки с руля. По сути дела, колеса велосипеда есть такой же гироскоп. Снаряду, летящему во врага, нарезы в стволе орудия придают вращательное движение – вот вам еще один гироскоп! Торпеда знаменитой лунинской подлодки, поразившая гитлеровский флагман «Тирпитц», управлялась в своем стремлении под водой прибором Обри – вот еще один гироскоп! Перед войной в нашей стране проводились опыты по созданию однорельсового пути и одноколесного вагона – в основу положен принцип гироскопа! Океанские лайнеры не боятся шторма – любую их качку успокаивают гигантские роторы гироскопов… По сути дела, – заключил Сайгин, – мы с вами живем в окружении гироскопов, сами того не подозревая. Мало того, наша планета Земля, населенная мыслящими существами, тоже является гироскопом, заключенным в мировом пространстве гироскопических галактик… Разве это не прекрасно?

Гироскоп перед мичманом еще вращался.

– Вот ты… Как тебя зовут?

Савку сдернуло со скамьи навстречу учителю-волшебнику.

– Подойди сюда… Артюхов уже убедил вас, что в спокойном состоянии ось гироскопа покорно подчиняется внешней силе. Теперь попросим юнгу Огурцова поставить опыт на работающем гироскопе. Дави на ось в любом направлении, – сказал мичман.

Кончиком карандаша Савка тронул ось, и вдруг гироскоп рванулся в другую сторону. Савка направил усилие точно сверху вниз. Но гироскоп, сердито воя, развернул свою ось по горизонту. Савка стал нажимать слева направо – тогда ротор вдруг полез осью куда-то кверху, строптивый и непокорный.

– Садись! – велел мичман Савке. – Как видите, волчок не так уж прост. Он не подчиняется той силе, которая к нему извне прикладывается. Вот и родилось второе правило гироскопа… Запишите и подчеркните: ЕСЛИ К ОСИ СВОБОДНОГО ГИРОСКОПА В РАБОТАЮЩЕМ СОСТОЯНИИ ПРИЛОЖИТЬ ВНЕШНЮЮ СИЛУ, ТО ОСЬ ЕГО ПОСЛЕДУЕТ НЕ В НАПРАВЛЕНИИ ПРИЛОЖЕННОЙ СИЛЫ, А В ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Эти два правила знать твердо, иначе никогда не поймете дальнейшего…

Совсем некстати прозвенел звонок на перерыв.

– Десять минут отдыха, – сказал Сайгин, – после чего мы перейдем к главному, без чего современный флот не способен сражаться…

В коридоре юнги делились:

– Ну вот! О баранке теперь и речи быть не может.

– Понимаешь, – волновался Поскочин, – здесь что-то есть. Тут заключена тайна. Я чувствую, что мичман куда-то клонит.

– Я тоже подозреваю, – согласился Джек Баранов. – Еще не знаю, что будет, но уверен, что что-то будет…

Финикин вставил в общий разговор свое веское слово:

– Ведь сказали же: рулевым это можно знать, а можно и не знать. Только бы поменьше слов иностранных…

Из боцманского класса к ним подошел Синяков:

– Привет извозчикам! – И попросил басом: – Нет ли чинарика какого курнуть? Сейчас опять двояк схватил по такелажу.

Курева ни у кого не было.

– Во нищета! – обозлился Витька, явно страдая. – Курить хочу – спасу нет. Сколько на флоте прослужил, а половину всей службы только тем и занимался, что сшибал чинарики разные…

После перерыва Сайгин взял быка за рога:

– Свойство гироскопа перпендикулярно уклоняться от направления силы носит в науке название прецессии. Представьте себе, что мы имеем гироскоп, работающий постоянно. И так же постоянно будет воздействовать на него внешняя сила. Гироскоп способен работать без остановки, если вращать его электричеством, а не шнурком, как это делал я. Постоянная внешняя сила у нас тоже имеется в запасе с избытком. Это – земное притяжение!..

Не все юнги поняли Сайгина, и мичман пояснил:

– Если к гироскопу подвесить маятник (проще говоря, груз), то маятник, испытывая на себе силу земного притяжения, станет постоянно воздействовать на гироскоп. Не забывайте о притяжении Земли! Совместите эту силу притяжения с двумя правилами гироскопа, которые я велел вам записать в тетради… Ну?

Класс молчал, завороженный. Сайгин неслышной походкой двигался между юнгами, давая им время подумать самим.

– Кто понял, что произойдет? – спросил он.

Нет! Юнги еще не понимали, но они упорно думали.

– Маятник, – сказал Сайгин, помогая им мыслить, – можно ведь сделать из двух сообщающихся сосудов, наполненных какой-либо тяжелой жидкостью… например, ртутью! Она переливается в сосудах, которые стремятся занять положение в зависимости от земного притяжения. А при этом вес ртути постоянно воздействует на ось гироскопа. Земля вращается, гироскоп тоже… Движение оси гироскопа перпендикулярно! Неужели еще не догадались, что произойдет?

Сайгин нарисовал на доске земной шар. Повесил в пространстве роторы гироскопов. Обозначил притяжение Земли, а к гироскопам условно прикрепил маятники – сосуды с переливающейся в них ртутью.

Остановился перед Огурцовым.

– Подумай, – сказал Сайгин, заглядывая Савке в глаза. – Ну, представь себе эту картину… проанализируй все с самого начала.

Савка зажмурился. Гироскоп вращался. Маслянистая ртуть неслышно переливалась в сосудах. Не покоряясь этой силе, ось гироскопа разворачивалась в перпендикулярном направлении и ползла… выше, выше, выше!

В жизни каждого человека бывают моменты некоего озарения, и нечто подобное испытал сейчас Огурцов. От неожиданности он даже вскрикнул:

– Я понял… понял от начала и до конца!

Сайгин остановил гироскоп, и в классе наступила тишина.

– Теперь расскажи нам, что ты понял…

Савка заговорил. Гироскоп уже превратился в ГИРОКОМПАС. Ртуть текла по трубкам. Земля воздействовала на нее, и вот ось гироскопа, противодействуя силе притяжения, стала взбираться… выше, выше, выше – к полюсу! Это и был ИСТИННЫЙ МЕРИДИАН. Теперь ничто не мешало гироскопу – он ведь не подвластен магнитным искажениям, ему не вредит никакое корабельное железо. Установя свою ось в истинном меридиане, гирокомпас давал кораблям ИСТИННЫЙ КУРС.

– Без угла склонения! Без угла девиации!

Класс ожил. Задвигался. Зашелестел.

– Вот это ловко, – произнес Поскочин, переживая. – Как все это сложно. И одновременно просто… Неужели без девиации?

Улыбка растаяла на губах Сайгина:

– Девиация у гирокомпасов есть тоже, но она, возникая при сильной качке, совсем незначительна. Современная война на море невозможна без гирокомпасов! Из лекции капитан-лейтенанта Симонова вы уже знаете, сколь капризен магнитный компас. А гирокомпас, дающий кораблям истинный курс, можно укрыть от осколков внутри отсека. Под защитой брони он и стоит, называемый «маткой», словно царственная пчела в улье. От матки бегут провода на репитеры, отражающие на своих датчиках истинный курс. Практически число репитеров неограниченно. Но гирокомпас не сразу приходит в меридиан (нужно четыре часа, пока его ось не отыщет истинный норд). Магнитный же действует все время. Гирокомпас питается от судового тока, при разрушении энергосистемы он замирает. Это страшно, когда корабль лишится гирокомпаса, от которого зависима и стрельба артиллерии… Две различные системы гирокомпасов – Сперри и Аншютца – вошли в научный обиход под именами их создателей. Поэтому штурманские электрики зовутся по-разному – сперристы или аншютисты.

– А кем были вы на корабле? – спросили юнги.

– Вообще-то я аншютист, но умею работать и на гирокомпасах «сперри». Шестнадцать лет жизни я посвятил службе гирокомпасам и благодарен флоту за такую чудесную профессию.

После занятий Савка Огурцов подошел к Сайгину:

– Не дадите ли почитать что-либо о гироскопах?

– Я бы дал. Да боюсь отпугнуть. Там ведь формулы.

– А я как-нибудь… посижу. Подумаю сам.

Мичман завел юнгу в боковую комнатушку учебного корпуса, которая примыкала к церкви Одигитрии; тут были свалены ящики с приборами. Порылся в столе, достал книгу.

– Вот, почитай Михайлова, нашего моряка-ученого.

– Спасибо. А подчеркивать можно?

– Что хочешь делай. Я дарю ее тебе. А вечером навести меня.

– С удовольствием. А что будем делать?

– Будем монтировать схему гироскопа. Увидишь матку, самую настоящую. Только не увлекайся – тебе быть рулевым!

…Не знал тогда мичман Сайгин, что его ученик уже отравлен ядом. Самым сладким ядом – отравой познания. Савка в эту ночь спал плохо. Сверкающие никелем гироскопы, ровно жужжа, вращались над его койкой, ртуть переливалась из сосуда в сосуд, и оси гирокомпасов – эти колдовские оси! – сами собой искали и находили истинный меридиан… Позже, став намного старше, он говорил о мичмане Сайгине:

– Это был змий-искуситель. С эдакой бесовской улыбочкой. Что он сделал со мной! Весь мир обратился для меня в гироскоп!

\* \* \*

 Хроника ТАСС (декабрь 1942 года)

 4 – в Магнитогорске зажжена крупнейшая в Европе новая домна объемом в 1340 куб. м.

 13 – сообщение Совинформбюро о трофеях советских войск и потерях противника под Сталинградом. Взято в плен 72 400 вражеских солдат и офицеров, убито более 94 000.

 16 – объявлено, что в Афинах умерло от голода 100 000 человек и что в Греции против оккупантов ведут борьбу 30 000 партизан.

 22 – советские войска в районе Среднего Дона продолжают успешно развивать наступление, преследуя отходящие в беспорядке разбитые немецко-фашистские войска.

 27 – английский король выступил по радио с обращением к народу Англии: «Армия Советского Союза нанесла противнику потрясающие удары, действие которых на физическое и моральное состояние германского народа трудно измерить».

 28 – советские войска южнее Сталинграда продолжали успешно развивать наступление.

Близился год решающих побед – 1943 год, в котором юнгам уже предстоит сражаться за Родину.

\* \* \*

Зимний день на Соловках краток, зато хорошо спится юнгам под сполохами полярного сияния… Зима, зима. До самой трубы завалило кубрики снегом – тепло и уютно под глубоким снежным одеялом. Выбежишь утром в одной тельняшке (плевать, что Полярный круг рядом!), припустишь километра три по большаку, и так славно потом вернуться в жилище, ставшее уже родным.

Началась негласная борьба юнг за первенство в учебе. Никто не желал плестись в хвосте – «на шкентеле», как говорят моряки. Велась отчаянная борьба за каждую пятерку. Савке пришлось немало потягаться, ибо соперники обнаружились опасные – Коля Поскочин, Джек Баранов да и Федя Артюхов из троечников перепрыгнул в прочные четверочники, наступал на пятки отличникам. Поскочин, правда, давал в учебе перебои. Увлекался посторонним. Обложится книгами, забыв обо всем на свете, и запустит занятия. Недавно он «заболел» Рембрандтом; вызывался на погрузку хлеба, в страшную стужу его мотало на грузовике до пекарен кремля, зато из библиотеки гарнизона привозил книги, каких не достать в Савватьеве. Кончилось это увлечение тем, что в простенке между нарами Поскочин приколотил репродукцию с рембрандтовской «Данаи». Росомаха отнесся к ней с подозрением:

– Что это? Никак раздетая? И не стыдно ей?

– Древний мир вообще не стыдился наготы.

– Ты уверен? Ну, ладно. Пускай висит… до лейтенанта!

Лейтенант Кравцов к Рембрандту относился с почтением.

– Но голых вешать в кубрике никак нельзя.

– Она же не голая, товарищ лейтенант, с чего вы взяли?

– Поскочин, я ведь не слепой.

– Голые бывают в бане. А в искусстве, товарищ лейтенант, бывают только обнаженные… Большая разница!

Кравцов отодрал «Данаю» от стенки и утащил к себе.

– Ты лучше не спорь, – сказал он Коле. – Может, она и обнаженная. Но как бы не нагорело нам от политотдела.

Вокруг зима. Тишь, глухомань. Под лютым морозом в полное безветрие не колыхнется елка, ни одна искорка не упадет с ее ветвей. Письма от мам летают к юнгам самолетом. Юнги никуда не летают. Сидят и зубрят. В роте радистов живет тюлень – еще молодой, его держат в корыте. Хозяйственные боцмана завели себе кота; каждый вечер идет перепалка из-за того, с кем Васька будет спать. Рулевые животными не обжились. Но зато рота Кравцова держит первое место в школе по чистоте и порядку. В самом деле, дома таких полов не бывает. Уронил кусок хлеба – подними и ешь: ни пылинки. Русский моряк славится чистоплотностью, а палуба на флоте священна.

Новые кинофильмы доставлялись в Савватьево редко, зрелищами юнг не баловали. Напряжение страны познавалось по сводкам Информбюро и на политзанятиях: от юнг требовали знания военного и политического положения в мире. Иногда по вечерам далекая Москва транслировала на Соловки отличные концерты. Над святыми озерами, над усопшими в древности скитами, над землянками юнг разливалась бравурная хабанера Бизе, звучала патетическая Арагонская хота Глинки, печали и восторги жизни пробуждал гениальный Чайковский… Музыка обретала особую красоту.

– Вот ведь как! – говорили юнги. – Плевать я раньше хотел на эту музыку. А сейчас она всю душу переворачивает, даже непонятно: что со мною? Слезы сами выжимаются…

В клубе юнг появилась самодеятельность – слабенькая, потому что юнги нажимали на учение, а в самодеятельность шли больше лентяи; пристроился туда и Витька Синяков, лихо работавший ногами – чечеточник! Но зато рота радистов уже породила своего поэта – Эс Васильева, и по Школе юнг блуждали нездоровые, панические слухи, будто поэту на камбузе дают по три порции…

Настал последний день сорок второго года. В этот день педагоги, благодушествуя, никому не «врезали» двойки. Чувствовался праздник – большой и веселый. Но все было иначе – не как дома! Елок не покупали, ибо на каждом шагу стояла праздничная елка, украшенная серебром инея. На ужин дали какао, после чего юнги отправились в клуб на концерт. Витька Синяков и в самом деле подметок не жалел, словно грохотом казенной обуви он хотел заглушить свои двойки и тройки. Роль конферансье исполнял старшина Колесник, любивший покрасоваться. Он объявил:

– А сейчас с собственным сочинением в стихах выступит перед вами известный соловецкий писатель – юнга Эс Васильев…

Рота радистов заранее кричала «бис». Савка вытянул шею из воротника шинели, мял в руках шапку с курчавым мехом. Первый писатель в его жизни, и вот сейчас он его увидит. Качнулся занавес, поэт предстал, сверкая надраенной бляхой на сытом животе. Голова у Эс Васильева – громадная, как котел. Он громко прочитал:

Эсминцы – любовь моя ранняя.

Как я завидовал старшим,

Что на мостиках мокрых ранены,

Выводили эсминцы в марше.

Этот марш – по волнам, по зыбям,

Этот марш – под осколочный свист,

Этот марш – по звездам, по рыбам,

Только ветра натужный свист.

От судьбы никаких мне гостинцев

Не нужно. А лишь бы иметь

Юность звонкую на эсминцах,

На эсминцах принять мне смерть!

Никто не заметил, что во второй строфе поэт не нашел рифмы. Из рядов поднялся капитан первого ранга Аграмов в своем кожаном пальто и пожал руку Васильеву – такой чести мало кто удостаивался.

Роты расходились в новогоднюю ночь. Радисты пели:

Мы юнги флота – крепки, как бронь,

За жизнь народа несем огонь.

Германским зверям мы отомстим.

В победу верим – мы победим!

Рулевые, колыхаясь на снегу черной и плотной стенкой, вели свою песню, и грубые голоса боцманов, входивших в состав этой роты, задавали тон остальным:

Пусть в море нас ветер встречает,

«Гремящий» не сбавит свой ход,

И стаи стремительных чаек

Проводят гвардейцев в поход…

Вот и новогодняя ночь – для многих она первая, которую они проведут вне дома. Перед разводом по кубрикам Кравцов поздравил юнг.

– В новом году, – пожелал он роте, – усильте свои успехи в учебе и дисциплине. А сейчас можете весело праздновать.

– Чего праздновать? – спросил Синяков. – Выпить дадут?

– Я дам тебе выпить, – сказал лейтенант Витьке. – Кусок хозяйственного мыла разведу в самом большом ведре с водой – и можешь пить, сколько душа твоя примет…

Время шло к двенадцати, но старшина Росомаха сегодня не рычал, чтобы юнги расползались по нарам. По радио передавали новогоднюю речь Калинина. Савка вышел в тамбур, взял лыжи покороче и прямо с горушки нырнул в ночной лес. Ему хотелось побыть одному, чтобы домечтать обо всем, что еще не исполнилось в жизни и, кажется, не скоро исполнится.

Савка чересчур размечтался и на крутом спуске врезался в ствол сосны. Еще не опомнился, глядя на яркую россыпь звезд над собою, как рядом с ним просвистели чьи-то лыжи и тень человека воткнула в глубокий снег палки.

– Вставай, пентюх, – сказал ему Джек Баранов.

– Это ты? Чего ты здесь?

– Да увидел, что ты ушел, тоже стал на лыжи и побежал за тобой. Ночь… лес… мороз… Мало ли что может случиться!

Так закончилась эта новогодняя ночь, и когда юнги вернулись в кубрик, рота жила уже в году следующем, а Росомаха рычал так же, как и в прошлом году:

– Задрай все пробоины, какие имеешь… Спать, спать!

\* \* \*

Утром Росомаха тащил со спящих одеяла:

– Раздрай глаза, кончай пухнуть… Эй, с Новым годом тебя!

Еще босой, старшина прибавил в репродукторе громкость, и кубрик заполнил голос московского диктора. Совинформбюро сообщало о провале гитлеровских планов под Сталинградом: уже разгромлено полностью тридцать шесть дивизий противника, из их числа шесть танковых полегли в степях крупповскими костьми. В конце сводки диктор сказал: вступила в строй третья очередь Московского метрополитена.

– Здорово! – торжествовали москвичи. – Москва-то строится…

Савка, стеля койку, спросил Баранова:

– Джек, тебе в Москву хочется?

– А чего я там не видел, кроме Клавочки? Москва от меня не убежит. Главное сейчас – подводные лодки. Без них мне – труба!..

Год начался великолепно; что ни день, то новое сообщение: второго января отбиты у врага Великие Луки, третьего – Моздок, четвертого – Нальчик, а пятого – взяли Цымлянскую и Прохладный. Шестого января в кубрик ворвался до предела взволнованный Игорь Московский:

– Слушайте, братцы! Я сейчас такое узнал, что даже сомневаюсь – верить или не верить?

– А что опять случилось?

Старшой класса пожался в дверях:

– Да ведь скажу вам, так вы меня поколотите.

– Выкладывай, что унюхал. Примем с миром.

– Погоны у нас вводят… Погоны!

Долго молчали, потом Артюхов сказал Игорю:

– Перекрестись, бобик… Какие еще там погоны?

– Ей-ей. Слышал, как лейтенант говорил об этом.

Джек Баранов был явно растерян – даже поглупел:

– Да как же так? В кино, бывало, конники кричали: «Бей белопогонников!» А теперь… Ничего не понимаю.

Финикин тоже не отказался от дискуссии:

– Так то белые, а нам нашьют красные.

На него заорали изо всех углов:

– Иди ты! Какие красные… на флоте-то!

– Это не пойдет! Уж тогда синие… или белые.

Посидели и подумали. Коля Поскочин сказал:

– Не знаю, как вам, а мне это нравится. Честно скажу, все у нас есть, а вот на плечах всегда чего-то не хватало.

– Вообще-то, конечно, правильно, – поддержал его Артюхов. – Разве можно представить себе Нахимова или Макарова без погон? Вон развешаны у нас по кубрику их портреты… Что тут позорного? Все армии мира носят погоны, и нам, русским, они тоже к лицу!

Скоро им зачитали приказ: для поднятия воинской дисциплины и выправки, ради большей авторитетности советского воина в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР ввести ношение погонных знаков отличия. «Надевая традиционное отличие – погоны в дни великих победоносных боев против полчищ немецких захватчиков, Красная Армия и Военно-Морской Флот тем самым подчеркивают, что они являются преемниками и продолжателями славных дел русской армии и флота, чьи подвиги нашли признание всего мира…»

– Вопросы есть? – спросил Кравцов, закончив чтение.

Был ясный морозный денек, вовсю наяривало солнце.

– Есть! Когда наденем погоны?

– Без погон не останетесь. Что положено, то положено.

– А что напишут на юнговских погонах?

– Тоже не советую волноваться: что-нибудь придумают.

– Какие там погоны! Нам еще и ленточек не выдали…

– Ты же в шапке стоишь, – отвечал Кравцов. – Зачем тебе на ушанку ленточка? Подожди лета, а сейчас не теряй хладнокровия… Товарищи юнги, – призвал роту лейтенант, – прошу ответить на этот указ новым подъемом в учебе и особенно – в дисциплине…

Только все разошлись, как из тамбура раздался голос:

– Идите скорее смотреть! Там боцмана насмерть бьются.

Все кинулись в землянку боцманов, над входом в которую висела броская надпись: «ЛУЧШИЙ КУБРИК ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ПОРЯДКА И ДИСЦИПЛИНЫ». Словно подтверждая эту широковещательную вывеску, Мишка Здыбнев давал прикурить Витьке Синякову. Парни они оба здоровущие, кулаки у них крепкие – по кубрику летали лавки, кровать старшины грохнулась в сторону… Бились!

Один боцман держал кошку, чтобы кисоньку в драке не помяли.

– За что они так? – спросил его Савка.

– Точно и сам не знаю, – ответил тот, гладя кошку. – Но оба они курящие. Думаю, не из-за махры ли сцепились?

Два парня бились зверски – кулаки их работали, словно шатуны в паровой машине. Хрясть да хрясть! Кто-то из юнг кричал:

– Эй, не пора ли кончать? Побаловались – и хватит!

Другие на это возражали:

– Погоди ты! Пускай Витьке хотя бы нокдаун сделают…

Обрушив вешалку с шинелями, Синяков треснулся на идеально чистую «палубу», пахнущую мылом, содой и хвоей. Здыбнев сказал:

– Ну, как? Получил свое?

Прибежал командир роты, и драка кончилась.

– Ведь только что, минуту назад, я говорил о дисциплине. Здыбнев, как не стыдно? Отличник и старшой… За что бил Синякова?

– Он знает, за что ему дали, – ответил Мишка лейтенанту.

Синяков выбрался из груды шинелей, потрогал разбитую губу.

– За что тебя избил юнга Здыбнев?

– Не знаю, – хмуро буркнул Витька. – Нотами не обменивались.

Явился боцманский старшина, и Кравцов наказал ему:

– Готовь документы в кремль… отправим на гауптвахту!

– На которого готовить?

– Оба хороши…

Савка Огурцов пошел за Мишкой к проруби озера. Боцман брызгал на себя ледяной водой, озлобленно фыркал в черную впадину полыньи. Потом Мишка накрепко вытерся вафельным полотенцем.

– Вот собака! – сказал он, глядя на другой берег.

– За что ты Витьку так изметелил?

– И тебе не скажу, – ответил Савке Здыбнев. – Но, поверь, не за себя. За одного нашего дурака морду Витьке набил…

В одну из ночей Савка дневалил по роте, когда из Савватьева притащилась Бутылка, волоча за собой санки по снегу. Из кубрика боцманов вывели юнгу, с одеялом на плечах, в сильном жару.

– Что это с ним? – спросил Савка. – Простудился?

– Ну да! Мы не простудные… Он накололся!

– Как это… накололся? – не сразу понял Савка.

– Татуировку ему кто-то сделал. Говорят на Синякова.

Бутылка, прядая заиндевелыми ушами, повезла пижона в санчасть. Савка тут догадался, за что бил Витьку славный парень Здыбнев.

– А что он хоть наколол-то себе? – спрашивал.

– Да штурвал на груди… баранку с рогульками.

Боцмана гнали Савку из кубрика, чтобы не мешал досыпать.

– Штурвал, – сказал он, уходя, – это же старомодно. Сейчас с моторами. Медленный поворот – отработаешь одной рукоятью. Нужен резкий – кладешь на борт сразу две рукояти.

– Иди, иди! – выставили его. – Без тебя все знаем!

…В январе была прорвана блокада Ленинграда.

– Теперь бабушка выживет, – сказал себе Савка.

\* \* \*

Шло время. Юнги учились, здоровели, глубоко дышали и всячески развивались. Морские понятия, всегда точные и кратко выраженные, мореходная техника, блещущая медью и оптикой, уже заполнили сознание юнг, – они входили в их быт, как неизбежные представления о жизни. Человек ведь не удивляется тому, что в мире существуют тарелки, ложки и вилки, – так же и рулевые стали считать неотъемлемыми от жизни секстан, эхолот, анемометр, одограф и пеленгатор.

Язык юнг тоже изменился.

– Сегодня, – говорил старшой, входя утром в землянку, – ветер от норд-оста, балла в три, не больше. На зюйде клубятся темные кумуле-нимбус. Наверное, я так думаю, опять будет снегопад…

Знание семафора приносило свои плоды. Раньше, издалека завидев своего товарища, юнги начинали орать ему, надрывая горло в крике. Теперь в каждую руку по шапке – и пошел отмахивать. Рулевые должны знать и астрономию; правда, без высшей математики, без телескопов. Алмазный небосвод над Савватьевом наполнился новой и понятной азбукой. Уже не просто глазели на звезды – искали, что нужно.

– Вот эта, ниже Гончей Собаки, видишь? Это Волосы Вероники, а между Медведицами, словно рассыпали соль, протянулось созвездие Дракона… Где же тут Честь Фридриха? Не могу найти…

Все почувствовали, что незаметно повзрослели. Ответственность, она ведь тоже подтягивает человека. Долг, честь, присяга – это не пустые слова, такими словами понапрасну не кидаются. Огурцов был малым добросовестным, но, помня завет отца, не желал быть выскочкой. А потому свою любовь к гирокомпасам, бурную и нечаянную, он от товарищей скрывал. Савкой двигал в этой любви простой интерес, в ту пору – еще мальчишеский…

До войны в Доме занимательной науки и техники Савка видел стиральную машину, которая казалась ему тогда чудом двадцатого века. И гирокомпас Аншютца внешне чем-то напоминал ее; но, заглянув сверху в стеклянное окошечко, он увидел там, конечно, не крутящееся в мыльной пене бельишко, а строгую румбовую картушку. Рядом с «аншютцем» в кабинете Сайгина стоял и «сперри», но Савку он менее привлекал из-за своей примитивности. Юнга разочаровался, узнав от мичмана, что ротор «сперри» при запуске подталкивают руками в направлении истинного меридиана…

Помогая мичману оборудовать кабинет, Савка, спрашивал:

– Вот соберем схему, тогда «аншютца» запустим?

– Нет нужной энергии. Гирокомпас берет судовой ток, перерабатывает его на генераторе в трехфазное питание, снабжая им матку и всю свою схему. Необходим и четкий пульс водяного охлаждения…

Савка немел от восторга! Два гирокомпаса Аншютца помещены в гиросферу, напоминавшую планету, – у нее были полюсные шапки и даже экватор с градусной маркировкой. Из учебника Савка уже знал: вскрыть гиросферу – значит разломать ее, гиросфера создается в точнейших лабораториях страны один раз и навсегда! Плавая в жидкости, как планета в мировом пространстве, гиросфера начинает свое движение – влево, вправо, влево, вправо: так она отыскивает истинный меридиан! Постепенно ее колебания становятся мельче, и, наконец, они затухают совсем – гирокомпас нашел истинный норд, стал показывать истинный курс!

Сайгин, радуясь тому, что сыскал в ученике беззаветную любовь к гирокомпасам, охотно давал объяснения.

– Все очень просто! – говорил он Савке. – Температура «шарика» в работе приближена к человеческой. Когда же термостат подскочит к сорока одному градусу, значит, между сферами перегрелась жидкость. В этом случае «горячка» гирокомпаса может привести к катастрофе весь корабль и его команду.

– А если я прохлопаю этот момент?

– Должна выручить автоматика. При перегреве в гиропосту корабля вспыхивают красные лампы аварийного освещения.

– А я… заснул и не вижу никаких ламп. Тогда как?

– Тебя разбудит сирена ревуна. Гирокомпас потребует, чтобы срочно усилили подкачку воды на помпе. Опасный жар в нем исчезнет, и гирокомпас сам погасит красные лампы. Снова врубит спокойные – синие… Ты штудируй учебник Дэ Михайлова, а читать профессора Бэ Кудревича тебе рановато.

В руке мичмана – маленькая книжечка с загадочным названием: «ПШС».[4]

– Дадите с собой почитать?

– Нет. Читай здесь. У меня такая только одна…

Савка забрел в клуб, где размещалась юнговская библиотека. Здесь он встретил и Аграмова, который, водрузив на нос очки, блуждал среди стеллажей, отыскивая для себя чтение.

– Мне, – сказал Савка вольнонаемной библиотекарше, – дайте «ПШС».

Лохматые клочки бровей Аграмова удивленно вздернулись над стеклами очков, но он смолчал, прислушиваясь.

– Нету такой, – отвечала библиотекарша. – Почитай-ка лучше «Морскую практику» своего начальника товарища Аграмова.

Эта попытка беспардонной лести, кажется, не пришлась по вкусу каперангу, и он сердито крякнул за стеллажом.

– Спасибо, – приуныл Савка. – «Морская практика» у нас в классе лежит, по ней учимся. Значит, «ПШС» нету… Жалко, что нету. Ну, тогда дайте мне каких-нибудь стихов. Чтобы покрасивей были!

Библиотекарша долго не размышляла:

– Вот тебе песенник для самодеятельности.

Савка взял песенник и уже собрался уходить, когда Аграмов выбрался из-за стеллажей. Палец капитана первого ранга, словно хищный крючок – дерг, дерг, дерг! – притянул юнгу к золотым пуговицам его мундира (начальник Школы юнг уже носил на плечах погоны).

– Напомни мне, пожалуйста, – сказал Аграмов, – о чем говорится в «ПШС»?

– Гирокомпас «новый аншютц» советского производства.

Начальник школы снял очки и сунул их в карман.

– А зачем тебе это? – вопросил строго.

– Хочу знать. Очень интересно. Сейчас-то уже попривык, а раньше спать не мог… Жаль, нет на Соловках трехфазового питания!

Аграмов веселейше расхохотался:

– Как же нет? Именно трехфазовое питание: завтрак, обед и ужин… А зачем тебе, рулевому, три электрофазы?

– Если б наша подстанция в Савватьеве дала три фазы по триста тридцать герц, мы бы его запустили.

– Кого запустили?

– Гирокомпас…

Аграмов с любопытством взирал на маленького юнгу.

– А откуда ты знаешь, как надо его запускать?

– Это просто. Врубаю переключатели на борт. Вспыхивает синяя лампа. Потом – щелк! Значит, реле сработали. Ага, думаю, все в порядке. Теперь не зевай. Смотрю на ампердатчики. Стрелки показывают от двух до трех ампер – я спокоен! Все идет как надо. Тогда я лезу прямо под койку и там… там…

– Стой! – задержал Аграмов бурную Ниагару слов. – Под какую же койку ты собираешься залезать?

– Так надо.

– Да при чем койка-то?

– Я собираюсь служить непременно на эсминцах, – деловито растолковал Савка, – а мичман Сайгин сказал мне, что моторы водяных помп на эсминцах установлены ради экономии места под койкой штурманского электрика… Вот я и полез туда! Чтобы включить…

Аграмов круто повернулся к библиотекарше:

– Выдайте ему «ПШС»! Он, ей-ей, стоит того.

– И дала бы. С превеликим удовольствием, – отвечала барышня. – Да нам не прислали. Он же из роты рулевых, а штурманских электриков у нас не готовят…

– Жаль, – вздохнул на это Аграмов.

Он забрал из рук Савки песенник, раскрыл наугад:

Эх, гармонь моя, гармонь —

Говорливы планки.

Каждый вечер по селу

Бродят три тальянки.

– И тебе это нравится? – хмыкнул он, спрашивая.

Савка молчал. По наивности он думал, что все напечатанное хорошо уже только потому, что оно напечатано.

– Не трать попусту время, мальчик, – наказал ему Аграмов, возвращая песенник библиотекарше. – Заберите у него это… барах-ло! Дайте Блока! И запомни, юнга Огурцов, на всю жизнь: лучше уж совсем без книги, нежели с плохой книгой.

– Есть! – ответил Савка.

Свершилось: капитан первого ранга Аграмов пожал ему руку.

\* \* \*

С первого апреля юнги станут сдавать экзамены за первый семестр обучения. Эта весть словно подхлестнула каждого – алчно, как голодные на еду, юнги набросились на учебники. Даже плохо успевающий Финикин оживился: ходил по кубрику и бубнил, бубнил:

– Вся служба корабля делится на боевые части, всего их семь. БЧ-I – штурманская, БЧ-II – артиллерийская, БЧ-III – минно-торпедная, БЧ-IV – наблюдательная и связи… Люки и горловины имеют маскировку из трех литеров: «З» – задраены постоянно, «П» – по приказу, а с литером «Т» их задраивают только по тревоге…

Заскочил в кубрик рулевых Витька Синяков.

– Извозчики, неужто чинарика не найдется?

– Мы некурящие, – сказал Коля Поскочин.

– По соплям вижу, – приуныл Синяков…

Очевидно, потому, что несчастный все время мечтал о табачной затяжке, у него совсем не было времени как следует учиться.

Росомаха так сказал Витьке:

– Обалдуй и охломон ты порядочный. Таких, как ты, у которых мозги в дыму, будут при выпуске отправлять прямо на ТОФ.

– Меня? На торф? – очумело спросил Синяков, ослышавшись.

– Балда! На Тихоокеанский флот, где воевать пока не надо…

Синяков отмахнулся:

– А плевать! Как-нибудь и там прошкандыбаюсь. Вам-то всем, – обратился он к юнцам, – еще табанить и табанить. А мне уже призывной возраст подходит. Пяток лет отваляю во славу Отечества и – кепочку в зубы, фертом пойду на бережок…

Когда двери за ним закрылись, Джек Баранов сказал:

– Топить таких надо. Чтобы они до берега не доплыли!

Скоро стало известно, что те юнги, которые ловчили на политзанятиях, хлопая ушами, должны жестоко поплатиться за свою халатность. События в войне на суше и на море, политическая обстановка в стране и за рубежом были включены в программу предстоящих экзаменов. Германия после поражения под Сталинградом была погружена в траур, а на фронте наступила полоса короткого затишья. Но враг еще силен и коварен, он еще не однажды способен напрячь свои силы, и им – юнгам! – еще предстоит с этим врагом схватиться…

Кравцов частенько появлялся в роте; правая рука обязательно в кожаной перчатке, а левая держит смятую перчатку.

Аккуратист флотского толка, лейтенант был помешан на чистоте.

– Посмотри на мои ногти… видишь? Неужели так трудно привести и свои в порядок? Как же ты собираешься на флоте служить, если грязно под ногтями? Старшина, я недоволен. Плохо, плохо…

Росомаха, навытяжку, «ел» лейтенанта глазами.

– Слежу. В уши по утрам заглядываю. Ноги мыть заставляю…

Кравцова юнги спрашивали о предстоящих экзаменах.

– Все будет, как было в школе, – успокаивал их лейтенант. – Подходите к столу и тянете билет. Кто знает – отвечает, кто не знает – тому кол.

Да, он был прав! Все было как в школе. Тунеядцы мастерили шпаргалки. В этом искусстве особенно отличался Финикин, в котором не угасала странная любовь ко всему миниатюрному. Раньше, пока его не отучили, он резал свою пайку хлеба на крохотные долечки, словно воробьев кормить собирался. Теперь столь же микроскопически он исписывал свои шпаргалки, и мельчайший бисер пота покрывал его незадачливую голову… Перед отбоем он долго ворочался.

– Мне бы на Черноморский! – вдруг сознался, терзаясь.

– Зачем тебе на Че-эф? – удивились юнги.

– Тепло там… опять же и фрукты.

Федя Артюхов терпеть не мог Финикина и сказал:

– Эй! А ты Гольфстрима не хочешь? Он тоже теплый…

– Ловчила ты, Финикин, – раздался голос Джека Баранова. – Черноморцы зубами в горло врагам цеплялись, а он, видите ли, собирается абрикосы на флоте шамать…

Финикин обиженно свесил с высоты свой рыжий котелок:

– Чего ты там треплешься? Лежишь внизу – и лежи дальше. Фрукты – это так, к слову пришлось. А я знаю, что Севастополь брать надо!

– Подпустил под климат сознательности, – заметил Коля Поскочин…

Колесник уже спал на своей койке, замотавшись с головой одеялом. Росомаха скинул штаны, прошлепал через кубрик к штепселю:

– Гашу свет! Задрай на себе все люки и горловины…

Во мраке кто-то измененным голосом сказал:

– Тоже мне старшина! Не знает, что на флоте не гасят и не выключают. На флоте иначе говорят – вырубить!

Росомаха нырнул под одеяло и потом ответил:

– Ты мне там еще поговори. Яйца курицу учат…

Скрипнула под ним койка, и наступила тишина. Красные отсветы пламени, исходя от жаркой печки, долго блуждали по рядам коечных нар. Никто не хотел спать по команде. Вскоре в потемках кубрика заквакали лягухи, закуковали кукушки, замяукали кошки и со звоном залетали комары. Это началась ежедневная проверка старшин «на бдительность».

– Ку-ку! Мяу-у… Взззззз… Ква-ква!

Старшины не шевелились. Уже задрыхли как мертвые.

Джек Баранов первым скинул ноги с койки:

– Уморились они за день с нашей бандой. Вставай, ребята.

Во мраке поднимались юнги. Бесшумно и ловко, как обезьяны, они карабкались с верхних этажей на палубу. Сходились к печке.

– Теперь, – радовались, – и поговорить можно от души…

К полуночникам подсел Финикин.

– Знать бы, – терзался он, – какие вопросики на экзаменах будут? Вот бы где-нибудь достать их заранее. Тогда подковался бы!

Коля Поскочин запихнул в утробу печки большое полено.

– История, – сказал он, – любит повторяться. Гардемарины Морского корпуса его величества перед экзаменами бывали обеспокоены таким же вопросом, какой задал нам сейчас и товарищ Финикин…

Мечтательно он смотрел на пламя, лизнувшее сырое дерево.

– Обычно, – начал Коля, заметив, что от него ждут рассказа, – к весне гардемарины складывались, от подачек родителей у них образовывалась немалая сумма. А вопросники к экзаменам печатались в типографии Адмиралтейства. Литограф, готовивший камень для производства печатных оттисков с вопросами, был гардемаринами давно и прочно закуплен. Он с машины снимал несколько лишних оттисков, отдавал их гардемаринам заранее и за этот риск каждую весну имел с них полтысячи рублей… Деньги тогда немалые!

Коля замолчал, вспоминая, но его тут же затеребили:

– Чего застопорил? Трави дальше до жвака-галса.

– Значит, так. Адмиралтейство пронюхало, что дело с экзаменами в корпусе его величества не совсем чисто. Самые отъявленные лентяи сдавали весной экзамены превосходно. Дознались, откуда исходит предательство казенных интересов, и к типографской машине Адмиралтейства приставили жандармов. А литограф, человек многосемейный, страсть как нуждался в дополнительном заработке. Что делать? Жандармы – народец строгий. Положено дать сто оттисков, после чего – ни одного лишнего, и камень жандармы тут же раскалывают на куски. Наш бедный литограф заметался… Машина стучит, уже прошло за полсотни. Вот и все сто! А задаток-то от гардемаринов он уже получил. И уже проел его… На один только миг отвернулись жандармы, как литограф спустил с себя панталоны и сел на литографский камень, пардон, ягодицами.

– И что?

– И все вопросы отпечатались с камня на его двух половинках. Пошел он к гардемаринам, повиливая этими вопросами. Так, мол, и так, господа. Строгости невозможные. Но один оттиск удалось для вас сделать. Прежде, позвольте, сниму штаны… А надо знать гардемаринов – белая кость, дворяне, графы, князья! Возмутились они. «Чтобы я, гардемарин Кампо-де-Сципион, ведущий происхождение от царицы Савской, – чтобы я с этого кретина вопросы сдувал? Да никогда! Лучше уж завалюсь на экзаменах…» Никто не хотел снимать копию.

Литограф стоял между господами без штанов и ждал, когда ему отвалят все пятьсот рублей. Наконец гардемарины решили бросить жребий: кому достанется из них списывать?

В рассказ вмешался Джек Баранов:

– А не травишь ли ты? У меня отец всю жизнь в типографии работал. Я знаю, что литографская краска несмываема. А как же он потом в баню ходил, если на нем можно вопрос прочитать: «Что вы знаете об отношении величины параллакса к данным удаления небесных светил?» Ведь он так и помер с этим вопросом!

Поскочин помолчал, затем тихонько признался:

– Нет, это не травля… сущая правда. Мне это рассказывал мой дедушка. Ему по жребию и выпало тогда списывать.

Отсвет огня упал на глаза Поскочина, и Савка заметил, что глаза Коли блеснули затаенной печалью… Финикин сказал:

– Ага, сам проболтался! Выходит, ты из «бывших»?

Поскочин ответил ему – в ярости:

– Я тебе не бывший! Я самый настоящий сегодняшний. А если я бывший, так ради чего, спрашивается, я на флот пошел?

Скрипнула кровать старшины, и Росомаха вскочил:

– По-хорошему вы не понимаете, что спать надо? А ну, брысь от печки! Баранов, срочно прими балласт и иди на погружение… Иначе завтра всех пошлю с лопатами снег убирать…

Перед сном Поскочин все же успел шепнуть Савке:

– А помнишь, меня Аграмов однажды из кубрика вызвал?

– Помню. Так и не сказал ты, о чем тогда говорили…

– Теперь скажу. Мой дядя, будучи мичманом, вместе с Аграмовым на броненосце «Ослябя» сражался в Цусиму… На руках мичмана Аграмова в третьей батарейной палубе и умер тогда мичман Поскочин! Двести лет подряд Поскочины умирали за Россию на морях и океанах. А потому в отношении меня это лишний разговор – люблю я море или не люблю. Я просто обязан быть на море.

\* \* \*

В кубрике рулевых висела карта страны, и в обязанности дневальных входило передвижение булавок с красными флажками. За последние четыре месяца флажки далеко шагнули на запад – некоторые до семисот километров… Март закончился, начало апреля было отмечено снежным бураном.

– Первый апрель – никому не верь, – сказал Росомаха. – Во как задувает… Вы только послушайте! Будто в трубе…

Коля Поскочин прочитал стихи на апрельскую тему:

Брови царь нахмуря,

Говорил: «Вчера

Повалила буря

Памятник Петра».

Тот перепугался:

«Я не знал – ужель?»

Царь расхохотался:

«Первый, брат, апрель!»

– Это кто? – спросили юнги.

– Пушкин… Кто же еще? – ответил Поскочин и снова уткнулся в пятидесятый параграф «Учебника рулевого» (разборка и сборка лага Уокера).

С улицы шагнул в кубрик Федя Артюхов. Он был без шинели, на воротнике его гюйса лежал пласт сырого тяжелого снега.

– Вот это метель! – сообщил он. – А говорят, Аграмов сегодня утром укатил в кремль… У мотористов уже принимают экзамены.

Савка зажал себе уши ладонями, впился в учебник по маневренности корабля. Плакидов – зверь и обещал всех юнг съесть без масла, даже не посолив, если подведут его на экзаменах. Кубрик наполнялся бубнением, шепотами, долбежкой. Кто смотрел в потолок, а кто, наоборот, крепко зажмуривался. В середине дня, в самый разгар метели, вдруг приехала особая комиссия из высших чинов. Росомаха с Колесником даже побледнели. Высшие офицеры вошли в кубрик и выставили старшин за двери. Кравцов тоже допущен не был. Юнг построили классами – по «бортам».

– Мы прибыли для выявления жалоб и претензий. Каждый имеет право, никого не боясь, высказать недовольство по службе или по начальству. Но говорить вы должны только за себя. Коллективных жалоб принимать от вас не будем… Пожалуйста! Просим вас…

Юнги стойко молчали. Наверное, в этот момент кой-какие обидные мыслишки у них шевелились. Вот старшина послал гальюны драить вне очереди, хотя… Все это не то – мелочи!

В составе комиссии был и контр-адмирал Броневский.

– Что же молчите? – спросил он. – Неужели все у вас так уж гладенько? Наверное, имеются и недовольные чем-либо. Или незаслуженно обиженные. Говорите, мы вас слушаем…

Нет, таких не было.

– У меня есть жалоба! – выкрикнул Поскочин.

Члены комиссии, кажется, даже обрадовались, что не уйдут пустыми. Сияя золотом погон и нашивок, они двинулись на маленького юнгу, нагнулись к нему с заботой, готовые слушать…

– У меня претензии к командиру нашей роты лейтенанту Кравцову. Я повесил над своей койкой «Данаю» Рембрандта, а он сказал, что такие темы не для кубриков. Насколько мне известно, – смело продолжал Коля, – на флоте не запрещено вешать над койкой картинку. Тем более я вырезал «Данаю» из советского журнала, вышедшего в грозный военный год. И я не виноват, что мне нравится «Даная», а не пейзажи Левитана. Что делать?! Один любит арбуз, а другой свиной хрящик. Почему мне иметь «Данаю» нельзя, а лейтенанту Кравцову можно? Мы ведь с ним равноправные служащие флота, только он лейтенант, а я пока юнга!

Выпалил и замолк.

Члены комиссии переглянулись.

– Ваша претензия будет нами рассмотрена…

Старшины уже измучились за дверью. Что-то там намолотят орлы-ребята? Как бы по шапке не попало… Наконец комиссия удалилась, унося одну-единственную претензию, в которой был замешан великий Рембрандт… Юнги с гамом разошлись.

– Тебе от лейтенанта нагорит, – сказали они Коле.

– А пускай… Надо же уважить и комиссию. Заслуженные люди тряслись в такой буран, чтобы узнать, довольны ли мы, а вы уставились на них словно бараны на новые ворота, и – ни гугу! Так хоть я оправдал их поездку… Пускай теперь выкручиваются!

К вечеру буран стих, взошла луна, на сугробы легли тени деревьев. Вокруг была такая тишь и красота, что просто дух захватывало. С удовольствием юнги строились на улице для поверки. Комиссия выявила лишь мелкие недостатки службы, и лейтенант Кравцов, судя по его частым белозубым улыбкам, был доволен. И погодой, и собой, и своими юнгами!

В конце поверки Кравцов сообщил:

– Поздравляю! Завтра первый экзамен – сигнальное дело. А сейчас… Юнга Вэ Синяков, выйти из строя.

Из рядов боцманов шагнул Витька. Бац-бац бутсами. Застыл.

– Ваша претензия относительно невыдачи вам, как курящему, табачного довольствия будет особо рассмотрена в авторитетных верхах. А пока мне велено передать всем, что отныне никто из юнг, застигнутый курящим, преследоваться мною и старшинами не будет…

От боцманской команды пружинящим шагом Кравцов приблизился к первому классу рулевых. Издали было слышно, как громко хрустит снежок под начищенными до блеска ботинками лейтенанта… Он скомандовал:

– Юнга Эн Поскочин, три шага вперед… арш!

– Тебя, – подтолкнул Савка друга. – Сейчас врежут…

Голова философа едва доходила до груди лейтенанта.

Кравцов полез в карман, извлекая оттуда бумажник. Вынул из него рембрандтовскую «Данаю».

– Комиссия рассмотрела твою претензию. Велено передать, что против Рембрандта никто не возражает. Но эту «Данаю» вешать нельзя. Поищи другую…

Он тут же порвал картинку, а Коля огорчился:

– Где я на Соловках сыщу другую «Данаю»?

В благодушном настроении Кравцов отогнутым пальцем в перчатке нажал на кнопку носа Поскочина:

– Больно говорлив… Иди в строй. Служи дальше…

\* \* \*

На следующий день юнги сняли робы, оделись табельно. Савка шагал в Савватьево, исполненный решимости добыть первую пятерку. Его устраивала только пятерка.

С треском провалился на экзамене Федя Артюхов, вышел из класса, почти шатаясь. Товарищи, сочувствуя, шлепками ладоней отряхивали мел с его фланелевки.

– Тройка, – переживал Артюхов. – Ведь я все знал. Уверен! А тут замигал Фокин на Ратьере… Ну, и пропал сразу!

Московский, как старшой, переживал за всех, взывая:

– Первый класс, чтобы ни одной двойки. С соседнего «борта» класс Колесника крепко поджимает! Не сдаваться…

Вызвали Колю Поскочина. Из-за дверей слышались бойкие ответы его, резкий свист флажков на передаче текста, потом защелкал фонарь Ратьера… Поскочин вышел – хоть бы хны:

– Пять!

Дальше пошло как по маслу: пять, четыре, ни одной тройки. Росомаха, гордый за своих, ходил по коридору именинником.

– Финикин, – говорил он, – не будь рыжим… не подгадь!

Вызвали Огурцова. Юнги, провожая Савку, хлопали по плечам, ободряли:

– Ну, ты не подведешь. Это верняк!

На первый вопрос Савка ответил легко. Фокин болел за каждого ученика. Его можно понять: сигнальный старшина с подлодки, он волею судьбы сделался педагогом, а его работу с юнгами принимали люди в больших чинах. На втором вопросе (устройство мостикового прожектора) Савка впервые споткнулся – не сообразил!

– Вы отвечайте конкретно. Проблески света прожектор дает за счет чего? Как рождаются световые точки и тире?

– Включают прожектор или выключают, – ответил Савка.

– Вопроса не знаете. Прожектор на походе постоянно врублен в бортовую сеть. А рефлектор его закрыт ширмами. Движением рычага сигнальщик то откроет их, то закроет.

С передачей флажным семафором фразы «Отбуксируйте меня в гавань, имею пробоину» Савка справился. Потом Фокин отошел подальше от юнги, прижал к груди коробку Ратьера, и в лицо Савке ударил резкий и острый пучок света. Пальцы старшины защелкали клавишами; в проблесках родилось первое слово «прошу»… после чего Савка сбился. Просил повторить.

– Читай заново, – сказал ему Фокин, досадуя на оплошку.

Савка надеялся, что Фокин станет повторять фонарем прежний текст, запомнив это начальное «прошу». Но Фокин целиком перестроил фразу, и в голове Савки все перепуталось… Ратьер, жалобно мигнув, угас в руках доброго старшины.

– Эх, Огурцов, подвел ты меня. А я-то думал…

– Тройка! – прозвучало от стола комиссии.

Савка готов был сквозь землю провалиться.

– Расквасил ты нам все, – выругал его Московский.

Рядом шагал в строю собрат по несчастью Федя Артюхов.

– Прямо зубы стучат, – признался он Савке. – Завтра-то у нас морпрактика. Принимать будет сам Аграмов. По его книгам учились, ему же и отчитываемся. Стыдно, если срежусь.

Федя подарил классу на этот раз пятерку, сразу повеселел.

– Валяй и ты! – сказал он Савке. – Ничего не бойся.

В кабинете морской практики глядят со стен портреты русских флотоводцев. Пахнет матами и лаками, манильской пенькой; на фанерном стенде висят образцы самых сложных морских узлов. Под стеклянными колпаками замерли модели эсминцев, подлодок и славных фрегатов прошлого. Готовясь отвечать, под портретами вдоль стены уже стояли Джек Баранов – под Нахимовым, Финикин – под Ушаковым, а Савка со своим билетом укрылся под бородой Макарова.

– Кто из вас готов? – спросил их Аграмов.

– Юнга Эс Огурцов готов, – шагнул Савка к столу.

– Без подготовки?

– Без. Вопрос первый. Перечислите разновидности шлюпок, какие знаете, и в чем их основные отличия?

– Так. Прекрасно, – крякнул капитан первого ранга, посуровев.

Савке невольно вспомнилась школа. Сдаешь урок по Лермонтову, но смотрит на тебя не Лермонтов, а учительница, которая и сама-то Лермонтова в глаза не видела. А здесь сдаешь экзамен – и перед тобой сидит сумрачный, внушительный, грозный любимый автор твоих учебников. Савка лихо перечислил все баркасы, ялы, тузики, катера, вельботы, двойки, четверки и фофаны. Закончил перечень знаменитой на флоте шестеркой.

– Сколько шестерка берет людей на веслах?

– В тихую погоду до тринадцати человек.

– Второй вопрос!

– Есть второй! Где находится спардек и шкафут?

– Можешь не отвечать, – сказал Аграмов. – Это и любой котенок знает, где спардек, а где шкафут… Лучше подумай: каким способом корабль может избавиться от нарастания на корпус морских микроорганизмов, не прибегая при этом к захождению в доки?

– Надо завести корабль в реку или лагуну с пресной водой, попав в которую морские микроорганизмы отомрут сами по себе.

– Добро. Какой у тебя третий вопрос?

– Детский, – ответил Савка. – Каким способом крепится якорная цепь за корпус корабля?

– На детский вопрос дай недетский ответ.

– Есть. Существует выражение: «Трави до жвака-галса». Это значит, что вслед за якорем на глубину травится цепь во всю длину, а конец цепи посредством глаголь-гака намертво соединен с кильсоном корабля особым устройством жвака-галса.

– Добро. Зачем там вмонтирован глаголь-гак?

– Когда кораблю необходимо срочно освободиться от якоря, а нет времени для выбирания его с грунта, – ну, скажем, при внезапной бомбежке, – тогда глаголь-гак может быстро отдать цепь.

– Пять. Иди. – Аграмов повернулся к Финикину и Баранову. – Вы готовы?

А впереди еще метеорология, рулевое дело, маневренность и поворотливость корабля, служба погоды и времени, политзанятия. «Мне нужны только пятерки, – внушал себе Савка, – только пятерки!»

На одних «отлично», без сучка и задоринки, шел в классе впереди всех Коля Поскочин. Вечером в кубрике он «травил до жвака-галса» цепь своей бесконечной памяти. Сейчас его якорь подхватил с грунта забвения несчастную «Данаю»…

– …была очень красивая женщина. Она приходилась дочерью Акризию, но оракул Акризию предсказал, что он погибнет от сына Данаи. И вот Акризий, мужик подлый, заключил Данаю в темницу. Но о красоте ее уже прослышал Зевс-громовержец. Чтобы проникнуть в темницу, Зевс просыпался на Данаю золотым дождем. От Зевса она породила Персея, который совершил в жизни немало подвигов. Когда поганый Акризий услышал первый крик новорожденного, он велел Данаю с сыном заточить в ящик и бросить его в морские волны. Но волны прибили их к берегу, после чего отважный Персей отрубил башку горгоне по имени Медуза…

– Вот шкет! – удивлялся Росомаха. – Откуда ты это знаешь?

– Просто я любопытен. А книги читаю внимательно.

Вскоре он опять повесил в кубрике «Данаю», но уже другую.

– Что я вижу? – узрел ее остроглазый Кравцов.

– Тициана! – вздохнул Коля Поскочин. – Хотя рембрандтовская «Даная» мне нравилась больше этой.

– Ты погоди со своим Тицианом. Откуда здесь дама?

– Все та же Даная, осыпанная золотым дождем. Вы мне сказали, что рембрандтовскую нельзя. Чтобы я поискал другую! Вот я и нашел тициановскую. Согласитесь со мной, товарищ лейтенант, что в соловецких условиях это было нелегко…

Кравцов потянулся к картинке:

– Эту тоже нельзя. Поищи другую.

Коля ответил, что он поищет. Выбор у него большой: Данаю писали еще Боль, Госсарт, Корреджо, Блумарт, Караччи, Бланшар, Варикс, де Брейн, Каольварт… И лейтенант отступился:

– Жук ты порядочный! Тебе бы в архиве флота работать… Ладно. Пускай уж висит эта. А то найдешь… Черт тебя знает!

И все привыкли к «Данае». Что тут дурного?

\* \* \*

А дальше Савка – словно заколачивал гвозди: пять, пять, пять, пять. Вот и последний экзамен – электронавигационные инструменты. Савка пошел на экзамен, как на праздник. Теперь он не волновался. Как гурман смакует острые соусы, так и Савка с наслаждением впитал в себя новые понятия: альтернатор, вендмотор, блуждающие токи, статор, дроссель, беличье колесо, соленоид, реверс… Жизнь улыбалась! Сам, по велению собственного сердца, Савка решил стать не только рулевым-сигнальщиком, но и обрести вторую флотскую специальность – штурманского электрика. Он еще не знал, каким важным было это решение!..

Принимали зачет мичман Сайгин с неизменной улыбочкой, элегантный лейтенант Зайцев и… Плакидов, вызывавший у юнг дрожь в коленках. Инженер-капитан третьего ранга был строг и, как выяснилось, знал устройство гирокомпаса ничуть не хуже, чем поворотливость и маневренность кораблей. А мичман Сайгин, завидев Савку, совершил большую ошибку с точки зрения педагогики. Огурцов едва потянул к себе билет, как он сразу влепил ему в табель пять с плюсом. От этого суровейший Плакидов моментально взъярился на Савку, как на личного врага своего.

– Что? – спросил он Сайгина. – Ваш любимчик? Какое вы имели право ставить ему пять, да еще с крестом? Разве он уже ответил?

Савка положил билет с вопросами обратно на стол и при этом заметил, как побледнел мичман Сайгин.

– Ты не можешь ответить? – удивился Зайцев.

– Могу. Но мне достались слишком простенькие вопросы. Спросите меня так… что-нибудь посложнее! А то неинтересно…

Плакидов поднялся, громыхая указкой:

– Возмутительно! Как вы себя ведете? Здесь вам не цирк, а военное учреждение… Сейчас же отвечайте, что взяли!

Но билет Савки уже затерялся в груде других билетов, и он вторично вытянул первый попавшийся.

– Есть! – сказал он. – Позвольте отвечать?

– Садитесь и подумайте, – велел Плакидов.

– Думать надо было раньше, – ответил ему Савка.

Лейтенанта Зайцева от хохота согнуло над столом.

– А мне это даже нравится! – сказал он. – Не дали человеку рта раскрыть, как уже вкатили ему пять с крестом. Теперь ему осталось одно – этот крест нести, пока не свалится…

Плакидов, не слишком-то юнгам доверяя, выхватил из рук Савки его билет, без тени улыбки прочитал сам:

– Вопрос первый: прецессионное движение и затухающие колебания гироскопов в гирокомпасе… Прошу, маэстро!

Савка говорил минут десять, и его не перебивали.

– А ведь знает! – хмыкнул Плакидов. – Второй вопрос: какие приборы работают от матки гирокомпаса?

В десяти словах был дан точный ответ.

– Ну, ладно, – нацелился на Савку Плакидов, откладывая билет в сторону. – А какой самый главный недостаток гирокомпасов?

– Их сложность.

– Еще.

– Гирокомпас, как и человек, укачивается…

– Пять! – сказал Плакидов. – Но без плюса. Уважаемые оппоненты, у кого из вас есть вопросы к этому молодцу?

Зайцев с добрыми намерениями подошел к Огурцову:

– Я вижу, ты изучил материал сверх программы. Сейчас я задам тебе один вопрос… просто так. Если не сможешь ответить, то особой беды не будет. С мостика тебе велели взять глубину под килем на эхолоте. Как ты знаешь, возвращенное от грунта эхо зажигает напротив глубинной отметки неоновую лампочку. И вот ты видишь, что на табло – вдруг! – загорелись сразу две лампочки. Одна слабый, дрожащий импульс на отметке в сто двадцать метров, а четкую вспышку дает лампочка на двухстах сорока метрах… Какую глубину из этих двух ты доложишь на мостик?

Савка глянул на Сайгина, и тот ему кивнул, ободряя. Мичман уже рассказывал юнге о подобных случаях из своей практики.

– Глубина двести сорок метров, – ответил Савка. – А на отметке в сто двадцать под кораблем проходит плотный косяк рыбы. Ультразвук, с трудом пробиваясь через рыбные массы, дает на экране ослабленное мигание лампочки. Зато, пробив толщу косяка, эхо отработает на табло устойчивый импульс от грунта – это и будет истинная глубина под килем!

– Тоже пять, – сказал Зайцев, возвращаясь за стол. – Но если, Огурцов, тебе придется служить на Северном флоте, там, при входе в гавань Полярный, эхолоты кораблей, как правило, отмечают двойной грунт. Очевидно, образовалось плотное одеяло из древних водорослей, которое ультразвук пробивает с трудом… Учти это!

– Есть, – ответил Савка. – Я учту. Спасибо за совет.

Плакидов вслед уходящему юнге погрозил пальцем.

– Не зазнавайся! – крикнул он Савке.

\* \* \*

Потом вся Школа юнг была построена во фрунт перед зданием учебного корпуса. Был зачитан приказ Аграмова: выносили благодарность юнгам-отличникам и тем, кто успешно сдал экзамены. В боцманском взводе был особо выделен Мишка Здыбнев, а среди радистов Савка расслышал имя своего друга – Мазгута Назыпова. По классу рулевых благодарили очень многих, в том числе назвали Колю Поскочина и Савку, – очевидно, тройку его сочли за случайный огрех.

– А каникулы будут? – спросил кто-то, наивничая.

– Каникул на войне не бывает, – отвечал Аграмов. – В нынешнем же году вы должны стоять боевую вахту на действующих флотах. До наступления призывного возраста вы все останетесь в звании юнги. С восемнадцати станете кадровыми матросами. Дальнейшая ваша судьба зависит от вас самих. Но я свято верю, – закончил начальник школы, – что среди вас многие достигнут высокого звания адмирала.

В морозном воздухе зычно разносились голоса ротных офицеров. Черные роты на белом снегу разворачивались и расходились.

Флот – могучий и сложный организм, лязгающий броней, ревущий бурями воздуходувок, весь в пении турбин и в пальбе дизельных клапанов, флот – насыщенный жесткими регламентами вахт, визирующий беглое скольжение противника на четких линзах оптических датчиков, – этот волшебный флот уже приближался к ним!

Эпилог третий

(Написан Саввой Яковлевичем Огурцовым)

Осенью сорок четвертого года я на центральной улице Мурманска нарвался на патруль, стал с ним спорить, и комендант города отправил меня на пять суток в гарнизонную гауптвахту. Эсминец наш тогда стоял в доке, и это меня малость утешало.

Не успел я отсидеть и суток, как утром меня вызвали из камеры. Смотрю – в коридоре похаживает штурман.

– Завтракал?

– Да какой тут завтрак… – отвечаю ему.

Вижу, конвойный несет мне ремень, тащит шнурки от ботинок, отобранные у меня при аресте, чтобы я не повесился. Чувствую, что меня сейчас выпустят. Штурман сказал на улице:

– Звонили с кораблей «плохой погоды». Им срочно нужен штурманский электрик, а своего они отправили с караваном в Исландию. Шагай в Росту – там тебя ждут…

Есть! По шпалам, прыгая через рельсы, я добрался до Росты; возле причала, вижу, тихо подымливает сторожевик. Снег на его палубе – кашей, значит, машины уже на подогреве. Корабли «плохой погоды» назывались так потому, что их имена ничего доброго морякам не сулили: «Ураган», «Мгла», «Тайфун», «Смерч», «Вихрь» и прочие прелести. Штурман на сторожевике – совсем молодой парень. Потому, наверное, и не стал удивляться, что ему прислали мальчишку.

Был он деловито краток и очень вежлив со мною:

– У нас всего три часа до съемки со швартов. Идем в Мотку на обстрел противника. Надо срочно запускать «шарик».

Я понял: за три часа гирокомпас только отыщет истинный меридиан, но его затухающие колебания в поисках норда закончатся, когда сторожевик из Польского залива уже будет выходить в океан. Медлить нельзя! Надо запускать сразу.

– Завтракал? Ну, пообедаешь после команды…

Штурман вручил мне ключи от гиропоста, как бы вверяя с этим ключом и судьбу корабля: от меня теперь зависело многое – курс, верность огня и даже расход боезапаса. Палуба уже вибрировала под ногами. Я привык к эсминцам: там в гиропост через люк лезешь. А тут из кубрика ведет дверь, как в кабинет начальника. Вошел я в гиропост и… ахнул! Передо мной стоял не «аншютц», а гирокомпас системы «сперри», который я по глупости не уважал и который, прямо скажу, знал так себе, больше в теории.

Однако назвался груздем – полезай в кузов. Скинул я бушлат на койку. Потянул через голову фланелевку. Жарко! На эсминцах гиропосты у самого днища, там прохладно, а здесь – словно курорт и через два иллюминатора наяривает осеннее солнце. Я один из них раздраил – посвежело. Обошел я вокруг гирокомпаса, словно кот ученый вокруг легендарного дуба. Не знаю, за что взяться. Весь он какой-то колючий. С ногами, как у паука. Растопырился. Провода выведены наружу. Тронул я легонько за ротор. Тяжелый, дьявол! Ну, что делать? Надо запускать… Как?

В гнезде спрятался от качки графин с водою. Налил полный стакан – хватил залпом. Хоть ты тресни, не могу вспомнить: как запускать «сперри»? Оно и понятно: волнуюсь. А время-то идет. Часы перед глазами. Тикают, проклятые. Если я не справлюсь с этим пауком, из-за меня (только из-за меня) может провалиться вся операция. Я сорву выход корабля в море… А мой предшественник, что уплыл в Исландию, мужик, видать, был хозяйственный. Вижу – целая полочка литературы. И не какая-нибудь белиберда, а комплект всяческих ПШС. Нашел я нужный номер по «сперри». Ну, я вам скажу, вот это было чтение! Каждую страницу я словно снимал в своем мозгу на фотопленку. Голова работала идеально…

Звонок:

– Мостик – гиропосту: когда запуск?

– Запускаю, – ответил я штурману.

Первым делом отключил все станционные рубильники. Быстро, но осторожно. Главное – ничего в схеме не пережечь. Чтобы не полетели предохранители. А потом измучаешься, их отыскивая. Под ротором гирокомпаса нащупал стопорный палец. Проверил уровень масла в резервуарах главных подшипников. Убедился, что в камере ротора достаточный вакуум. Сосуды с ртутью были еще до меня установлены на 69-ю параллель – эту героическую широту великой битвы на советском Севере! Наконец осталось сделать последнее. Я присел на корточки, взялся за ротор и, чтобы облегчить компасу работу, своими руками привел его как можно ближе к истинному меридиану.

Порядок! Можно запускать. Рубильник пошел вперед, бросая на генератор мощный бортовой ток. Завыли моторы. Ротор гироскопа из сплава стали с никелем взял разбег. Получив питание, он почувствовал то, чего не ощущает человек, – силу земного притяжения. Ртуть переливалась в сосудах, воздействуя на него. Передо мною скакали и прыгали стрелки приборов, отмечая начало той жизни, которую я, юнга Огурцов, дал умной человеческой машине. В беготне сигнальных ламп чуялось нечто бодрое. Казалось, дружеские глаза подмигивают мне: «Не бойся!» Генератор уже достаточно прогрелся, и тогда я врубил динамо. Опять нащупал стопорный палец и откинул его в сторону.

Дело сделано – мой «шарик» крутится!

Выдернул из боевого зажима трубку телефона и говорю:

– Гиропост – мостику: исправно вошел в затухающие колебания. Времени у нас в обрез, так я разогнал «шарик» как можно ближе к меридиану – вдоль Кольского залива.

– Можно быть спокойным? – спросил сверху штурман.

– Будьте спокойны, – отвечал я.

– Тогда сбегай на камбуз. Пообедай… Слышишь?

– Некогда! Потом…

Прозвенели звонки общего аврала – к съемке с якоря! Глянул на часы. Через пятьдесят минут гироскоп наберет нужную скорость. От компаса, как от живого существа, исходило приятное живительное тепло. Вот опять звонок:

– Мостик – гиропосту: врубай репитеры!

Да. Пока что курс может давать только матка, а надо, чтобы ее показания были отражены на репитерах – на мостике, на датчиках ПУАО,[5] в рубках управления. Эту сложную работу согласования репитеров с маткой я проделал уже с помощью штурмана. Где-то на репитерной станции меня разочек тряхнуло током, но такие вещи с нашим братом случаются. А темное пятно на пальце от укола током исчезло у меня через три года после войны. Сторожевик уже шел в океан, минуя скалистые берега. Повинуясь штурману, я наконец-то рискнул оставить гиропост – отправился на камбуз.

– Где тут, – спрашиваю, – для меня обед оставили?

– Садись, – сказали коки. – Сейчас отвалим.

Я присел на краешек узкого, как в купе вагона, столика и удивился. Обычно матросы едят ложкой из пузатых железных мисок. А тут передо мною водрузили тарелку с ножом и вилкой, как в ресторане. В окружении жареной картофельной стружки дымился какой-то очаровательный бефстроганов.

– Ребята, – говорю я кокам, растерявшись, – вы меня с кем-то путаете. Я ведь только юнга… Юнга Эс Огурцов из БЧ‑один.

– Трескай без разговоров, – был ответ. – Штурман велел дать тебе с офицерского стола. Ты же – гость!

Мне стало смешно: утром хлебал баланду на гауптвахте – и вдруг такое! Я съел все, что дали, а под конец обеда сторожевик стало покачивать, – перед нами уже распахивался океан. Побежал обратно в гиропост, и вовремя прибежал. Иллюминатор, лежащий на сторожевике близ ватерлинии, собрал полную капельницу, и теперь забортная вода струилась по переборке прямо на койку. Привык я к своему днищу на эсминцах, где нет ни одного иллюминатора, и оттого с непривычки плохо задраил барашки.

Зайдя в Мотку, сторожевик открыл огонь всем бортом. Он бил по скрещениям фронтовых шоссе, где копилась техника противника. Тогда мы еще не знали, что это была артподготовка к общему наступлению на врага в Заполярье. От пальбы часто содрогалась палуба. Прямо над моей головой шарахнула баковая пушка, и графин на залпе выпрыгнул из своего гнезда – вдребезги! Система артнаводки зависела от верности работы гирокомпаса, так что в точной стрельбе сторожевика была отчасти и моя заслуга. Потом мне, как участнику наступления, выдали именную книжечку с приказом Верховного Главнокомандующего, и мне уже не пришлось возвращаться на гауптвахту, чтобы досиживать те сутки, которые я не досидел за ношение широченного клеша…

Хорошие были ребята на этих кораблях «плохой погоды». Не забыли и меня при награждениях. За участие в этой операции я получил медаль адмирала Ушакова – с цепями и якорем. И теперь каждый раз, когда я встречаю эту редкую медаль на ком-либо, мне невольно вспоминаются правила запуска «сперри». Удивительно! Сколько лет прошло с той поры, а я и сейчас наизусть помню инструкцию.

Уходя со сторожевика, я гирокомпас вырубил. Но по инерции он еще долго держался строго в истинном меридиане. Только через восемь часов его ротор закончил свой бег и затих, успокоенный.

Разговор четвертый

На столе Огурцова лежала груда книг по абстрактному искусству, и я снова выразил ему свое удивление.

– Да, – ответил он мне, – все непонятное следует знать. Музыка ведь тоже абстракция, однако, слушая ее, мы рыдаем. Уличная реклама и этикетки товаров – абстракция. Обложки книг – абстракция. Театр с его условными декорациями – тоже абстрактен. Но мы не возмущаемся этим. Очевидно, в каких-то зонах жизни абстракция попросту необходима. Но вот «Гернику» Пикассо, – признался Огурцов, – я не понимал, не понимаю и никогда не пойму…

За вечерними окнами темнело. Огурцов прижался лбом к стеклу, что-то высматривая на улице; при этом он продолжал разговор:

– Сейчас уже никто не отрицает один из способов образования – самообразование! Доверить образование самому человеку – значит признать в нем… человека! Я считаю свою жизнь сложившейся чрезвычайно интересно. Но я никогда не ждал, что кто-то придет и сделает ее интересной за меня. Глупо ехать в дом отдыха веселиться, надеясь, что тебя развеселит затейник! А посмотрите вот сюда, в подворотню дома напротив: разве они понимают это? А ведь им сейчас примерно столько же лет, сколько было и нам… тогда!

Через окно я увидел в подворотне стайку подростков. Им было явно некуда деть себя, и они бесцельно стояли, задевая прохожих.

– Сначала появляется в зубах сигарета, – сказал Огурцов. – Затем гитара, оскорбленная мраком подворотни и пошлятиной блатных песен. Сперва сопляки пьют вермут на деньги, выпрошенные у родителей. Позже появляется водка. Наконец в один из дней в этой подворотне сверкнет самодельный нож, и вот уже заливается свисток дворника…

– А вы никогда не пытались к ним выйти? – спросил я.

– Однажды.

– И что вы им сказали?

– Сказал, что они транжиры и моты, уже потерявшие в подворотне громадный капитал. Почему-то капитал всегда представляют лишь в форме рублей. Но я сказал, что главная ценность жизни – время! Они ежедневно тратят на стояние в подворотне самое малое три часа. В месяц получается около четырех суток, а за год примерно пятьдесят… Да, растратчики собственной судьбы!

– Подействовало на них?

– Не-ет, это уже убежденные олухи. Кажется, они вообще приняли меня за чокнутого. По физиономии, правда, не съездили. Не отпихнули от себя и сказали: «Хиляй, дядя, за угол. У нас часы при себе, так что время и без тебя знаем…» Некоторые, можно сказать, живут в этой подворотне. Не знаю, как вам, а мне страшно за потерянную ими юность!

Сытый котище, мягко урча, вспрыгнул на стол и баловнем разлегся под лампой. Савва Яковлевич почесал ему бок.

– Вот, например, звери! – сказал он. – Для них отсутствует понятие абстрактного. А потому они не осмысливают течения времени над миром. Нет прошлого, нет будущего – жизнь заключена лишь в настоящем моменте. Сытость, голод, страсть, негодование или опасность… Но мы-то люди! Правда, время для нас тоже неощутимо. Разве его можно потрогать? Или откусить от него кусочек? Время ведь тоже абстракция, выдумка человека. Но выдумка столь драгоценная, что, не понимая времени, мы неспособны понять и всей нашей жизни…

Он снова погладил кота, а я присматривался к его руке. Заметив мой взгляд, Огурцов несколько раз сцепил и расцепил пальцы.

– Нормально! – похвастал он. – Могу орехи давить.

– А раньше как было?

– Знаете, на Соловках я болей уже почти не испытывал. Но иногда пальцы словно бы немели. Не удалось скрыть этого только от мичмана Сайгина…

– Вы знаете, какова жизнь этого человека сейчас?

– К сожалению, нет. Но если он жив, я хочу передать ему нижайший русский поклон. Этот мичман стал моим адмиралом. Конечно, не всегда адмирал может упомнить своих матросов. Но зато матросы всегда его помнят. Ради моей памяти о мичмане Сайгине, светлой для меня и поныне, прошу вас в повести не изменять его фамилию. Сохраните его подлинную… Может, он жив? Старику станет приятно, что он не забыт.

Я обещал это сделать. Говоря о Сайгине, Огурцов произнес слова, которые я четко сохранил в памяти:

– Истинный меридиан – это ведь тоже абстракция, придуманная людьми для удобства судовождения. Но без этой абстракции сейчас уже не вывести корабля в океан!

Часть четвертая Без каникул

 Я с юных лет был постоянным свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому приказанию, мы сдружились давно; я горжусь вами с детства!

 Адмирал Нахимов

Как Авачинская сопка открывает с моря берега Камчатки, так и Секирная гора, далеко видимая, открывает Соловки…

Ранней весной, когда леса еще додремывают под снежной шубой зимние сны, с далекого Мурмана уже летит на Соловки первая чайка. Это чайка-вестница, и отличить ее легко – на шее у нее черное ожерелье. Она садится на башню маяка, что стоит на вершине Секирной горы, и целый день над островом разносятся ее резкие крики… Все вороны, прожившие зиму на Соловках, вдруг разом снимаются, отчаянно галдя, и черная эскадрилья отбывает в сторону материка. А на следующий день уже летят на Соловки чайки, чтобы жить здесь до осени… Местные рыбаки говорили юнгам, что чайка на Соловках – особой породы, которая так и зовется «соловецкой». Впрочем, особой разницы между чайками юнги не замечали.

Весна! Загорелись первые ландыши на полянах.

\* \* \*

Глубокий тыл послал на фронт письма. Их было очень много, этих писем, и писали их, как правило, женщины. Весной часть таких писем неведомыми путями попала на Соловки. По разнарядке, чтобы никого не обидеть, несколько писем было отправлено и в Савватьево.

Росомаха прочитал на одном конверте:

– Отличнику боевой и политической подготовки – имя не указано… Кто у нас тут отличник? – И вручил письмо Огурцову: – Тебе отвечать…

Савка еще ни разу в жизни не получал писем от посторонних людей, тем более от незнакомой тетеньки. Это его так разволновало, что он не стал вскрывать письмо в присутствии класса, забрался с конвертом в густой бурелом, уселся на мягкий сугроб и там прочитал его. Неведомая корреспондентка предлагала Савке встретиться в Костроме в шесть часов вечера после войны. Переписываться она хочет с героем-моряком, который, начав с ней переписку, должен еще крепче бить фашистов. Сама она замужем еще не была, все находят ее очень симпатичной, просит героя прислать фотокарточку…

Вечером, сидя в кубрике, Савка писал ответ, старательно закрывая свое письмо от шныряющих мимо товарищей.

 Уважаемая Глафира Степановна!

 Сразу сообщаю, что я никакой не герой, мне скоро исполнится 15 лет, а сейчас я отличник учебы, как Вы того и желали. Когда я научусь всему, что надо знать, меня отправят на боевые корабли. Мамы у меня нету, папа пропал под Сталинградом, зато у меня есть бабушка, которая живет в Ленинграде. Вы только не беспокойтесь – кормят нас здесь хорошо. Тут собрались одни некурящие, вдобавок баталеры выдают нам 300 гр. сахарного песку. Сладкое я очень люблю и мечтаю, что после войны до отвала наемся пирожных…

Над ухом Савки раздался голос:

– Нет, вы только гляньте, что этот лопух тут сочиняет!

Письмо отняли, и на правах морского братства оно было прочитано во всеуслышание. Юнги дружно кипятились, возмущенные:

– Как тебе не стыдно? Кто же такие письма с флота шлет?

– А что? – заробел Савка. – Ошибок, кажется, нету…

Игорь Московский был особенно недоволен:

– Твое письмо – сплошная моральная ошибка. Ты кому пишешь? Женщине, которая желает видеть в тебе не сопляка, а героя… Чего ж ты расписываешь, как маленький, про сладкое?

С другого «борта» вмешался и старшина Колесник:

– Если она просит фотографию героя прислать, я согласен свою пожертвовать… У меня как раз физия неотразимая! В Костроме еще не бывал. Почему бы и не заглянуть в нее… проездом.

Савка растерялся оттого, что его личное дело стало общим. В конце концов поручили писать Игорю Московскому, и тот накатал:

 Дорогая боевая подруга! Вот уже пятые сутки грохочет шторм силою в 10 баллов по шкале Бофорта. Только что выдержан жестокий бой. Противник в результате побежден. В грохоте океана уже рождается могучая симфония нашей победы. Не горюй, подруга! В шесть часов вечера после войны жди меня на вокзале. Мы не пропадем! Все штаги натянуты, ветер бьет нас в крутой бейдевинд, вовсю скрипят стрингеры, пиллерсы, бимсы со шпангоутами…

Далее по порядку были перечислены части корабельного набора.

– Вот так надо брать их за жабры! – сказал Игорь.

Колесник настойчиво пихал в конверт свою карточку – портрет морского красавца двадцати пяти лет. Но Росомаха идеи своего соседа не одобрил, а юнгам заявил откровенно:

– Сколько вас учу – и все без толку… Я только и спокоен за вас, пока вы дрыхнете… Подумайте сами. Живет себе женщина. Вкалывает по шестнадцать часов у станка. Выкупает пайку хлеба по карточкам, носит ватник и мечтает о том счастье, что настанет в шесть часов вечера после войны… Лучше уж ничего не написать, а врать – подло! Тем более – по отношению к одинокой женщине. А ты, Игорь, – сказал Росомаха старшому, – я ведь дураком тебя не считал. Что же ты? Решил ее стрингером покорить? Огурцов, конечно, сморозил глупость, но зато глупость была честной… Отбой. Дробь атаке. Ложитесь-ка спать!

От такой взбучки покорнейшим образом расползались по этажам своих нар, словно попрятались по квартирам. Долго молчали. Потом любопытный Коля Поскочин свесился в темноту с койки:

– Товарищ старшина… а товарищ старшина!

– Ну, чего тебе?

– Вы разве не спите?

– Во нахал! Разбудил, а теперь спрашивает.

– Прошу прощения. Вы на нашей Таньке женитесь?

– Это ты у нее и спроси, – сдипломатничал Росомаха.

Джек Баранов решил внести в разговор активность:

– А что вы после войны делать будете?

– Займу пост, который и до войны занимал.

– Кем же вы были?

– Я… капитаном был, – не сразу отвечал Росомаха.

– Каким капитаном? – удивился весь кубрик.

– И диплом имею. Корабли водил.

Все примолкли, как воды в рот набрали. Вот это новость!

– Ну да, – продолжал Росомаха, громко зевая. – Окончил техникум водного транспорта. Днепровского бассейна. И до войны уже плавал капитаном речного трамвая в Киеве…

Грянул хохот, от которого тряслись даже нары:

– Речной трамвай… капитаном! Ха-ха!

Росомаха в потемках повернулся к Колеснику:

– Во народец собрался! Пальца не покажи – сразу со смеху помирают… Да что вы трамвай-то мой обхохатываете? Он же шестьдесят тонн водоизмещением. Узла четыре вниз по течению нарезал…

Засыпая снова, старшина ворчал:

– Посмотрю еще, на какое корыто вас посадят…

Утром он озлобленно рвал с юнг одеяла, явно обиженный:

– Вставай! Побудка была! А чего ты дожидаешься?..

До самого учебного корпуса Росомаха заставлял петь песни. Когда репертуар истощился, Джек Баранов легкомысленно запел: «Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка – это…»

Росомаха не выдержал.

– На месте! – скомандовал он. – Ать-два, ать-два… Ножку! Поднимай повыше, не стесняйся. Я сказал – на месте! Ать-два… – Подсчитывая ногу, он ехидно вставил: – Вам до моего диплома еще топать и топать, как до луны.

– Мы больше не будем, – взмолились юнги. – Да здравствует речной трамвай и его славный капитан Росомаха!

– Прррямо! – разрешил старшина следовать дальше.

Пошли прямо. У каждого под локтем учебники.

\* \* \*

Весна открывала перед юнгами новую красоту Соловков. В прошлую осень, таская бревна и лопатя землю, еще разобщенные и малодисциплинированные, юнги этой красоты вполне не ощутили. А сейчас Соловки хорошели для них с каждым днем. Легкий пар сквозил над подталыми прогалинами. Обнажилось под солнцем богатство леса, полное разнообразия: сосна и береза, ивняки и можжевельники, ели и лиственницы. Не боясь людей, из чащи выходили на поляну олени…

Джек Баранов уже перечитал о подводниках все, что нашел в библиотеке, ни о чем другом говорить не мог. Его предупреждали:

– Нашего брата для подплава не готовят! Учти!

– Ну и что ж? А я буду просить. Буду настаивать…

Однажды старшина Колесник собрался парить брюки. Из кармана выкатился гривенник. Это было так неожиданно, что монету юнги передавали один другому, рассматривая ее, как дикари яркую бусину: «Дай и мне глянуть… Теперь мне!» Они и в самом деле забыли о существовании денег. На всем готовом, обутые и одетые за счет государства, юнги, правда, получали по 15 рублей в месяц. Но тратить их на Соловках было абсолютно некуда, и все жалованье, даже не видя его, они тут же вносили в Фонд обороны, на нужды войны… Этот пустячный гривенник словно дал им понять, что они давненько служат… Скоро все решится, скоро!

Юнги строили планы.

– Я на эсминцы, – мечтал Савка. – Скорость и лихость.

– Линкор – вот коробка! – убеждал всех Московский. – Как шарахнет из главного калибра – костей не соберешь.

– Крейсера-то лучше… Я бы на крейсер пошел.

– «Морские охотники»! – пылко возражал Федя Артюхов. – Это класс! Маленькие. Подвижные. И ничего не боятся…

Коля Поскочин всегда помалкивал.

– А ты на какие хочешь? – спросили его.

– Не могу сказать, что мне это безразлично. Но служить буду на любом. Посадят на баржу – тоже не откажусь.

– Странно. Если так, зачем же тогда пятерки сшибаешь?

– Это мой долг – учиться хорошо. Никогда не забываю о том, что я представитель прогрессивного человечества…

Опять он всех развеселил.

– Вот чудак! Какой же из тебя представитель? Смехотура!

Поскочин ответил на это:

– Сейчас я, конечно, лишь флотская мелюзга. Но ведь все мы собираемся сражаться с фашизмом. А с этой нечистью воюет только прогрессивное человечество. Так что, братцы, с вашего позволения я и вас сопричисляю именно к лучшей, передовой части человечества… Разве не так?

Возразить было нечего. Росомаха поддержал «философа»:

– Он дельно говорит – вы его слушайте. А как с представителей прогресса я с вас еще строже требовать стану!

У него одно на уме – требовать. С него требует Кравцов, а с лейтенанта требуют повыше. Так это колесо и катится до Москвы, до наркома Кузнецова, который, кстати сказать, тоже начинал флотскую жизнь в звании юнги… Росомаха подозрительно поглядывает на своих ребят. Станет он после сажать на свой трамвай пассажиров с арбузами и чемоданами, будет он катать желающих по чудному Днепру при тихой погоде, а вот эти мазурики, остриженные наголо, пойдут дальше… Но сейчас Росомаха не особенно почтителен к будущим адмиралам: когда расшумятся, он цыкает на них:

– Ти-ха-а! В ушах от вас звон… Ти-ха!

Настал день, когда двери кубриков уже не затворяли – и внутрь землянок пахучей волной вкатывало запахи потеплевшей земли. Каждый юнга завел для себя любимую березу, на ночь ставил под надрез ее коры банку. Утром дружно бежали до своих деревьев, пили леденящий зубы настой березового сока… Под конец одного такого дня юнгам велели не расходиться от камбуза после ужина. Между стволами вековых сосен было растянуто широкое полотнище. Всех построили в каре перед экраном, и он ярким пятном вспыхнул посреди темного древнего леса. Сразу настала убийственная тишина…

Показывали хронику!

Человек лет сорока пяти в куцем пальтишке встал на пустую бочку из-под бензина. На шею ему накинули петлю. Он попросил закурить. Милиционер дал ему папироску. Крупным планом среди соловецкого леса возникло лицо предателя. Он жадно досасывал свой последний окурок. Неожиданно пропал звук, и казнь негодяя совершилась в полном молчании. Юнги, не отрываясь от экрана, смотрели, как он повис на веревке, а его небритый подбородок воткнулся в клочок немецкого шарфика на груди. Киномеханик наконец справился с аппаратурой, и над строем юных людей в бушлатах прозвучали последние слова кинодиктора:

– …пусть они знают – им не уйти от возмездия народа!

Назавтра юнги уже разбирали карабины. С утра до позднего вечера на полигоне звучали выстрелы. Из окопов юнги били по мишеням недвижимым. Целились навскидку по щиту, на одно лишь мгновение выскочившему из блиндажа. Они бежали в атаку на мнимого врага, рушились наземь и, смиряя дыхание, выпускали по три пули в силуэт фашиста, вырезанный из фанеры. От щитов летели щепки. Легкий пороховой угар висел над первой зеленью весны.

Неожиданно открылось, что Савка отличный стрелок. Федя Артюхов стал знатоком рукопашного боя – на штыках. Оружейные мастера завозили на полигон ящики с гранатами РГД и лимонками, рубленными в ананасную клеточку. Каждый юнга был обязан сделать боевой бросок гранаты, ощутить хлопок ее взрыва. Над головами юнг, печально зыкая, проносились крупные, в ноготь, осколки разорванного в куски «ананаса». В перерывах между стрельбами юнги ползали по ожившим мхам, – собирали в бескозырки восковую морошку.

– Доживем ли здесь до малины? – говорили, мечтая. – Или она созреет, когда нас уже тут не будет?

Юнгам официально разрешили курить. Сделано это было, очевидно, по настоянию врачей, ибо некоторые куряки, не в силах бросить дурную привычку, стали истреблять в самокрутках что попало – даже листья. Вряд ли это разрешение было оправдано. Получив свободный доступ к табаку, многие некурящие враз стали курящими. Молодость, еще неопытная, любит покрасоваться внешними признаками мужества. Но Савка Огурцов, помня обещание, данное отцу при расставании в Соломбале, курить не стал, продолжая получать за табак лишнюю пайку сахара…

Еще не обстрелянные, но уже всласть пострелявшие, еще не взрослые, но уже курящие, юнги теперь настойчиво требовали:

– Когда же нам дадут погоны и ленточки? Что мы, не люди? Или присяги не давали?

Кравцов устал объяснять нетерпеливым:

– Без ленточек на флот не выпустят. Но, видать, Москва еще не придумала для вас надпись. А погоны шьются…

Когда лед на Соловецких островах потемнел, готовый растопиться под лучами солнца, а первые ондатры уже покинули свои зимние хатки, Аграмов издал строжайший приказ:

– Всем юнгам, исключая больных, спать нагишом!

За долгую зиму юнги привыкли к кальсонам и тельняшкам. Без тельняшки – еще ладно. Но вот снимать вечером кальсоны и залезать под холодные простыни голым… брррр! Росомаха каждый вечер исправно циркачил по этажам нар, проверяя юнг. Бесцеремонно запускал руку под одеяла, щупая:

– Чего это у тебя надето?

– Ой, не надо, – визжал Коля Поскочин, – я щекотки боюсь.

– А что тут… такое шершавое?

– Да я полотенцем вафельным обернулся.

– Ты у нас неженка… снять! – Словно эквилибрист на проволоке, Росомаха полз под потолком дальше. – А это что?

– Трусы, – отвечал Финикин, прежде обдумав ответ.

На это следовала бурная реакция старшины:

– Скажи пожалуйста, какой барин нашелся! Он еще вздумал в трусах спать… Не смеши публику – снимай сразу же!..

В шесть часов утра юнгам разрешалось натянуть на себя только парусиновые штаны от робы. Им устраивали хорошую пробежку строем по лесным дорогам, километра в два-три.

– Дышите! – кричал Кравцов, бежавший с юнгами рядом.

Юнги бежали. Юнги дышали. Юнги привыкали.

\* \* \*

Рыбаки уже выходили в море на весенний лов, и в губе Сосновке выросла гавань юнг – там толпились новенькие шестерки, туда прибыли из кремля катера и вельботы. Сонные тюлени грелись рядом со шлюпками, вытащенными на берег, лениво играли с детенышами-бельками. Но когда юнга рисковал вступить в их игру, тюлени яростно шипели, как кошки, и не спеша култыхали на ластах к воде. Под берегом росли горбылистые березы. Вода гавани часто «задумывалась», как говорят поморы, – перед отливом. Далеко в море убегали камни-поливухи, на которых любили сидеть чайки – белые, с острыми носами. Под бутсами юнг лопались ягоды морского винограда. Визжала, словно сырой песок, морская капуста – ламинария.

Занятий по теории юнги не прекращали. Но с наступлением лета Аграмов решил ускорить физическую подготовку, чтобы юнги – с берега! – хлебнули моряцкой жизни. Условия для закалки моряка были на Соловках идеальными.

Однажды вечерком Аграмов посетил камбуз. Молча, насупив брови, он ходил между столами. Иногда остановится, сцепив пальцы рук за спиной, расставит ноги, словно чугунные кнехты, и упорно следит, как юнга старательно приканчивает свой ужин…

– Очень долго жуете! – заявил начальник школы. – Так дело дальше не пойдет. Здесь вам не харчевня для извозчиков, а флотский камбуз. Привыкайте есть быстро. На кораблях это необходимо…

А далее он произнес речь, будто пропел возвышенную сагу о веслах и парусах. Еще неизвестно, какими путями пойдет развитие флота дальше, но ясно одно, что шлюпка всегда останется главным инструментом в воспитании моряка. Невозможно перечислить все те функции, которые исполняет шлюпка в быту флота. Легче сказать о ее последней, как бы заключительной роли в жизни моряка – при гибели корабля шлюпка его спасает!

– Прошу, – сказал Аграмов, – повторить теорию и устройство шлюпки. Вам предстоит масса удовольствия, сопряженного с тяжким трудом. Обещаю романтику и мозоли тоже! Не только на руках, но и на тех местах, что в былые времена использовались для сечения… В итоге практики у вас должны развиться сноровка, глазомер, быстрота реакции на опасность, способность выходить из критических положений. Ваша воля укрепится. Наконец, что самое главное, вы заглянете в бездну моря…

Аграмов считался лучшим знатоком шлюпочного дела в стране, он был автором учебника по шлюпке, который составил до войны для подготовки офицеров флота СССР; теперь эту книжку штудировали и юнги.

С камбуза Савка возвращался печальный.

– Ты чего, словно муху проглотил? – спрашивали его.

– Да так… особых причин нету.

На самом деле причина была. Савку буквально уничтожила фраза Аграмова: «Вы заглянете в бездну моря». Сколько уже раз, когда другие купались, он сидел на берегу, отнекиваясь, – мол, не хочется сегодня. А теперь перед ним открывалась пучина, и не было сил сознаться перед товарищами в неумении плавать. В этот день Савка не просто заснул – он погрузился в сон, как в омут, его затягивала страшная, свистящая воронками глубина… Бездна!

Ранняя побудка сорвала юнг с коек, как по боевой тревоге. Схватив штаны от робы и надевая их на бегу, через пять секунд юнги занимали место в строю. Следовала команда: «Бего-ом… арш!» – начиналась обычная пробежка. Но сегодня Кравцов повел роту в другом направлении. Рулевые дружно топали к роте радистов. Вот и крутой спуск – прямо с обрыва к озеру Банному…

Савка, работая локтями, сказал на бегу:

– Не может быть, чтобы сейчас… вода-то еще холодная! – Он еще не верил, что его разоблачение состоится сегодня.

Кравцов, стоя на берегу, уже взмахивал рукой:

– Первая шеренга… в воду! Вторая… пошла!

Взметая каскады брызг, рушились юнги на глубину. Шеренгами – по четыре человека в каждой. Задние ряды уже поняли, в чем тут дело, и торопились снимать штаны, которые бросали тут же, где стояли. Савка штанов не снял, а даже крепче вцепился в них.

– Двенадцатая шеренга… в воду! – кричал лейтенант.

Послышался чей-то жалобный вскрик:

– Я не умею плавать. Скажите, чтобы задние не толкались.

– Еще что выдумал? В воду! Задние тебя поддержат…

Глубина начиналась сразу от берега. Боком-боком, таясь товарищей, Савка нырнул. Но не в озеро, а в кусты! Бежал в лес. Прочь от роты. Как можно дальше от своего позора. Казалось, его преследует издевательский хохот: «Смотрите, он не умеет плавать!» На секунду заскочил в пустой кубрик, схватил свою робу. Отчаявшись, весь исколотый когтями шиповника, вломился в бурелом. Бежал так, словно спасался… В просветах сосняка студено блеснуло призывное море. Вот она – его колыбель.

Так любить это море и не уметь плавать! Савка учился со страстью, самозабвенно поглощая все, что ему щедро отпускалось флотом: макароны и формулы, наряды вне очереди и теорию навигации. Сейчас рота, искупавшись, с еще влажными волосами, шагает на камбуз, а он сидит здесь. Потом рота с песнями двинется в класс, а он останется здесь же…

Савка с берега наблюдал, как птенцы чаек, едва вылупясь из яйца, уже плавали в море. Это они умели от рождения. Но зато от рождения им не дано умения летать. Исподлобья Савка хмуро следил, как чайка приучала к полетам своего сыночка-чабара. Птенец старался подражать матери: махал крылышками, бежал по мокрой отмели, но оторваться от нее никак не мог. Все попытки кончались позорным финалом – чабар с разбегу втыкался клювом в песок и тут же получал хорошую трепку от мамаши. Тогда он дезертировал от маменьки в воду, где стихия бездны была ему близка и понятна.

И, наблюдая за чабаром, Савка вдруг спросил себя:

– А разве человек от рождения не создан для воды?..

\* \* \*

Блуждая по лесу, он слышал разливы горна, уже зовущего роты на обед. Издалека доносило знакомый припев:

Это в бой идут ма-тро-сы!

Это в бой идут мо-ря!

Может, лучше выйти из леса и честно заявить, что плавать он не умеет, а воды боится? Ну конечно. Все станут хохотать, как помешанные. Но смехом дело не кончится. Возьмут за руки, схватят за ноги. Потащат на самую глубину и плавать выучат. Но у Савки не хватало силы воли на такое крутое решение… Вечером опять из-за леса его окликал горн. Весь день он проползал по холмам и низинам, безо всякого аппетита ел морошку и прошлогоднюю кислую клюкву. Кое-где встречались березы с забытыми банками – он попил из них соку. Наступала ночь. Отчаяние становилось острее.

Этот глупый птенец-чабар не выходил из головы. Если он от рождения может плавать, то почему же человек не способен на это? Мысль была навязчива, и ночью Савка вспоминал физику. Удельный вес человеческого тела гораздо меньше удельного веса воды. Если это правда, а физика не врет, то… «Почему же люди тонут?» – спрашивал он себя.

Ночь была кошмарной. Не потому, что страшно было ночевать в лесу: волков на Соловках отродясь не бывало, а в чертовщину слабо верилось. Другое обжигало сознание – права ли физика? Наука ведь тоже иногда крепко ошибается. Может, думал Савка, люди тонут лишь оттого, что нахлебаются воды, а тогда их удельный вес становится больше? Выходит, зажми рот и доверься науке? Мимо него большой тенью, ломая хрусткий валежник, прошел одинокий самец-олень и жалобно позвал свою подругу. Край неба за морем просветился. Конечно, в роте все дрыхнут нагишом, скоро сорвутся с коек, чтобы снова броситься в ледяной озноб Банного озера…

– Или я человек, – сказал себе Савка, – или я тряпка…

Птицы уже пробудились. Савка поднялся с кочки, на которой сидел так долго, что она даже согрелась под ним. Пошел выбирать озеро для проведения опыта над самим собой. Отступления не было!

Озер на Соловках не пересчитать, и потому выбор у Савки был очень большой. Одно озерко в лесу не понравилось ему цветом торфянистой воды. Другое слишком обожгло пятку стужей. Неся в руках бутсы, он вышел к третьему озеру, которое показалось ему вполне подходящим. Длинная жердина от самого берега уже не могла прощупать дна. Такое-то ему и надо, чтобы проверить себя сразу и до конца… Нечаянно вдруг вспомнилась бабушка, с которой он до войны – рано-рано утром! – ходил на Клинский рынок; там они покупали картошку и капусту, несли домой помидоры и кулечек красной смородины. На миг Савке стало страшно. Что будет с бабушкой, если он не всплывет? Ведь совсем одна…

Солнце взошло! Не было ни карандаша, ни клочка бумаги, чтобы оставить письмо. Савка вывернул свою голландку воротником наружу, где была пришита его личная метка: «С. Огурцов, 1-я рота». Еще раз он внушил себе вслух, что удельный вес тела никак не может быть больше удельного веса воды. После чего оглядел лесные дали и… стал на камень.

Продышав легкие, Савка произнес как завещание:

– Но физика-то… Или вранье все это?

Решительным толчком ног он швырнул себя в оглушительную глубину. Глаз при этом не закрывал и потому видел все… Видел глубину, но зато не видел конца ее. Вода тяжелела и уже не казалась хрустальной. Наконец что-то протемнело глубоко под ним. Савка разглядел древние коряги, похороненные на дне озера, и длинные волосы водорослей, что тянулись к нему. Теперь задача – всплыть, дабы не оставаться здесь навсегда. И вдруг почувствовал, что какая-то сила сама влечет его кверху. Хотелось глотнуть воздуха, но, сжав губы, он терпел. И поднимался… выше, выше, выше!

Ладони вдруг розово осветило солнце. Они первыми проткнули ту пленку, что делила мир на две стихии. Плечи тоже выступили из воды, и тогда, ни разу до этого не плававший, Савка поплыл, взмахивая руками, как это делают все люди. Даже не верилось! Он, он плыл. Он победил себя и победил свои страхи. Как жаль, что свидетелей его победы не было… Только шумел лес.

Далекий возглас горна призвал его к себе. Выбравшись на берег, Савка схватил робу и побежал к роте. Он настиг ее на марше, незаметно пристроившись к колонне бегущих юнг. Вот и озеро Банное. Кравцов уже отправляет с берега шеренгу за шеренгой. Вместе со всеми Савка бросился в воду, как в родную стихию кидался птенец чайки, и поплыл на глубину, радостно покрикивая. Целых двадцать минут вокруг озера расхаживали старшины, не позволяя юнгам коснуться берега, – гнали прочь!

А потом началось.

– Где был? – напустился на него Росомаха. – Мне из-за тебя с вечера шею мылят… Такой-сякой немазаный!

– Извините. Я заблудился, – неумело соврал Савка.

Росомаха не поверил: Секирная гора – прекрасный ориентир.

– Иди к лейтенанту, он тебя тоже намылит!

Кравцов задал Савке такой же вопрос:

– Где же ты пропадал, Огурцов?

– Заблудился.

– Каким образом?

– Я так далеко ушел, что совсем запутался в лесу…

Кравцов выслушал его и заглянул прямо в глаза:

– Ну, а теперь, Огурцов, ты все-таки скажи мне правду…

Пришлось рассказать все.

– Когда-нибудь, – сказал Кравцов, – с вашими фокусами я под трибунал загремлю. Голова-то на плечах имеется? Пять часов утра. Вокруг ни души. А ты, не умея плавать, ныряешь носом вперед… Растеряйся на секунду, глотни воды, как воздуха, и – амба! Мои погоны – ладно, но о своей-то жизни ты подумал?

– Я подумал. Удельный вес моего тела меньше удельного…

Лейтенант не дал ему закончить:

– Дурак ты! Только потому, что ты живой стоишь передо мною, я тебя прощаю. А утопленника я бы отправил на гауптвахту… Иди!

\* \* \*

Вот и первые похороны. Один все-таки потонул. Лошадь влекла за собой скорбную телегу, на которой лежал юнга. Гроб был открыт, вовсю засвечивало над смертью солнце. Руки покойного сложили на синем треугольнике казенной тельняшки. Мрачно, нехорошо завывали в тоске трубы духового оркестра. Школа юнг шла за гробом, и шаг был необычен – с оттяжкой, особо замедленный – траурный шаг похоронной процессии. Над свежей могилой класс боцманов залпом из карабинов сказал: «Прощай!»

Возвращаясь с похорон, юнги говорили:

– Вот бедняга! Он никогда не выйдет в море…

А сегодня уже не видать берегов: вот оно – море, море, море! Гребля на шлюпке не только спорт, но и сложное мастерство. По два гребца сидят на одной банке. Оба спиной к носу, а лицами в корму, где у транцевой доски расположился старшина. У каждого весло: одна рука – на вальке, другая обхватила рукоять. Только невежды думают, что матросы гребут руками. Нет! Гребец работает всем корпусом, мускулы его спины свиваются в крепкие веревки. Настоящий матрос знает, что вся сила движения шлюпки собрана в конце гребка. Оттого-то в этот краткий рывок вкладывается вся энергия – мускулов, нервов и духа.

Старшины в такт гребле испускают пронзительные вопли:

– Два-а-а… рраз! Два-а-а… ррвок!

При выкрике «раз» лопасть выскакивает из воды, и развернутое горизонтально весло молнией отлетает к носу шестерки. С бурлением лопасть захватывает воду для следующего гребка.

– Два-а-а… ррвок!.. ррвок!

Шлюпка идет толчками. В самом конце гребка спина гребца должна лечь на колени юнги, что сидит позади. Неукоснительное требование: замах весел делать как можно дальше. При вырывании весла из воды не полетишь вверх тормашками, ибо ноги продеты в петли на днище шлюпки. Поначалу трудно. Весло захватывает не воду, а воздух. Волна поднялась чуть выше, и весло чуть ли не до самого валька погружается в воду. Никак его не выдернуть из моря, хоть вытаскивай торчком из-за борта, как палку. Моряки в таких случаях говорят: «Поймал щуку!»

– Ой, у меня весло уплыло! – кричал Коля Поскочин.

Старшина, ругаясь, клал шестерку в развороте, юнги с хохотом выручали весло из волн.

– Башку теряй, не жаль, а весло – это тебе не башка!

Белое море – море чудесное. Никто бы раньше не подумал, сколько в нем живности и красот. Когда старшина скажет: «Суши весла!» – юнги перегибаются за борт, вглядываясь в воду. И чего тут только не увидишь – и огненных морских ангелов, и цветное желе медуз. Сонно ползают по дну жирные утюги камбал, а из глубины светятся лучи кремнистых звезд – таких идеально правильных очертаний, словно природа отштамповала их серийно на своем удивительном станке.

Загребными сидят самые сильные – Федя Артюхов и Финикин, а Савка с Поскочиным – баковыми, с укороченными веслами. Загребные с кормы задают ритм гребле, но Финикин славен своей несообразительностью. По команде «суши весла» он шабашит, убирая весло под рангоут; старшина кричит «шабаш», а Финикин «сушит» весло над водою… Посреди шестерки, разделяя ряды гребцов, покоится под чехлом рангоут – мачта с реями и парусами. Финикин уже не раз намекал Росомахе:

– А чего это мы? Уже все измочалились… Поставим парус!

Под парусом пойдешь, когда с тебя сто потов сойдет на веслах. А ты еще до четвертого пота не догреб… Навались! Два‑а‑а…

Вальки для равновесия залиты свинцом, а рукояти отполированы наждаком. В уключину весло ставится тем местом, где веретено охвачено кожей, и надсадный скрип мокрой кожи сопровождает все время гребли. Юнги работают обнаженные, солнце уже золотит их спины. Завтра утром с коек своих они встанут со стоном. Будут юнги, как дряхлые старцы, хвататься за поясницу. Но это завтра, а сегодня в дугу сгибаются весла из гибкого ясеня. В анкерках плещется запас пресной воды. Замах – гребок, замах – гребок!

Кажется, с таким усердием можно переплыть океан.

– Почти как на галере, – сказал Коля Поскочин. – Не хватает только профоса с плеткой, чтобы огрел нас как следует.

– А кто такой этот профос? – спросил его старшина.

– Корабельный палач. Была и такая должность на старом флоте. А русские люди «профоса» переделали в «прохвоста»…

– Ясно! Теперь помолчи, а то собьешь дыхание. – Росомаха глянул на корму. – Правая навались, левая табань!

Шлюпка волчком развернулась на месте, ее форштевень направился в сторону берега, и тогда старшина крикнул:

– Обе на воду! А то опоздаем к обеду…

Обратно из шлюпочной гавани юнги шли лесом – без строя, вразброд, полуголые, босые. Совсем рядом с ними раздался выкрик:

– Стой! Кто идет?

Случайно они выбрели на тот склад боепитания, который когда-то охранял Савка и где в ночи вокруг него шлялся враг. Часовой теперь стоял с патронами в обойме карабина.

– Да не шуми ты, – отвечали ему юнги, смеясь. – Кого испугать решил? Не видишь, свои в доску ребята идут…

В Савватьеве Савка попросил Росомаху отпустить его.

– А куда тебе?

– В политотдел хочу зайти… к Щедровскому.

– Чего тебе там?

– Отец-то совсем не пишет. Одно лишь письмо…

Щедровский удивился, увидев Савку на пороге своего кабинета.

– Кто тебя прислал ко мне?

– Никто. Сам решил зайти… насчет отца…

– Странно! Вот как раз ответ о твоем отце. Только что вскрыл пакет, и вдруг являешься ты… Бывает же такое!

Савка молча ждал, что ему скажут.

– Трудно это говорить, – сказал Щедровский. – Но ты уже взрослый человек и сможешь пережить самую горькую правду. Отца твоего нет в живых. По справке видно, что он был вычеркнут из списков части еще осенью прошлого года…

После отчаянной гребли вдруг заломило руку.

– Плакать я не буду. Но, может, он… в плену?

Щедровский отрицательно покачал головой:

– Моряков, тем более – комиссаров флота, враги в плен не берут. Да они и сами, как ты знаешь, не сдаются…

Затягивать разговор было не к чему.

– Мне скоро исполнится пятнадцать. Летом. Теперь мне можно вступить в комсомол?..

\* \* \*

Юнги в нетерпении спрашивали:

– Когда же закончится учеба? Когда на флот?

Офицеры отмалчивались. Или кратенько отвечали:

– Погоди. Еще навоюешься…

Савка как-то случайно раскрыл «Рулевое дело» и вдруг заметил, что почти все главные разделы они прошли. Взял «Управление маневрами корабля» – осталось пройти приемы буксировки кораблей.

– Ребята, – сказал он, – а ведь мы скоро уйдем!

Физическая подготовка была резко усилена. Среди ночи юнг часто поднимали по тревогам с оружием. Они проделывали длинные марши бегом по пересеченной местности. Порядок при этом был такой: попалось на пути озеро – не обходить его, а переплывать любое, какое бы ни встретилось на пути. Это были необычные ночные марши: авангард роты уже выходил из воды на берег, когда конец колонны еще только начинал заплыв, держа над собой карабины. Любовь к воде стала у юнг доходить до смешного. Как только подавался звонок на перемену, юнги швыряли на столы свою робу, голые сыпались изо всех окон и – в воду! Десять минут плавали, а когда гремели звонки к уроку, они уже чинно сидели за столами, наспех вытирая лбы подолами голландок. Море из затаенной опасности превращалось в дружескую стихию, вода становилась родной колыбелью! Юнги еще не думали, что море способно обернуться для них иной стороной – трагической…

Сейчас юность жила одним – ожиданием.

– Хочу на Балтику, – мечтал Федя Артюхов.

Джек Баранов, грезя о глубинах океана, отвечал:

– Балтика? Но там же мелко… будешь на пузе ползать.

На что суровый Федя выкладывал, что думал:

– В луже ведь тоже потонуть можно, и дело не в этом. Балтика – мать флота российского, здесь и революция начиналась. А ты глянь на карту – сколько еще балтийских земель освобождать предстоит… Сколько десантов надо выбросить с моря!

Финикин упрямо стремился к Черноморскому флоту, так и лез в крымскую теплынь.

– О парилке мечтаешь? – гневался Игорь Московский. – Севастополь – верно, баня… Только кровавая баня!

– А ты куда желаешь? – спрашивали старшого.

– Вопрос надо обдумать… Еще не решил.

Севастополь и Кронштадт – они отзываются в сердцах юнг, как призывные удары тревожного колокола. Стремление туда, на Черное или на Балтику, скорее всего – по флотской традиции.

Коля Поскочин, подмигнув, однажды заявил классу:

– Поступило деловое предложение: всей бражкой рвануть на Эльтон и Баскунчак. Организуем там свою флотилию под названием «Не тронь меня, а я тебя и сам не трону!» Кто – за?

Джек Баранов отвечал Коле:

– Мальчик, ты не шути, а то мы тебе салазки загнем…

Теперь об этом можно рассказать без утайки – дело прошлое: никто из юнг не желал попасть на Тихоокеанский флот, где не было войны. Юнги отмахивались от Каспия и разных флотилий на реках. Честно говоря, не было охотников служить и в преддверье Арктики – на Северном флоте. Вот об этом Савка частенько и размышлял. За время войны колоссально выросло боевое и международное значение Северного флота. По сути дела, этот флот в боях вырабатывал новые традиции – освоение пространств и гигантских коммуникаций. Битва проходила во мраке ночи на длинной океанской волне, покрытой морозным туманом. Это была страшная битва без оглядки на спасение, когда любой результат боя складывался из неумолимой формулы «Смерть или победа!». Постепенно созрело решение.

– Я, – сказал Савка, – попрошусь на Север. Мне нравится этот край… Помните, как по радио выступали? «Кто сказал, что здесь задворки мира? Это край, где любят до конца, как в произведениях Шекспирра, сильные и нежные сердца!»

Финикин его выбора не одобрил:

– Охота тебе добровольно в такую холодрыгу соваться? Загонят на Новую Землю, и будешь там айсберг, как эскимо, сосать…

Но у Савки нашелся хороший защитник.

– Огурцов прав! – вступился Поскочин. – Балтика и Черное – это же две старинные бутылки с узкими горлышками. Пробка – и флоты запечатаны, как тараканы в банке. Наша армия берет сейчас такой разбег до Берлина, что в этих бутылках война вскоре закончится. Атлантика – вот где непочатый край! Именно на коммуникациях океана и будет главная борьба. Если уж говорить честно, – закончил Коля, – то Средиземное море тоже русское море! Два столетия подряд Россия имела в составе своего флота особые эскадры, которые так и звались – средиземноморскими!

Был очень жаркий день, и юнги наблюдали редкое явление рефракции. На горизонте, чуть ниже облаков, возник поднятый над морем большой город со старинной церковью. Высились портовые краны, возле лесопилок стояли под загрузкою корабли. Лейтенант Зайцев на уроке объяснил юнгам:

– Очевидно, это была Кемь на поморском берегу. Возможно, что и с материка в этот день могли видеть наш соловецкий кремль…

А потом роза ветров повернулась в хаосе циклонов, и над Соловками закружился обильный снег. Правда, солнце тут же растопило его и снова зачирикали птицы, но снежный буран в июне был примечателен, а Финикин стал поднимать на смех Савку:

– Вот тебе край, где любят до конца. Это здесь такая заваруха, а поближе к Шекспиру еще не так шибанет. Кусишь еще локоть.

– Я сквозняков не боюсь, – отвечал ему Савка.

Один Коля Поскочин помалкивал о своих планах.

– Конечно, – заметил четверочник Джек, – он же у нас отличник, ему все карты в руки. Любой козырной флот себе выберет.

Поскочин отвечал Баранову вполне продуманно:

– А я свои пятерки в карьеру запрягать не собираюсь. И не стану выбирать флот. И не стану выбирать класс кораблей. Я поступлю иначе: куда пошлют, туда и пойду.

Из роты радистов явился от Банного озера Мазгут Назыпов.

– У вас, – спросил, – дыма нету? А у нас дымина такой…

Где-то горел лес. От роты радистов огонь каким-то странным образом перескочил к озеру рулевых. Сначала думали, что виноваты курящие. Всех юнг собрали вместе.

– Товарищи, – выступил перед ними Аграмов, – безобразно, что вы не уважаете лес, приютивший вас. Я никогда не запрещал вам разводить костры в лесу. Но теперь, кажется, пришло время. Лес-то горит… то там, то здесь полыхает. Неужели так трудно затоптать костер и залить его? Курящие, наконец! Смотрите же, черт вас возьми, куда бросаете окурки…

Капитан первого ранга дал им всем крепкий нагоняй. Но, кажется, сделал он это напрасно. Юнги привыкли жить в лесу. Костры они, конечно, разводили до самых небес. Курящие бросали окурки. Но и костры и окурки юнги тщательно гасили. От них потребовали усилить бдительность, и они это сделали. Стали следить, чтобы никто не поджег лес по забывчивости. Но леса загорались сами собой. Ни с того ни с сего пошло трещать в сухостое. Со свистом обугливалась хвоя сосен.

– Это не мы! – волновались юнги. – Мы не поджигатели…

Савка испытал неприятный озноб. Как в ту проклятую ночь, когда с дырявой винтовкой в руках он стоял в карауле, а вокруг него потрескивал валежник – шлялся враг!

\* \* \*

 Хроника ТАСС (июль 1943 года)

 5 – немецко-фашистские войска начали наступление на орловско-курском и белгородском направлениях. За день боев подбито 586 танков противника…

 6 – на орловско-курском и белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 433 танка противника…

 7 – на орловско-курском и белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 520 немецких танков…

 8 – на орловско-курском и белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 304 вражеских танка…

 9 – на орловско-курском и белгородском направлениях за день подбито и уничтожено 223 танка противника…

 10 – на орловско-курском и белгородском направлениях советские войска отбивали многочисленные атаки противника. Подбито и уничтожено 272 немецких танка.

 Британские и американские войска высадились на острове Сицилия.

 15 – севернее и восточнее Орла Красная Армия на днях перешла в наступление, прорвала оборонительную полосу противника и взяла большие трофеи.

 17 – на орловском участке и орловско-курском направлении советские войска в наступательных боях продвинулись вперед.

 22 – ТАСС опубликовал опровержение сообщения германского информационного бюро о якобы произведенной 20 июля попытке высадки советских войск на норвежском побережье…

 25 – отставка Муссолини. Премьер-министром Италии назначен маршал Бадольо. Король Виктор-Эммануил принял на себя командование вооруженными силами.

 26 – на орловском направлении советские войска продолжали наступление.

Танковая битва на огненной Курской дуге закрепляла успех нашей армии.

– Когда же на флот? – волновались юнги. – Так мы к шапочному разбору едва поспеем… А когда ленточки? А когда погоны?

– Тиха-а! Все будет.

\* \* \*

Аграмов был удивительный человек. Уже пожилой капитан первого ранга, как говорится, без минуты адмирал, он не гнушался лично проводить с юнгами парусные занятия. Вот раздалось долгожданное:

– Весла шабаш! Рангоут ставить.

Сколько ошибок сразу совершили они! Гребцы правого борта должны левую руку взять под рангоут, а правой обхватить тело мачты. С левого борта – наоборот. Надо помнить, что движение часовой стрелки – главный ориентир в движении рангоута. Первый блин всегда комом, и попытка кончилась тем, что загребного Финикина юнги треснули мачтой по рыжей башке.

– Ой, зззвери! – рассвирепел он от боли.

Аграмов пока не вмешивался, только подал Финикину пятак:

– Остуди в воде и приложи. До свадьбы заживет. А на свадьбе расскажешь невесте, как тебя на флоте мачтой били…

Финикин опустил руку за борт, остужая пятак, но вода показалась ему теплой. Он сунул руку в море ниже локтя:

– Ой, вот где лед-то!

– А ты как думал? – ухмыльнулся Аграмов, наблюдая за возней юнг с такелажем. – Успевают прогреться только верхние слои моря. А в Баренцевом вода вечно ледяная…

Мачта уже вошла в степс, ее тело юнги прихватили к банке скобою нагеля. Теория и практика – вещи разные. Савка назубок знал вант-путенсы, банты и боуты, кренгельсы и люверсы. Но совсем иное дело, когда с этими названиями надо схватиться на практике. Ветер рвал штанги из пальцев, а сырая шкаторина паруса, обтянутая понизу тросом, больно стегала по лицу, полоскаясь на ветру с гулким хлопаньем, словно стреляла пушка.

– Скверно! – сказал Аграмов, закуривая папиросу и пряча обгорелую спичку обратно в коробок, чтобы не мусорить в море. – С такими успехами вам, ребята, не на флоте служить, а работать где-нибудь… в раздевалке!

Он приказал спустить парус, разобрать рангоут и зачехлить его, как было раньше. Дьявольская работа началась заново, но Финикина мачтой уже не огрели по голове – и на том спасибо. Аграмов заставил юнг проделать всю операцию с постановкой рангоута раза четыре подряд, пока не наловчились.

– На фалах! Паруса поднять… Выбрать фалы, черт бы вас взял! Осади галсы… Шкоты, шкоты держи! Не хлопай ушами!

На берегу шкоты – обыкновенные веревки. Но в море они ведут себя, как бешеные гадюки. Савка даже взмок, удерживая их, а Федя Артюхов сорвал ноготь, кровью забрызгал штаны. Сидеть под парусом на банках уже нельзя – когда поставлен парус, команда перемещается на днище. Капитан первого ранга убрал флаг с кормы.

– Разрешаю свистеть, – сказал он, меняя на руле румпель. – Старые марсофлоты свистом подзывали к себе нужный ветер и свято верили в чудеса…

Настал покой и тишина. Все примолкли. Каперанг ловко «забрал» ветер в парус, и шлюпка легла на борт. Легла столь круто, что вода, тихо журча, неслась вровень с лицами юнг. Лишь узенький планширь отделял их от морской стихии. Жутковато!

– А не перевернемся? – спросил Поскочин.

Аграмов глянул за корму, где – в дымах пожаров – уже давно терялся соловецкий берег. На глаз он измерил расстояние:

– Надеюсь, что доплывешь, если перевернемся! – И еще круче вывел шестерку на сильный ветер. – Сейчас полный бакштаг левого галса… Вы поняли? – спросил он юнг.

– Это мы знаем… – отвечали они. – Учили… как же!

Верхушки волн уже заплескивали шлюпку, бездна неслась возле самых губ. Можно было пить таинственную глубину, насыщенную рыбой, медузами и мраком. Из этой глубины, топорща усы, иногда выскакивали солдатиком пучеглазые тюлени…

Когда возвращались обратно, Аграмов приказал:

– Раздернуть шкоты!

Парус, вырвавшись из-под власти людей, сразу заполоскал бессильно, и шлюпка, потеряв ветер, остановилась. Солнце пекло сверху мускулистые спины. Даже сюда, в такую даль, залетали с материка слепни, и юнги били их на спинах звучными шлепками ладоней. Аграмов глянул за борт – дно моря уже смутно виднелось под ним.

– Каждый пусть нырнет и в доказательство того, что он побывал на грунте, пусть принесет мне в презент сувенир со дна моря…

Штаны сразу долой! С хлопаньем пробивая головами теплые слои воды, юнги вонзались в ледяное море. Савка испытывал блаженство. Плыли перед ним раскрытые красные зонтики медуз, и он, балуясь, ловил их руками. Было забавно видеть своих друзей, что рядом с ним сильными рывками уходили в глубину, и он тоже спешил за ними – на грунт! Что-то черное завиднелось… А-а, это кормится тюлень, рылом разрыхляя залежи придонной ракуши. Вот ползет, вся в иголках, пемзо-пористая звезда. Хвать ее! Теперь наверх… До чего же странно видеть над собой пузатое днище своей шлюпки. Выпучив глаза, юнги выскакивали из моря. У каждого в кулаке размазня – все раздавлено всмятку от нервного усилия при всплытии.

– У меня – во! – кричали. – А у меня – ил!

– Молодцы, – кивал им с кормы Аграмов. – Штаны вас ждут…

В очень сильный ветер юнг в море не выпускали. Боялись, как бы они не совершили поворот «оверкиль», иначе говоря, чтобы шлюпка не опрокинулась кверху килем. Но Аграмов, когда заваривалась штормяга, напротив, бросал ветру вызов. Ставил на шестерке паруса и в одиночку уходил на ней в открытое кипящее море… в гневно кипящее!

– Вот старик, – восхищались юнги. – Ему Нептун – родной дядя… Посуди сам: нас шестеро да еще старшина на транце. Всего четырнадцать рук. И то едва справляемся с такелажем. А он один, всего-то две руки, и не боится идти в такой ветер… Силен!

Они уже по себе знали, какой это адский труд, когда жесткая парусина становится разъяренной, а ветер выплескивает из рук острые шкоты, раня ладони до крови. Аграмов проделывал это всегда один, рискуя только своей жизнью… Юнги тревожились у костра. Дневальные по шлюпочной гавани всматривались в море:

– Ничего. Только пена летит… Где же он?

К ночи – прямо из шторма! – шестерка с одинокой фигурой каперанга на корме, обрушив паруса, с яростным шипением вылезала форштевнем на мокрый песок. Аграмов шагал на свет костра.

– Откачайте воду. Приберите рангоут. Я пошел спать…

\* \* \*

Юнги готовились к выпуску. Но и враг готовился сорвать выпуск специалистов на советские флоты. Теперь уже никто не верил, что леса горят по халатности юнг. Перестали бранить и курящих. Школа юнг задыхалась в дыму. Дымом пропитались вся роба и постели. Спишь, а в ноздри тебе, словно два острых ножика, вонзается дым.

Соловки полыхали в загадочных пожарах, возникавших всегда неожиданно и в самых различных местах архипелага. Прочесывание окрестных лесов с оружием ничего не дало: враг умело прятался.

Однажды на занятиях повторяли пройденный материал. Савка мечтательно смотрел в окно класса. Видел он там озеро, видел лес, растущий на другом берегу. Ондатры плавали, воздев над водою свои крысиные мордочки, а за ними реяли флажки белых бурунов, словно по озеру двигались подлодки под перископами… До чего же прекрасны соловецкие озера и как вкусна в них вода! А названия – просто дивные: Ягодное, Пустынное, Хлебное, Благодатное, У Креста, Палладиево, Осинка, Великопорточное… Ныряешь в такие озера, будто окунаешься в давние времена Руси.

Но… что это? Савка вскочил из-за стола:

– Смотрите! На том берегу огонь!

Теперь все видели. Стоял себе лес в тишине, все было спокойно, и вот он уже в огне. А рядом учебный корпус… Класс рулевых, словно сговорившись, одним махом отворил окна и попрыгал вниз. Один за другим – бултых в озеро и поплыли в робах. Пожар быстро разбегался вдоль берега, приближаясь к Савватьеву, и сначала было непонятно, как его тушить. Джек Баранов догадался:

– Снимай голландки! Забивай пламя…

Все дружно разделись, голые, босые, мокрыми робами захлестывали огонь, бегущий на них из чащи. При этом кричали:

– Бей, ребята! Туши! Тут кто-то был… Это поджог!

Пламя они сбили, не дали ему перекинуться к базе. Но чистых голландок было теперь не узнать – в руках остались черные, обгорелые лохмотья. Все в копоти, в ожогах, юнги медленно плыли через озеро обратно. Лезли прямо в окна в свою аудиторию, рассаживались по лавкам.

– Продолжаю, – сказал лейтенант Зайцев таким тоном, будто ничего не случилось, а просто юнги вернулись с перерыва. – Мы остановились на определении места корабля по крюйс-пеленгу…

Вечером в Савватьево прибыл грузовик-полуторатонка.

Росомаха велел своему классу грузиться в кузов. Стоя, обняв друг друга за плечи, юнги приехали в Гавань Благополучия, где у причала пыхтел движком «СК-619» под зеленым флагом морпогранохраны. Это был мотобот с сильным дизелем, до войны он ловил треску и палтуса, с его борта охотились во льдах на тюленей зверобои. Теперь в его рубке юнгам предстояло испытать себя в вождении корабля по курсу. Для размещения класса юнгам отвели трюм размером с небольшую комнату. Нечто вроде ящика с запахом рыбы, куда рулевые и раскладывались для сна в тесноте, как сельди в бочке.

Мотобот сутками околачивался на малых оборотах возле каменистых луд, поросших леском. Качало там – на стыках течений – здорово. Савка по краткому опыту мореплавания на «Волхове» уже знал, что принадлежит к той несчастной породе людей, которых бьет море. Это его страшно огорчало, но он решил не сдаваться. «Флот есть флот, и его назначение – бой на море… В море – дома!» – твердил он себе высказывания прославленных адмиралов.

Поздно ночью в просвете люковицы, на фоне звездного неба, появилась мичманка Росомахи с длинным козырьком («шапка с ручкой», говорили о ней юнги).

– Огурцов, – позвал старшина, – давай к штурвалу…

Савка с трудом, словно краб из камней, выкарабкался из груды спящих тел. Когда за ним захлопнулась дверь каюты, матовая желтизна картушки компаса успокоила его сразу. Рукояти штурвала были так отполированы, что ласкали руки. Командир «СК-619» в скромном звании младшего лейтенанта угрюмо буркнул курс, и юнга погрузился в трепетное свечение румбов. Странно, но это так: ведение корабля не показалось Савке захватывающим делом, он даже малость расстроился от этой будничности. Через два часа его место за штурвалом занял Федя Артюхов, который от своей вахты на руле был в диком восторге… У каждого свое восприятие!

Зачет по вождению принимал от юнг сам командир «СК‑619», никому не знакомый и сам никого не знавший. Для него все юнги, видать, были на одно лицо – одинаковы, как снаряды одного калибра. Он упростил свою задачу, устроив для юнг нечто вроде конвейера: отстоял – следующий! Не будучи педагогом, этот офицер выставил всем юнгам подряд «отлично», что самим же юнгам здорово не понравилось… Покидая кораблик, они говорили:

– За что пятерка? Неужели мы такие мастера водить по курсу? Ведь вели-то плохо – много «рыскали»…

Теперь, когда юнги слегка оморячились, среди них появились модники, никак не согласные со стандартом брючного клеша. В защиту широкого клеша они приводили весьма веский довод:

– Клеш – не роскошь, а необходимость. Для чего, спрашивается, во всем мире шьют морякам широкие брюки? Самим покроем они приспособлены для быстрого снимания их в воде. Никаких ширинок с пуговицами – один клапан. Если матрос упал за борт, клапан открывается, а клеши, намокнув и отяжелев, своим ходом снимаются с моряка и тонут. А попробуй-ка ты в море стащить с себя узенькие брюки – не получится! Захлебнешься и потонешь, как дурак, в штанах!

Старшины обычно вшивали в брюки клинья. Но юнгам для клиньев сукна взять было негде. Поступали иначе. Из фанеры вырезались особые шаблоны. По вечерам брюки спрыскивались водой и что есть силы натягивались на фанеру. С каждым днем брюки, растягиваясь, становились все шире и шире, а сукно их по низу брюк все тоньше и тоньше. Скоро через такие клеши можно было читать газеты!

Росомаха, находя у юнг шаблоны, с треском ломал их на колене:

– Фасон ваш – до первого коменданта. Пропишет он вам по первое число… Фордыбачите, ребята, по младости лет.

Юнги за шаблоны не обижались, но возражали идейно:

– А матросы революции? Сами же видели «Мы из Кронштадта», вот там клеши. Комендант тоже должен понять, что «дудочки» хороши на берегу, а не в море…

Последние минуты перед сном посвящались рассказам. На этот раз в роли новеллиста выступал сам старшина Росомаха.

– Вот слушайте, орлы! – сказал он. – Когда я перед войной проходил службу в Севастополе, был там комендант… Зверь, а не комендант! Если на какой барышне увидит морскую пуговицу с якорем, обязательно спорет, хоть она изревись. О клиньях мы в Севастополе и не мечтали. Бритву носил при себе. На улицах клеши матросам порол от паха до щиколотки. А после отведут в портновскую к Самуилу Шмейерзону (был такой, все матросы его знали), чтобы разрез зашил. Еще два рубля за работу отдай! Но вот однажды московский скульптор вылепил для Севастополя памятник матросам-черноморцам, павшим за революцию. Вылепил как надо: бескозырки набекрень, клеши – юбками, бушлаты нараспашку, а на лоб каждого свисает громадный чуб. Ладно! Построили гарнизон, играл оркестр, говорили нам разные речи, а мы кричали «ура». Сдернули с памятника покрывало. Комендант посмотрел – нарушена форма одежды – и сказал командующему флотом так: «Или я – или они!»

– И убрали памятник? – охали юнги. – Или самому коменданту по шапке надавали?

– Все осталось на месте. Но командующий флотом вызвал из Москвы скульптора. Дико ругаясь, тот отпилил матросам чубы, стамеской обкоротил им клеши, а бушлаты застегнул на все пуговицы. Памятник сразу стал хуже, зато комендант успокоился… Так устав победил творческое вдохновение! Спите.

\* \* \*

Разнеслась весть, что ночью в Гавань Благополучия вошел транспорт, доставивший на Соловки юнг второго набора, которых временно разместили в кремле, но скоро приведут в Савватьево. Эта новость еще раз подтвердила, что юнги первого набора скоро пойдут на флоты, освободив свои кубрики и классы для новичков. Теперь все зависит от того, как ты сдашь экзамены: хорошо сдашь – любой вымпел взовьется над твоей головой! С учебниками уходили юнги подальше в лес, еще задымленный после пожаров, облюбовывали для себя мшистую кочку помягче, чтобы сидеть на ней, как на пуфе, и начинали повторять все заново. Заодно подкармливали себя сочной лесной малиной, черникой и брусникой. Над остриженными головами юнг буйно вспыхивали яркие бутоны дикого шиповника…

– Пить хочется, – сказал однажды Савка.

Вместе с Поскочиным он спустился к ближнему озеру.

Нагнулся к самой воде и вдруг вскрикнул:

– Смотри, Коля…

Возле берега, оскалив крохотные зубки, лежала мертвая ондатра. Поскочин взял ее за хвост и поднял над собой, разглядывая.

– От такой шкурки никакая барыня не откажется. Шкурок тридцать-сорок – и шуба готова для аукциона.

– Брось дохлятину! Как тебе не противно?

– Она же водяная, чистенькая. Хорошие существа эти канадские крысы. Мне ее искренно жаль… Знать бы – отчего она умерла?

Савка поднялся с колен, пить не стал.

– Пройдусь дальше, там и попью…

Отошел в сторону и только было прильнул к воде, как Поскочин, забежав сзади, рванул его от берега за подол голландки.

– Не надо, – сказал он.

– А что?

– Лучше не стоит. Потерпи до кубрика.

– Ты думаешь о крысах?

– А мы ведь не знаем, отчего умерла ондатра. Там еще одна лежит в камышах… Тоже умирает, бедняга.

В этот день, возвращаясь после обеда с камбуза, Федя Артюхов, самый здоровый парнюга в классе, вдруг побледнел, осунулся.

– Что-то у меня не все в порядке… вот здесь.

– Болит? – спросил его Росомаха. – Переел, наверное.

– Да я могу и больше съесть, а это другое…

Роту на марше встретил лейтенант Кравцов, как никогда, сияющий улыбкой и сверкающий пуговицами.

– Итак, – объявил он юнгам, – готовьтесь к экзаменам. На этот раз – решающим, государственным! После чего вам вручат дипломы рулевых-сигнальщиков. Прочувствуйте ответственность и помните: в школе двойка – скандал дома и папа с ремнем; двойка же в Школе юнг – скандал на корабле и, может быть, военный трибунал. На флоте ваша неуспеваемость грозит обернуться трагедией корабля.

Пощелкал кнопкою перчатки. Сенсацию приберег для конца:

– А сегодня вам будут выданы погоны…

– Урра-а! – подхватили юнги.

– Погоны и… ленточки! – добавил Кравцов.

– Уррррр-а-а…

С погонами юнги смирились сразу же. Черные квадраты, на которых отштампована одна лишь буква «Ю». Это вполне устраивало всех, только погоны не были окантованы. Но старшины объяснили:

– Кант не положен. Ишь чего захотели! Погоны с белым кантом присвоены курсантам высших училищ… не чета вам!

Потом в роте состоялось построение. Торжественно поднялся на пригорок лейтенант Кравцов, возле него под деревом установили стол, а на столе разложили связки новеньких ленточек – для каждого класса по связке. Еще издали юнги видели, как на черном репсе благородно загорается огненное золото букв… Все невольно волновались: что там написано? Кравцов взял в руки одну из лент и растянул ее, всем показывая. Надпись на ленточке была такова:

 Школа юнгов ВМФ

Какой-то грамотей неправильно написал слово «юнг». Но сначала все заметили другое – Кравцов держал ленту слишком коротенькую.

– Посмотрели? – спросил он. – А теперь маленькая подробность. Лента укорочена. Косиц, как у матросов, вам иметь не положено…

Рота нестройно загудела. Кравцов продолжал:

– Вместо косиц юнгам флота присвоен бантик!

Раздался стон – это стонала вся рота. С озера Банного слышался гвалт – там, видать, из-за того же возмущались радисты.

Лейтенант еще не закончил своей речи.

– Бантик, – пояснил он, – вяжется на бескозырке не сзади, не на затылке, а сбоку… вот здесь. Возле правого виска!

Старшины вручали ленты, юнги брали их с оговорками:

– Мы же не пай-девочки, на что нам этот бантик?

– Догадались мудрецы, нечего сказать.

– Стыдно на людях с бантиками показаться.

– Гогочку из меня делают. Без косиц нет фасона…

С пригорка распоряжался командир роты:

– Старшины, разводите классы по кубрикам и сегодня же покажете товарищам юнгам, как правильно завязывать бантики…

Расходились как оплеванные. Поскочин сказал:

– Черт с ними, с этими бантиками! Но как ходить, если у тебя на лбу золотом горит грамматическая ошибка?..

Перед Росомахой предстал Федя Артюхов:

– Товарищ старшина, не хотел бы портить праздника, но и терпеть больше не в силах… Уж такое дело! Извините меня…

– Да что с тобою? Краше в гроб кладут…

Артюхов был нехорош, его скрючило в дугу. Он не стал пришивать погоны на фланелевку, в руке безвольно болталась ленточка.

– Ни до чего мне сей день! Не могу… больно.

– А до гальюна ходил?

– Кто же там не бывал? Только святые… Тащите в санчасть. Стыдно сказать, но самому, кажется, не доползти… Не повезло!

Федю увезли в Савватьево, а в роте рулевых допоздна не смолкал галдеж, заглушаемый прокуренным басом Витьки Синякова:

– Что-о? Мне-е? Ба-а-антик!

Утром в роте многих недосчитались. Выяснилось, что юнговская Бутылка всю ночь напролет бегала между ротами и Савватьевом, отвозя в санчасть внезапно заболевших юнг.

– А что с ними?

– То же самое, что и с нашим Федей Артюховым…

\* \* \*

Выпуск близился, и флоты наплывали на них, издали подымливая перегаром угля, гулким выхлопом мазута и бензина. Пристрастие юнг к тем флотам, которые они облюбовали для себя, выражалось последнее время даже в песнях. Поклонники Черноморского флота заводили:

Севастополь, Севастополь —

Город русских моряков…

Не сдавались им сотни мечтающих о мглистой Балтике:

Кронштадт мы не сдадим —

Моряков столицу…

Маленький хор североморцев постепенно тоже крепчал:

Мы в бой идем за отчий край —

За наше Баренцево море!

Выпуск близился, и враг его почуял. Не удалось ему сорвать учебу пожарами – он пошел на преступную диверсию. Фашисты провели нечто вроде локальной бактериологической войны – отравили соловецкие озера! Расчет простой: идет юнга по лесу; ему жарко, обязательно напьется из ближнего озера. Берега покрылись тушками мертвых ондатр, которые первыми испытали на себе силу яда. Отравленные зверьки плыли к берегу и, беспомощные, жалкие, умирали в камышах. Савватьевский лазарет был уже переполнен до отказа, когда по дороге из кремля потянулись в Савватьево колонны юнг нового – второго! – набора. «Старики» встречали «молодежь» на шоссе:

– Москвичи есть? – окликали. – Ну, как Москва?

– Строится… повеселело!

– Горьковчане? Ярославские? Какова там житуха?

– Ничего. Ждут, когда война кончится…

Пополнение временно распихивали кого куда. Еще не спаянные воинской дисциплиной, юнги нового набора сразу попали под удар эпидемии. Кажется, противник и выжидал, когда перенаселенность в Савватьеве создаст антисанитарные условия, чтобы покончить со всеми юнгами сразу. Неизвестно, какую отраву забросили диверсанты в озера. Возможно, враг не учел то важное обстоятельство, что большинство соловецких озер соединено проточными каналами. Надо полагать, что течения – через эти каналы! – рассосали заразу по другим водоемам. Так что юнги получили отравление в меньшей степени, нежели рассчитывали враги. В этот трудный для Школы юнг период капитан первого ранга Аграмов выглядел сильно постаревшим, озабоченным судьбою своих питомцев. Кажется, эпидемия не миновала его самого и его семьи, но Аграмов не слег.

– Экзамены сдадим в срок! – объявил он юнгам.

Савватьево замкнули в блокаде карантина. Лазарет уже вынес свои койки под открытое небо. Клуб тоже вплотную заставили койками. Однако настроение у юнг было отличное, и они рассуждали:

– Не помираем же! Так чего психовать напрасно?

– Нам поносы нипочем – мы по носу кирпичом!

К новым юнгам «старики» относились покровительственно:

– Мы оставляем вам хозяйство на полном ходу. Таких землянок, как у нас, еще не бывало в мире. Это подземные дворцы! Вам уже ничего строить не предстоит, только учись. А поломались бы столько, сколько нам пришлось в прошлом году…

Прибывшие с гражданки новые юнги кидались на казенную еду так же алчно, как кидались на нее когда-то и «старики».

– Ничего, – утешали их. – Это у вас пройдет, как и у нас прошло. Даже в мисках оставлять будете. Кошек разведете…

Невзирая на эпидемию, начались экзамены. Выпускные. Самые ответственные. Отчет перед флотом, перед государством. Юнги сдавали экзамены, словно в шторм, – волна накатывала на другую. Один поток отчитается в знаниях – и в лазарет! Назавтра тянут билеты те юнги, которые только вчера из лазарета выбрались. Савка Огурцов не отличался крепким здоровьем, но – странное дело! – болезнь его миновала. Было в классе Росомахи еще человек десять, которых общее поветрие не задело. Вряд ли они чаще других мыли руки – просто случайность! Правда, врачей в Савватьево понаехало – пропасть: не успевали уколы делать, а на камбузе каждую миску оглядят – чисто ли вымыто? Припахивало карболкой и хлоркой в те дни. Но жизнь Школы юнг продолжалась по графику.

В воздухе уже повисли тонкие паутины – вестники близкой осени. Из кремля доходили слухи, что мотористы сдали экзамены. Приемная комиссия работала спокойно, но строго. Пятерки давались юнгам с большим трудом, но Савка от экзамена к экзамену шагал на одних «отлично», как и Коля Поскочин, Джек Баранов и Федя Артюхов выплывали в моря на четверках. Финикин скромно плелся на малых оборотах – троечки! Двоек ни у кого не было.

Враг просчитался: первый в СССР выпуск юнг состоялся точно в срок, не позже!

Осталось взять последний барьер – распределение на действующие флоты. Вот тут у каждого обрывалось сердце. Повезет ли?

– Я так и скажу: хоть режьте, только на Балтику!

– Мне подводные лодки, – бушевал Джек Баранов. – Пусть угроблюсь в первом же походе, но мечта должна осуществиться.

– Мне бы на Черное… Неужто не уважат?

Ждали приезда особой полномочной комиссии. Члены этой комиссии объективны и беспристрастны. Не зная юнгу в лицо, делают о нем выводы только по его успеваемости, по документам личного дела. Правда, эта комиссия не касалась назначения на корабли – ее дело проще. Вот картина страны, вот театры флотов. Но существует еще тыловая Каспийская флотилия… Кого куда?

Юнги всеми правдами и неправдами добывали себе репс для создания косиц. Бантики их не устраивали. Счастливцы, раздобывшие репс, прилаживали к бескозыркам косицы. Оторвать бантик совсем они не имели права, это сразу было бы замечено. Юнги поступали хитрее. При наличии бантика они носили косицы на макушке, прикрыв их сверху бескозыркой, так что со стороны ничего не видно. Но вот отвернулось начальство, юнга вскинул бескозырку и косицы сразу разметал ветер.

Росомаха и Колесник, предчуя близкую разлуку, были печальны и делали вид, что обмана с косицами не замечают.

– Жаль, – говорили старшины. – Вот уедете, а нам все начинать с самого начала. Вас-то мы уже знаем как облупленных. Каково-то будет с новыми… Может, понаехали какие хулиганы?

– Нам пишите на флот. На денек заскочим на Соловки и по старой дружбе к вам набьем салажню по всем правилам.

– Вы набьете… как же! Ищи вас потом, как ветра.

– Даешь флот! – слышалось по вечерам от шумящих рот.

И флот им дали.

\* \* \*

Комиссия начала распределение с боцманов торпедных катеров. Первым по учебе в этом классе был Мишка Здыбнев, и вся Школа юнг была поражена, когда он сам попросился на Северный флот.

– Ты же отличник! – говорили ему. – Круглый отличник!

– А это не значит, что я круглый дурак, – отвечал Мишка. – Не беспокойтесь: выбрал самое лучшее. Вы мне еще позавидуете…

Последним в классе боцманов по учебе и дисциплине был Витька Синяков, которому тоже выпал флот Северный. Таким образом, сразу же выявилась неожиданная тенденция: на Северный флот попадали или неуспевающие, или, наоборот, отличники учебы, идущие в туманы и штормы добровольно – по зову чистого сердца.

Затем комиссия взялась за радистов. Много юнг запросил Черноморский флот, и теплые бризы уже пронеслись над ними. Радистов требовала строгая Балтика – и ее цепенящие ветры обдували юные лица.

Двадцать радистов отъезжало в Ярославль:

– На переподготовку. Берут с отличным знанием техники, но слабых на слух. Обещают переучить на радиометристов.

– А что это такое?

– Радиолокатор… радар. Понимаешь?

– Нет. Не понимаю.

– В кино был, невежда? Ну, это как кино. Смотришь на экран и видишь точку. Она ползет, как вошь… Эта точка – противник!

Прекрасный слухач, рекордсмен школы по быстроте передачи, Мазгут Назыпов тоже избрал для себя Северный флот. Тут юнги столкнулись с особой практичностью.

– Флот везде флот, – говорил Мазгут после распределения, – а до Мурманска ехать короче. Знаете, как сейчас в дороге? И стоять подолгу приходится, и кипятку на станциях нет… А тут – шарах! – и через день я проснулся уже на флоте…

Наконец комиссия стала шерстить рулевых.

Финикин носил в кармане орех-двойчатку на счастье.

– Я верю в свою судьбу, – говорил он.

– Валяй, верь, – отвечал ему Поскочин…

Джек Баранов шлепнул Колю по спине, прямо по гюйсу:

– Чего загрустил, философ?

– Я грустно-радостный, пишется через дефис, – сказал Коля. – Радостный, что иду на флот. А грустный, что расстаемся…

– Флоты разные, но страна одна – встретимся!

– Этот вопрос остается для нас открытым, – отвечал Поскочин. – Не будем, ребята, забывать, что мы разъезжаемся не по домам из пионерлагеря. Мы едем сражаться, и правде надо смотреть в глаза… Все после войны мы собраться уже не сможем!

Двери навигационного класса, где заседала комиссия, вдруг распахнулись, и в коридор выглянул незнакомый капитан второго ранга.

– Товарищ Финикин… есть такой? Прошу в кабинет.

Сжимая в кулаке орех-двойчатку, Финикин исчез.

– Первый блин жарится, – заметил Артюхов.

Надзирательный «глазок» был предусмотрительно забит деревянным клином, чтобы юнги из коридора не могли подсматривать за своими товарищами. Игорь Московский приник ухом к скважине замка.

– Что там? – теребили его. – О чем говорят?

– Рыжий что-то о климате им вкручивает. Тепла ищет.

– Что он хоть просит-то у комиссии?

– Подлейшим образом на здоровье свое жалуется…

– Мерзавец! – озлобился Артюхов. – Ему, сквалыге, в Сочи да Пицунду хочется, а сам из трояков не выгребался.

Весь в мелком поту, будто уже опаленный южным зноем, из класса вдруг мешком вывалился в коридор ослабевший Финикин.

– Труба, – сказал он, прислоняясь к стенке.

– Какой флот достался тебе?

Финикин с трудом отклеил себя от стены.

– Каспий, – вздохнул он, – еду в Астрахань.

Поскочин даже завыл:

– У-у-у, пыли там наглотаешься, как на вешалке!

Артюхов сунул к носу Финикина здоровущий кулак.

– Домудрился? Хотел где потеплее, чтобы ватных штанов не таскать? Вот и заблатовался в самое пекло. Будешь с канонеркой торчать в Кара-Богазе, куда воду из Красноводска танкером завозят…

Финикин молча пошел прочь… Это уже отрезанный ломоть.

– Все справедливо, – заметил Московский.

Выкликнули Артюхова, и через минуту он выскочил в коридор, сияющий, ликующий! Лез целоваться, нежничал:

– Есть Балтика! Даже не просил – сами назначили…

Федю в классе любили, и все радовались за него.

Вызвали Колю Поскочина, держали за дверями очень долго. Слышался смех членов комиссии. Юнги в нетерпении подпирали стенки.

– Наш философ потравить обожает… заболтался там!

Поскочин вышел в коридор удивительно невозмутимый.

– Выбор сделан вне моего влияния. Вы же знаете, я просить не стану… Комиссия сама решила за меня – на Север!

Савка расцвел и обнял его:

– Как это хорошо! Мы будем вместе…

– Ты же в комиссии еще не был.

– Но я уже решил, что на Север… только на Север!

От дверей объявили:

– Юнга Баранов, просим пройти в кабинет…

Джек вдруг весь сжался, напружинился.

– Любой флот! Только бы на подплаве…

С этим и скрылся за дверью. Юнги обсуждали его мечту:

– Подлодки – это фантазия, а насчет флота Джек выбирать права не имеет. У него махонький троячок по метео затесался. Гул голосов в аудитории вдруг прорезало тонким всхлипом.

– Никак разревелся наш Джек Лондоненок?

Баранов выбежал в коридор – весь в слезах.

– Тихоокеанский? – спросили его.

– Хуже, – отвечал он, горько рыдая.

– Так что же хуже-то?

– Записали на Волгу… А я так мечтал… Хана мне, братцы!

Подходили юнги из другой роты, спрашивали тихонько:

– Чего это с ним? Или умер у него кто?

– Да нет. Все живы. А его на речку запекли.

– Ох, бедняга! Пусть плачет. Может, море и выплачет.

– Да не верят слезам нашим. Им пятерки подавай…

– Жаль парня, – расходились чужаки. – Обмелел он крепко.

Росомаха увел Джека за собой, дал ему свой носовой платок.

– На реках, – утешал, – тоже войнища. А реки и в Германии есть. Вот Одер, вот Рейн… всю Европу проскочишь, а войну закончишь на набережной в Берлине, где Гитлер мечтал в лунные ночи!

– На чем проскочу-то? – убивался Джек, плача.

– На бронекатерах… на чем же еще?

– Я подводные лодки хоте-е-ел… чтобы мне погружаться!

Артюхов толкнул Савку к дверям:

– Или не слышишь? Тебя зовут.

Савка шагнул в аудиторию, представ перед комиссией.

– Ленинградец? – спросили его. – А кто там из родни?

Савка подробно рассказал про свою бабушку все, что знал.

– Отличник? – Офицеры за столом комиссии переглянулись, отложили Савкино личное дело в сторону. – Думается, что с этим товарищем осложнений не возникнет. Ему прямая дорога на Балтику.

– Нет! – ответил им Савка.

– Севастополь? – спросили его, улыбаясь.

– Не надо мне ни Кронштадта, ни Севастополя… Хочу Полярный! Пожалуйста, очень прошу, пишите меня на Северный флот.

– Учти, – отвечали ему, – что Ленинград ты сможешь повидать лишь после войны. Отпусков не будет, а флот в Заполярье очень грозный флот… Там тебе будет нелегко, даже очень трудно!

– Это я знаю, – ответил им Савка.

Через несколько дней ему встретился Аграмов.

– Хвалю! – сказал кратко. – Служа на Северном флоте, ты очень многое повидаешь. Больше, чем где-либо. Ты меня понял?

– Так точно.

– Гирокомпасы по-прежнему любишь?

– Даже еще больше.

– Иди.

– Есть!

В своем выборе Савка не был одинок. Сознательно избрали для себя Северный флот многие. Пряников от судьбы они не ждали. Будут штормы, ломающие корабли, как сухие палки. Будут туманы, когда «молоко» сбивается в «сметану». Будут морозы, от которых корабли принимают вид айсбергов. Долгая арктическая ночь нависнет над их мачтами.

Коля Поскочин сказал правильно:

– Чем труднее в юности, тем легче в жизни. Надо понимать!

\* \* \*

Через несколько дней – первая команда:

– Черноморцы и азовцы – становись!

На этот раз – с вещами. Прощай, Соловки…

Все давно ждали этого волшебного момента, но счастье омрачалось болью расставания. Увидят ли они когда-нибудь эти прекрасные леса, блеснет ли им в ночи совиный глаз маяка на Секирной горе?

Последние слова, последние напутствия.

– Тихоокеанцы и амурцы, выходи строиться!

Этих мало. Они понуры и подавлены тем, что, подготовившись к войне, на войну не попадут. Пошел маленький дождик. Аграмов, в кожаном пальто, беседовал с каждой группой отъезжающих, утешал недовольных, желал счастливым доброго пути. Наконец выкликнули:

– Балтийцы, с вещами на построение!

Федя Артюхов вскинул на плечи мешок:

– Ну, вот и стал я балтийцем. – Он постоял напротив тех, кого еще не звали с вещами.

– Североморцы! – сказал им Артюхов. – Может, еще свидимся. А может, и нет. Прощайте на всякий случай, ребята… Я пошел!

Савка проводил глазами его рослую фигуру, нечаянно подумав: «Скоро он будет в Ленинграде». И что-то кольнуло в сердце: «Может, напрасно я на Север?» Но тут же он отогнал эту мысль прочь: «Я прав, недаром меня и Аграмов одобрил». Трижды вспыхнули песни уходящих и угасли за Секирной горой. Балтийцы ушли.

Теперь все ушли, а оставшиеся огляделись.

– Как мало нас, ребята!

Да, немного. Человек двести. И в любого ткни пальцем, обязательно попадешь в североморца.

Они часто спрашивали:

– Всех отправили, а когда же нас?

– Потерпите, – отвечали им. – Сначала отправляем тех, у кого дальняя дорога. А вам-то, североморцам, ехать – пустяки…

Делать было нечего. Пока они вольные птицы. Ни нарядов, ни приборок, ни занятий. Трижды в сутки сходи на камбуз, а весь день гуляй. Но гулять было невмоготу.

Юнги устали ждать.

– Ждите! Скоро в кремль придет транспорт за вами.

Савка с Поскочиным сидели на скамеечке возле учебного корпуса, когда из-за леса донеслось такое знакомое:

– Ать-два, ать-два… Нож-ку! Не стесняйся поднять повыше!

– Росомаха ведет своих гавриков, – догадался Коля.

Показался небольшой отряд юнг второго набора, старательно бивших по лужам новенькими бутсами. Рядом с ними, следуя по обочине, с кочки на кочку прыгал молодцеватый Росомаха, орлиным оком высматривая непорядки в шеренгах.

– Рука до бляхи! – поучал он молодняк. – После чего отводится назад под сорок пять градусов. Ать-два, ать-два!

– Старается, – сказал Савка. – В науку вгоняет.

Старшина подошел близко, и юнги встали перед ним.

– Ну, как новая публика? – спросил его Коля.

– Публика что надо. Что ни скажу – все делают. Не как вы, бывало, грешные. Но зато с вами, кажется, было повеселее… – Старшина повертел в руках кисет, на котором Танька вышила ему целующихся голубков. – Кажется, я женюсь на этой самой, – признался Росомаха. – Да, вот такие дела. Может, закурим?

– Спасибо. Неженатые и некурящие.

– Везет вам, ребята! – Росомаха крутил себе цигарку, не зная, что сказать юнгам в разлуку. – Ладно. Так и быть. Приглашаю вас после войны в Киев. Покатаю на речном трамвае. Без билета, конечно. Зайцами! В буфет зайдем, посидим. И вообще культурно проведем время. Ну, будьте счастливы! Не балуйте…

Он ушел к своим новым гонгам, а Савка фыркнул:

– Нашел чем соблазнять. Зайцами на речном трамвае.

Коля Поскочин вдруг зло блеснул на него глазами.

– А ты ничего не понял? – спросил он. – Росомаха ведь полюбил всех нас. Хотел найти хорошие слова. Но волнуется человек, вот и ляпнул про этот трамвай. Надо понимать людей… Если останусь жив, – закончил Коля, – я навещу его в Киеве. Пускай он катает меня себе на здоровье. Мне-то на трамвай плевать, но ему будет приятно…

– Верно, – согласился Савка. – Так ведь я разве спорю? Мужик он хороший. Зря мы нервы ему понапрасну трепали.

Издалека послышался печальный надрыв запоздалого горна. Горнист выпевал сбор.

– Пошли. У меня даже сердце заколотилось.

– У меня тоже, – сознался Коля. – Это нам…

Последовала быстрая перекличка. Североморцы отвечали сорванными от волнения голосами: «Есть! Есть! Есть!..» Вещи уже в руках. Какие там вещи у юнги! Казенное бельишко. Пара учебников. Куски мыла. Не обжились. Специально для проводов североморцев прибыл оркестр. Пожилые матросы-музыканты продували для марша трубы, опробовали звоны тарелок. Щедровский вышел из штаба, произнес речь о славных традициях русского флота, о верности долгу и Родине. Он закончил словами:

– Высоко несите по морям гордое звание юнги!

Солнце уже садилось. Блеснула медь духовых труб, юнги тронулись, все вокруг наполнилось торжественной печалью, а гигантская труба геликона еще долго выговаривала за лесом: «Будь-будь… будь-будь!» На электростанции прокудахтал им в расставание движок дизеля. В конюшне прощально заржала родная юнговская Бутылка. Вот и баня. Вышла оттуда распаренная, как свекла, Танька с веником и тазом. Была она в синем берете и тельняшке.

– Поклон защитникам отечества, – пожелала она. – Понапрасну-то под пули не суйтесь…

Витька Синяков крикнул ей на прощание:

– Ты хоть новеньких-то на сахаре не обвешивай…

Юнги переговаривались, что Аграмов не вышел на их проводы.

– Не заболел ли старик?

Вдали уже была видна крутая лестница, ведущая к маяку на Секирной горе. Капитан первого ранга ждал юнг на дороге. Он поднял руку.

– Вы, – сказал он им, – уходите последними. А на флот вы, североморцы, прибудете первыми. Ехать всего одну ночь. Товарищи юнги… дети мои! – нашел он нужное слово. – Вся большая жизнь лежит перед вами. Большая – как море. Как море! Я, старый офицер русского флота, низко кланяюсь вам…

В глазах Аграмова блеснули слезы. Он и в самом деле поклонился юнгам и велел двигаться дальше. Юнги часто оборачивались назад и долго еще видели начальника школы. Аграмов не уходил, глядел им вслед. Что он вспоминал сейчас, этот пожилой человек? Может быть, юность и кровавую пену Цусимы?

Он провожал на битву юное поколение – юнг.

У них не было прошлого – они уходили в будущее!

\* \* \*

Джек Баранов ехал до Сталинграда заодно с партией черноморцев и даже не попрощался с классом. Перед отъездом он прятался от товарищей, словно служба на реках поставила на нем позорное клеймо. Бедный Джек! Как он убивался, как плакал. Не знал он тогда своей судьбы…

Начав боевой путь на Волжской флотилии, Джек затем форсировал Днепр. Его бронекатер в громе пушек прошел вверх по Дунаю, брал Измаил, штурмовал Будапешт и Вену. В семнадцать лет Джек Баранов уже самостоятельно командовал кораблем – его пулеметно-десантный глиссер с Одера расшибал в Берлине окна и амбразуры, в которых засели фанатики с фаустпатронами. Особые заслуги Джека перед флотом были учтены, и в восемнадцать лет он стал младшим лейтенантом. А после войны началась настоящая учеба.

Подтвердилось, что реки впадают в океан! Мечта Джека Баранова о подлодках исполнилась неожиданным образом. Сейчас он в звании контр-адмирала. Савва Яковлевич сказал мне, что недавно виделся с Барановым.

– Жалуется старик! Здоровьишко уже не то. Мотор барахлить начал. Вспоминали мы с ним то время, когда моторы работали безотказно. Джек и сейчас стрижется наголо, словно он по-прежнему юнга… А у него уже сын – лейтенант. Вот сын попал на подводные лодки!

\* \* \*

Рассвет застал их на борту транспорта «Карелия». Когда на горизонте стал исчезать конус Секирной горы, Коля Поскочин, необычайно серьезный, снял бескозырку, сказав:

– Смотрите, ребята! Это мы видим в последний раз. И помните, что здесь мы были по-настоящему счастливы.

– Мы еще будем счастливы, – отвечали ему юнги.

– Будем, – согласился Коля. – Но уже совсем иначе, не так, как здесь.

Плыли мимо них каменистые луды, на которых паслись коровенки, да кое-где вилась над островами струйка дыма одинокого рыбацкого костра. Был теплый день. Тяжелый транспорт почти не качало, и на душе каждого было легко. Скоро перед юнгами открылся город, раскиданный по холмам…

– Чудеса! – сказал Савка. – Где же я видел этот город?

– Я тоже его видел. Словно во сне…

Это была Кемь, и тогда они вспомнили, что явление рефракции однажды как бы подняло этот город над морем, юнги из Савватьева наблюдали его повисшим вровень с облаками…

Высадились! Так странно было встретить в городе гражданских людей, мужчин без формы, женщин и детей. Во всем чуялась большая нужда и общая неустроенность военного быта. Жители с удивлением оглядывали невиданных моряков, на погонах «Ю», а на бескозырках бантики.

– Кто же вы такие? – спрашивали кемчане нараспев.

– Мы юнги… юнги флота.

– Эка новина! Про таких мы не слыхивали…

Юнги шли через город, бескозырки у всех имели уставной креп на правый борт. Еще в кремле им выдали сухой бортпаек: хлеб, сало, банку тушенки на троих. Вещевые мешки на спинах юнг явно обрисовывали это сказочное по тем временам богатство – горбыли буханок, острые края консервных банок. Иногда кемчане их окликали:

– Хлебца нету ли, товарищи хорошие?

Поскочин скинул с плеча мешок. Распатронил его тут же:

– Я не могу… отдам! Мы ведь сытые, а ехать нам недалеко.

Вслед за Колей отдал людям свою буханку хлеба и Савка. А потом в воздухе замелькали золотые слитки хлеба, и всем запомнился пожилой рабочий, прижимавший к себе буханку, как ребенка:

– Вот спасибо… вот спасибо, родные вы наши!

– А выпить найдется? – спросил Синяков, показывая сало. Мишка Здыбнев треснул его кулаком по затылку и скомандовал:

– Прямо!

На станции юнг поджидал состав из пяти теплушек с открытыми настежь дверями. Внутри – только нары и печурки, больше ничего. Залезали в вагоны с хохотом:

– Экспресс подан… прима-класс! Туалет направо, ванные налево!

Отправлять их не торопились, и понемногу юнги разбрелись во все стороны от станции. Прошел мимо чумазый сцепщик с фонарем.

– Эй, рабочий класс! А до Мурманска далеко ли ехать?

– К утру дотянетесь. Если не случится чего. А может, и разбомбят вашу милость. Тогда малость подзадержитесь…

Да, за лесами лежал фронт. Там постукивали одинокие выстрелы «кукушек», там стыли непроходимые болота, что тянулись к северу, до самой загадочной Лапландии…

К вечеру тронулись. На север, на север! Пошел частый и звонкий перестук разводных стрелок. Мишка Здыбнев сразу заорал:

– Витьки нет… ах, рожа поганая! Кто его видел?

– Да вон – не он ли бежит? Никак, пьяный?

– Где он взял на выпивку, паразит?

– Видать, на сало выменял…

Состав наращивал скорость. Под насыпью крутились желтые искры. Витька Синяков бежал рядом с эшелоном, его отшибало в сторону.

– Остановите поезд, – советовали иные.

– Чем я его остановлю? Пальцем, что ли? – Здыбнев скинул шинель, подтянул ремень. – Пропадет ведь… шпана худая!

И спрыгнул под насыпь. За ним – еще два боцмана. На разбеге поезда они вбросили Витьку в предпоследний вагон. Теперь все трое бежали под насыпью. Из раскрытых теплушек в воротники фланелевок вцепились десятки дружеских рук, и, болтнув ногами, боцмана исчезли внутри вагона… последнего вагона в составе!

Юнги, наблюдавшие эту картину, с облегчением перевели дух. Сказали:

– Мишка, конечно, подождет до первой остановки, а потом, как пить дать, Витьке шапочку на прическе поправит…

Обилие впечатлений и бессонная ночь на корабле сморили юнг. Все заснули на тряских нарах теплушки. Пробудились от резкой и острой стужи. Кажется, утро. Но еще совсем темно.

– Эй, у кого часы?

– Мы не аристократы. Откуда у нас?

– Вот у моториста хронометр в кармане…

Юнга-моторист долго вглядывался в циферблат:

– Не пойму. Восьмой или девятый?..

– А темнотища, – причмокнул кто-то. – Вот она, житуха!

– Закройте двери… хо-а-адно.

– Не заколеешь. Привыкай. А смотреть тоже надо.

– Чего там смотреть? В цирке ты, что ли?

– Как чего? Станем любоваться дивным пейзажем…

В полумраке проступали аспидные скалы, поросшие цепким кочкарником. В глубине грандиозных каньонов плавилось, покрытое туманом, стылое серебро озер. Иногда сверху слышался шум – это гремели бивни водопадов, вонзаясь в расщелины скал. А в мрачной вышине неба красноватым огнем догорал предрассветный Марс.

– Бранная звезда освещает наш путь, – сказал Поскочин.

Поезд, не задерживаясь, проскочил станцию Кола. Брызнуло снежной белизной, пахнуло водой – это показался Кольский залив. Стоя в дверях теплушек, юнги въехали в Мурманск.

Совсем недавно Геринг бросил на этот город «все, что летает», и столица Заполярья лежала в обломках. Всюду торчали печные трубы, на пожарищах полярных домов сплавились в огне детские кроватки, бродили одичавшие кошки. Савка, переживший блокаду Ленинграда, к разрушениям отнесся спокойно – война есть война, но на других юнг обгорелые руины произвели сильное впечатление. Однако порт работал, от воды мычали сирены кораблей, полузатопленные американские транспорты стояли вдалеке, едва дымя, выброшенные на отмели, чтобы спасти ценнейшие для войны грузы.

Поезд остановился далеко от вокзала.

– Вылезай!

Спрыгивали под насыпь. Оглядывались настороженно.

Подъехал грузовик. Какой-то старшина, словно с неба свалившийся, сразу взял команду над юнгами:

– Вещи – в машину! Стройся по четыре… Рррав-няйсь. Товарищи юнги, мурманскому порту не хватает рабочих рук. Транспорта с грузами ждут очереди под кранами. Наша святая обязанность – помочь воинам на фронте, выручить флот. Налево! Ша-агом…

Трудились до ночи. Краны черпали из корабельных недр сложенные пачками крылья «аэрокобр», ящики с механизмами. А иногда вычерпывали разную чепуху. Один ящик кокнулся об доски причала, из него посыпалось заокеанское барахло: журналы и мыльный порошок, пипифакс и ракетницы, ананасные консервы и дамские чулки – все вперемешку. Юнги пошабашили, шатаясь от усталости. На выходе из порта охрана их тщательно обыскала. Старшина привел их в Росту, что лежит на берегу залива. Огражденные колючей проволокой, здесь гнили под дождями бараки флотского экипажа…

– Обыскали нас лихо, – сказал Синяков, стоя посреди барака. – А вот в кулак мне они, дураки, заглянуть не догадались…

Разжал пальцы – и на грязный пол цветастым парашютом, тихо шелестя, опустилось тончайшее женское платье.

– Вот это штука… – пронесся гул голосов.

Здыбнев опомнился первым.

– Конечно, – заявил он авторитетно, – кое для кого такая обнова самый смак. Но для победы эта тряпка ничего не дает. Я устал от работы, и лупить Синякова сегодня не будем… Никому ни звука! Нельзя сразу, как прибыли, позориться. Ясно?

Все ясно. А что делать с платьем? Оно валялось на полу, полыхая южными красками, такое красивое, такое воздушное. Поскочин вдруг подошел к нему и невозмутимо вытер об него свои бутсы. Его поняли. Юнги молча подходили, чистили о ворованное платье обувь.

Скоро на полу барака лежала грязная тряпка…

– Вопрос считать закрытым, – объявил Здыбнев.

Эти дни, проведенные в бараках экипажа, были самыми проклятыми днями в биографии юнг. За оградою из колючей проволоки флот уже реял вымпелами, он подзывал их к себе сиренами миноносцев, пробуждал юнг по ночам тоскующим завываньем подлодок, а они, как неприкаянные, валялись по нарам и ждали… Ждали, когда соберется последняя для них комиссия, чтобы распределить юнг по кораблям.

Савка устроился на нарах между друзьями – слева Коля Поскочин, а справа Мазгут Назыпов. Они тихонько беседовали.

– Не всем повезет! Мы-то отличники, можем выбирать…

Здесь, на этих нарах, они шепотком, никому не мешая, подолгу отшлифовывали алмазные грани своих заветных мечтаний.

\* \* \*

Мазгут, словно ошпаренный, выскочил из комиссии.

– Ничего не понимаю! Обещают одно, а творят другое. Зачем тогда людям понапрасну головы задуривать?

Выяснилось, что его назначили в команду «ТАМ-216».

– А что за команда – не говорят, – возмущался Мазгут.

– Заяви, что ты отличник. Право выбора кораблей за тобой… Не хлопай ушами! На кой ляд сдалась тебе эта команда?

– Я так и сказал, – оправдывался Мазгут. – А они мне, словно попугаи, одно лишь твердят: «Не спорь! Ты будешь доволен!» А я как раз недоволен. Может, забабахают на зимовку, и я буду там загорать: ти-ти, та-ти-та, та-та-ти…

Настроение у Савки испортилось. Его трепетная мечта об эсминцах вдруг косо уплыла в даль коридора и завернула за угол, откуда из промороженных гальюнов несло сухопутной хлоркой. Вызывали юнг на комиссию вразнобой – то радиста, то боцмана, то рулевого.

Выскочил оттуда один моторист, явно смущенный:

– Я в виде исключения – на подплав, но сначала буду чинить дизеля на берегу. Назначен слесарить в плавмастерские.

Он не отчаивался: у него был шанс перескочить в дизельный отсек подлодки. Вышел из комиссии Мишка Здыбнев.

– Со мною порядок! Никаких палок в колеса не ставили.

– А куда тебя?

– Готовили в боцмана торпедных катеров, вот и направили на тэ-ка. Полгода боевой стажировки, потом – в турель…

Савка заметил, что Синяков кусает губы, – видать, завидовал.

Скоро и Огурцова пригласили в комиссию. Здесь расположился грозный синклит кадрового отдела флота; сновали с папками личных дел вышколенные писаря, возле окна с папиросой в зубах, кутаясь в платок, сидела пожилая машинистка. Савка предстал.

Поначалу – легкий опрос, вроде беглого знакомства:

– Ленинградец? Сын комиссара? Сирота?

На все вопросы Савка дал утвердительные ответы. От волнения крутил в руках бескозырку, играя с нею, как с колесом.

– Вам, – было сказано ему, – предоставлено право самому выбирать для себя класс кораблей. Любой! Кроме линкоров и крейсеров, которых на Северном флоте пока нет. Не предлагаем вам и подводные лодки, ибо для службы под водой необходимы особые знания, какими вы не обладаете… Слово за вами! Выбирайте…

Райская жар-птица сама летела ему в руки.

– Эсминцы, – выдохнул из себя Савка.

– Какие? – спросили его. – На нашем театре они двух типов. Прославленные, но устаревшие «новики» и новейшие эскадренные «семерки». Какие вас больше устроят?

Савка сообразил быстро:

– На «новиках» начинал службу еще мой отец. А мне они уже не совсем подходят… Хочу на «семерки», хотя никогда их не видел.

Члены комиссии перебрали какие-то бумаги, пошептались между собою и, резко отодвигая стулья, разом поднялись:

– Юнга Эс Огурцов, вы будете служить рулевым на Краснознаменном эскадренном миноносце «Грозящий». Поздравляем вас. Ступайте на оформление предписания. А вечером в бухту Ваенга пойдет машина…

Савка вылетел в коридор как пуля.

– На «семерки»! Ура, я – на «Грозящий»!

– Прекрасно, – поздравил его Коля Поскочин. – Тридцать узлов тебе обеспечено.

– А где несчастный Мазгут?

– А вон… закурил даже. Отчаивается.

– А тебя, Коля, еще не вызывали?

– Жду. И никаких кораблей просить не буду. Пусть комиссия сама назначит меня в ту дырку, которую требуется заткнуть мною.

Конечно, это было благородно, но Савка все-таки намекнул:

– Послушай, а ты не промахнешься со своим донкихотством?

– Нет! Если надо хлебнуть шилом патоки – я согласен…

Из комиссии Коля вышел с непонятной ухмылочкой.

– Чего тебя так долго мариновали? – спросил его Савка.

– Мурыжили крепко! Там один капитан-лейтенант оказался очень умным человеком. Мы беседовали с ним по-английски.

Савка и все другие юнги были удивлены:

– А ты разве можешь по-инглиш? И нам не говорил?

– К чему? Имеющий мускус в кармане ведь не кричит об этом на улице: запах мускуса все равно почуют. В моих документах это обстоятельство было отражено и сейчас, кажется, сыграло свою роль.

– Так куда же тебя назначили?

– Я закреплен за таинственной командой «ТАМ-216».

– Мазгут! – стал кричать Савка. – Иди скорее сюда. Вот тебе товарищ по разгадыванию шарад и кроссвордов. Ха-ха-ха!

Мазгут с тревогой заглядывал в ясные глаза Поскочина.

– Браток, куда же нас с тобой денут?

– А чего ты вибрируешь раньше времени?

– Хоть бы сказали открыто, не темнили мозги. Мы же мучаемся.

– Перестань! – отвечал Коля. – Никто нас не мучает. Просто не говорят. Давай, Мазгут, заранее считать, что нам чертовски повезло.

Словно подтверждая эти слова, в коридоре барака вдруг появился лейтенант в плаще из дорогого габардина. Золотые погоны торчали над его плечами, словно крылышки доброго ангела.

– Кто здесь назначен в команду «ТАМ-216»?

– Я, – шагнул к нему Поскочин.

– И я, – двинулся вперед Назыпов.

– Очень приятно. Рррад! – произнес лейтенант раскатисто. – Рррадист и рррулевой? Надеюсь, плохих спецов мне не дали…

– А куда мы сейчас, товарищ лейтенант?

– Сначала на переобмундирование. Вам будут шить новую форму. Из офицерского сукна. Фланелевки тоже, конечно, не из фланели.

Юнги тронулись за ним, но он вдруг раскинул руки:

– Куда вы? Попрощайтесь со своими товарищами.

– А разве… – начал было Коля.

– Да, – ответил лейтенант, – не скоро вы их увидите.

Савка второпях пожал руки друзьям.

– Быстро нас стало разбрасывать… Прощайте, ребята!

Двое уже шагнули за своим офицером в большой мир флота, насыщенный тревогами и ветром. Из тех же тревог, из того же ветра в барак экипажа шагнул громадный детина. При виде такого великана юнги ахнули. Весь в собачьем меху, одежда простегана «молниями», а штаны исполосованы слоями засохшей морской соли.

– Я с торпедных катеров. Где люди? Забираю!

Он увел за собой боцманов, как рождественский лед уводит детей на метельный веселый праздник. Только сейчас Савка заметил, что Синяков остался в бараке; слонялся по углам.

– А чего тебя не взяли на катера?

– Вместе поедем до Ваенги. Меня туда запихачили на эсминцы… Конечно, не боцманом, а – в боцманскую команду.

В эти боцманские команды обычно зачисляли матросов, которые не имели флотской специальности. Ну, вот и доигрался Витька!

– Плевать мне, – сказал он, явно рисуясь. – Мне бы только до самодеятельности добраться. Да чтобы в ансамбль флота проскочить. Я там запою… лучше вас всех! Такие, как я, не пропадут.

Савка через окно барака видел, как в метели, держа в руке вещмешок, бодро уходил Мишка Здыбнев. Флот был один, но корабли на нем разные. Корабли раскидывало, как людей. Савка всю войну не встречал Здыбнева, но имя его часто попадалось ему во флотской печати. После дерзких атак в Варангер-фиорде газеты не раз печатали Мишкины портреты. Здыбнев был снят в пулеметной турели, от лица – только овал, голова боцмана плотно облита штормовым шлемом бойца. И встретились они в одном поезде и в одном вагоне – после войны! Савка ехал в Ленинград, а Здыбнев катил в Москву на Парад Победы, как представитель Северного флота. Этот героический флот Здыбнев представлял вполне внушительно: грудь колесом, усищи рыжие, плечи в сажень, а под бряцающими рядами медалей не видать сукна фланелевки…

Савка доглядел до конца, как метель закружила следы боцманов, уходящих на свои корабли – на жизнь или насмерть!

Наконец от дверей послышалось долгожданное:

– Внимание! Машина до Ваенги… Кому на эсминцы?

Савка схватил Синякова за рукав, потянул его из барака:

– Это за нами… пошли скорее. Наша очередь!

Эпилог четвертый

(Написан Саввой Яковлевичем Огурцовым)

Была, если не изменяет мне память, ранняя весна 1944 года. Эсминцы качались, усталые, возле пирсов Ваенги. Я только что сменился с вахты, вдруг мне через люк кричат сверху:

– Ходи наверх! Тебя двое не наших спрашивают…

Выбрался я на пирс. В самом конце его, вижу, стоят два парня. На спинах их курток проштампованы крупные литеры: «ТАМ-216». Подхожу ближе. Сами они длинные, чернущие от загара. Под куртками у них не тельняшки, а свитера из добротной шерсти.

– Не узнаешь? – спрашивают. – А ты, бродяга, тоже вырос.

Передо мною стояли Коля Поскочин и Мазгут Назыпов.

– Не ожидал, – говорю. – Где вы так успели загореть?

– Даю точный адрес: штат Флорида! – ответил мне Коля. – А загорали на пляжах Майами.

Я даже не совсем поверил:

– Брось трепаться. Говори делом – откуда вы взялись?

– А я и говорю – пришли из Фриско, как зовут американцы Сан-Франциско. Ничего городишко… Спроси у Мазгута, он тебе подтвердит, что Сан-Франциско очень похож на его родной Касимов!

А сам хохочет, заливается. Мазгут добавил серьезно:

– Это правда. Сделали два перехода через Атлантику. Привели корабль, построенный для Северного флота… Всего неделю назад выспались в «собственной спальне его величества» – в Скапа-Флоу в Англии, потом пошли в Рейкьявик, на рейде там подсосали с танкеров топлива и рванули на дизелях – домой!

Коля звал меня к себе:

– Пошли! Вообще-то наш «ТАМ-216» обычный конвойный тральщик, но союзники такие коробки называют корветами. У нас там полный сервис, поначалу даже противно было. Штаны гладит машина, картошку чистит машина, белье стирает и выжимает машина. Хочешь пить – жми кнопки, любая вода с сиропом, горячая или холодная, струей льется в рот. Матросу нечего делать – только неси вахту!

За сопкой показались короткие, как пальцы, мачты незнакомого корабля. Их клотики были увенчаны массивными колпаками.

– Ходим с радарами, – пояснил мне Мазгут.

В кубрик команды вел широкий трап – не крутой, а пологий. Вместо поручней там висели фалрепы, обтянутые лиловым бархатом. Я так привык к нашей русской крутизне, что на пологом трапе чуть не сломал себе ноги. Друзья таскали из холодильника банки с соками.

Я спросил их, какая житуха за океаном.

– Живут, – рассказывает Мазгут. – Траура и голодухи не знают. Небоскребы не покачнулись. И барахла разного много. Поначалу-то глаза разбегаются. А потом быстро привыкаешь, будто так и надо. У меня в Касимове мама в сорок первом крапиву варила, а там гречу и кукурузу свиньям скармливают. Однако к русским относятся превосходно. Идешь, бывало, по улице. Видят – матрос из России. Каждая машина перед тобой остановится. Садись в нее, сочтут за честь. Сел, сразу руль тебе уступают. Веди сам! Куда тебе надо. Ну, мы вести машин не умеем. А чудаки такие были, что брались за руль. Шесть витрин во Фриско разбили. Так и въехали на машинах в магазины. Хоп хны! Даже штрафа не платили.

Я посмотрел на друзей попристальней и вдруг увидел в них красивых молодых людей, уверенных в себе и в том деле, какое они обязаны делать на благо победы. В этот момент, не скрою, мне захотелось и на себя взглянуть со стороны – насколько я изменился? Таков ли я, как они?

Мы расстались тогда, и наши пути-дороги разошлись. Один только раз возле Канина Носа я видел, как, весь в бурунах пены, прошел «ТАМ-216»; он вел так называемый свободный поиск противника. Время для меня текло тогда быстро.

Уже близился час нашей победы, когда я случайно прослышал, что на соседнем с нами «новике» служит радист-юнга. Ради любопытства я перескочил с борта «Грозящего» на палубу старого миноносца-ветерана. Эта встреча мне крепко запомнилась…

Сдвинув наушники на виски, в радиорубке эсминца сидел худой человек с проседью в волосах и страдальчески заостренным носом. Что меня особенно поразило, так это обилие электрогрелок. Четыре жаровни сразу окружали его. Он медленно повернул ко мне голову, и я с трудом узнал в нем Мазгута Назыпова.

– А где же Коля? – спросил я сразу.

…Это случилось в Карском море при полном штиле, когда арктическая вода была похожа на черное стекло. «ТАМ‑216» в составе номерного конвоя держал курс на Диксон. Все было спокойно, когда с одного сторожевика дали загадочное радио – передача прервалась на полуслове. Командир эскорта приказал на «ТАМ-216» отвернуть с генерального курса и действовать самостоятельно, сообразуясь с обстановкой. На месте погибшего сторожевика плавал загустевший от стужи соляр. Из черной гущи липкого масла подхватили лишь одного матроса. Он умер на трапе, ведущем в лазарет, не успев ничего рассказать. Но было ясно, что враг шляется где-то неподалеку. «ТАМ-216» начал прощупывать под собой пучины, объятые мраком и холодом.

– Я хорошо помню этот момент, – рассказывал Мазгут, продолжая прослушивать эфир. – Акустик вдруг крикнул, что засек шум винтов, и сразу дал пеленг. Мы пошли на лодку, готовя к залпу «ежики» с бомбами. Поверь мне, Савка, что никакого следа от торпеды мы не видели. Перископа тоже никто не заметил. Взрыв раздался, и все полетело к чертовой бабушке. Приборы вырвало из бортов с мясом. Они так и повисли на пружинах амортизаторов. Радиорубка превратилась в свалку, я с трудом выбрался из груды металла. Корпус деформировало от кормы до форштевня. Наш «тамик» мелко дрожал. Никогда не забуду этой картины – из воды вдруг выперло винты корабля, и они продолжали вращаться на остатках инерции…

– А что Коля? – спросил я.

– Погоди… Мы откачали топливо за борт, чтобы хоть как-то выправить крен. Я взял радиопереноску, которая мне показалась исправной, и на мостике сел с нею возле ног командира. «Передавай, передавай!» – внушал он мне. Я стучал в эфир, что торпеда не дала следа. Что это не мина! Новая немецкая торпеда, не оставляющая следов на воде… А над мостиком уже бушевал костер.

– Вы загорелись от взрыва?

– Нет. Это Коля Поскочин спешно сжигал секретные карты и все документы. Командир велел побросать за борт понтоны. Мы с Колей остались. Мы были еще нужны… Я работал на ключе, а он выпускал в небо ракету за ракетой. Мы надеялись, что нас заметят с эскорта. Корабль вдруг стало трясти. Ох и тряска… зубы ходуном ходили! Тогда командир велел и нам, юнгам, покинуть палубу. Мне он дал пакет с партбилетами офицеров, а Коле вручил узелок с орденами. Понтоны с нашими людьми качало уже вдалеке.

– И ушли все, кроме командира? – спросил я снова.

– Что ты! В рубке остались офицеры. Они сидели на диване и курили папиросу за папиросой. Это были последние папиросы в их жизни. Не покинули пушек и два комендорских расчета.

– А что в этот момент сказал тебе Коля?

– Мы стали уже сбегать по трапу, и Коля вдруг дернул меня за куртку. «Мазгут, – сказал он мне, – кажется, амба!»

– И больше ничего?

– Ни слова больше… Мы погрузились в воду согласно инструкции. Сначала до колена, потом до паха. Медленно вошли в море грудью. Разрыва сердца от резкого охлаждения с нами не случилось, и мы с Колей поплыли. Невдалеке бултыхало красный буй, сорванный взрывом с нашей кормы. Я знал, что до подхода понтона, возле буя, мы сможем продержаться минуты три. От силы пять минут, не больше…

– Вы плыли рядом?

– Все время. Но я, как более сильный, метра на два впереди Коли. Кажется, ему мешал плыть узелок с орденами. Я часто оглядывался на Колю и вдруг увидел, как из воды – ну совсем рядом со мной! – вырвалась рубка подлодки с мокрыми флагами. Они провисли, как тряпки. Один был имперский со свастикой. А второй… Ты не поверишь, но я готов поклясться, что на черном фоне второго был череп с костями, какие рисуют на будках трансформаторов высокого напряжения. Два наших расчета открыли огонь с палубы. Врезали точно по рубке, даже поручни сорвало. После чего немцы сразу ушли под воду. Из-под воды они саданули вторую торпеду… Всплеска даже не было. Поднялся огненно-рыжий столб, в котором погибли все ребята. На этот раз все! Тогда лодка всплыла вторично, и я не сразу понял, что нас обстреливают из пулеметов. До буя было уже недалеко… Постой, – сказал Мазгут, сдвигая наушники с висков на уши; он вникнул в россыпь морзянки и откинулся на спинку вертушки. – Нет, это не нам… вызывают твой эсминец.

Замолчав, он придвинул к себе еще одну грелку:

– Страшно мерзну. Стал такой дохлятиной после того дня. Почти всех с нашего «тамика» демобилизовали. Хотели и меня! Но я вымолил у врачей право сидеть за ключом до победы. Вот только мерзну…

Мне стало страшно, я сказал:

– Мазгут, почему ты ничего не говоришь о Коле?

– Я скажу… Колю убили из пулемета. Прямо в спину. Он так и ушел на грунт, с целым узелком орденов.

– Все?

– Еще не все. Я долго потом видел Колю…

– Во сне?

– Нет, в воде… Коля долго светился из глубины белым пятном. Потом это пятно стало медленно тускнеть. И наконец бездна моря растворила его в себе… навсегда! Вот теперь, кажется, все, – твердо закончил Мазгут, не глядя мне в глаза. – Сейчас Коле было бы шестнадцать лет.

– Как и мне, – сказал я…

Мы были с ним одногодки.

Разговор пятый

Этот разговор был самым кратким.

– А дальше, – заявил мне Огурцов, – писать буду я сам. Вы только не вмешивайтесь.

– Помилуйте… отчего так? Я же автор этой книги.

– Как бы вы ни старались, вам все равно лучше меня о флоте не написать.

Я ушел обиженный. Не знаю, что у него там получится.

Теперь, когда дело идет к концу, я могу сознаться, что работать с Огурцовым было нелегко. Человек резкий и упрямый, он иногда подавлял мою волю, я невольно подпадал под его влияние. Мне было очень трудно писать о нем как о мальчике, когда я видел перед собой не мальчика, а крутого и сильного человека.

Вечером я позвонил Огурцову по телефону:

– Ладно. Пишите сами. Не будем ссориться.

– Не надо, – согласился Огурцов.

– А как вы решили назвать эту последнюю часть?

– «Капля меду»!

– При чем здесь мед? И почему только капля?

– Потому что в общей нашей победе есть и моего меду капля. Пусть маленькая, но без нее бочка не была бы полной…

Позже он сам переменил свое решение и назвал часть иначе. Правда, эта «капля меду» мне встретилась в тексте, но уже в самом конце книги… Ладно, не буду вмешиваться! Хочет писать сам – ну и пускай пишет.

Часть пятая Держись крепче!

 Кто увидит дым голубоватый,

 поднимающийся над водой,

 тот пойдет дорогою проклятой —

 звонкою дорогою морской.

 Э. Багрицкий

Вот они – качаются возле пирсов, подсасывая в свои днища пресную воду и тягучий мазут. У них узкие и хищные корпуса, расшатанные от вибраций на высоком форсаже, вмятины в бортах от штормов и бомбежек. Иногда они, обледенелые, плывут в океане, словно ожившие айсберги, и под грузом ледяных сосулек лопаются тонкие антенны. Их покатые палубы мелко вздрагивают от работы турбин, а теплые массы воздуха перемещаются над ними слоями.

Это и есть эсминцы – корабли моей любви!

С трепетом я ступил на палубу «Грозящего».

\* \* \*

Первое ощущение – все заняты, и никому нет до тебя дела. Второе впечатление – все здесь не так, как в книжках пишут. Не так думалось. Не так и мечталось. Отполированная сталь палубы, кое-где прохваченная ржавью, залита мазутом. Холодно, но редко встретишь матроса в бушлате. Команда в робах, и подолы голландок почти до колен. У многих в зубах или в карманах – отвертки. По трапам скачут обезьянами, почти не касаясь руками поручней. А трапы – как стена, чуть ли не вертикальны. Тра-та-та-та! – и уже взлетел наверх. Тру-ту-ту-ту! – и уже он внизу…

Поигрывая цепочкой дудки, ко мне подошел рассыльный.

– В первую палубу, – сказал он мне.

Вот еще новость. Сколько существует отсеков, столько и палуб. По сути дела, любое помещение на корабле – это и есть палуба. Моряки, спускаясь в кубрик, говорят: «Я хожу в палубу», – и называют ее номер.

Держа в руке вещевой мешок, я шагал по рельсам минной дорожки. За мною увязался лохматый щенок и нюхал мои узкие брюки. На трапе, ведущем на полубак, щенуля отстал. Идти было скользко. Я выбрался в самый нос эсминца, а там – люк. Стал я спускаться по крутизне спиною вперед, меня шлепнули снизу:

– Корова! Кто же раком по трапам ползает? Лицом надо…

Кубарем я скатился вниз, уронив мешок, а мне сказали:

– Собери свой скелет. Раскидался тут мослами!

Я попал в тамбур люка, откуда вела дверь в баталерку, словно в магазин: возле весов с гирями стоял человек в белом халате и напряженно резал ножом крепкое замерзшее масло.

– А где здесь первая палуба? – спросил я его.

– Ниже. Или не видишь люка?

Глянул я в круглый люк, а там полно картошки…

– Это провизионка. А ты лезь в квадратный.

Через квадратный люк я наконец-то угодил в кубрик, который должен стать моим домом. В трубах парового отопления посвистывал пар. Вдоль бортов, обитых пластинами пробки, стояли рундуки, а над ними висели старшинские койки, закинутые на цепях к переборке. Чисто и прохладно. Один матрос разговаривал по телефону.

– Это ты – юнга? – спросил он, втыкая трубку в щелкнувший замок. – Звонил штурман. Бросай хурду и ступай к нему в каюту.

Я швырнул на рундук вещи и повернул обратно к трапу.

– Куда ты? Вот здесь ближе будет…

Матрос откинул в переборке горловину лаза – чуть пошире иллюминатора, и я просунулся в него головою вперед. При этом мои руки уперлись в линолеум палубы второго кубрика, и там меня оборжали комендоры:

– Смотри! Какой-то чудик появился…

Теперь я мог ползти лишь на руках, как это делают ползунки. Моя корма застряла в первом кубрике, и там товарищи не растерялись. Схватили меня за штаны и втянули обратно.

– Олух! – было заявлено мне. – Нас тут живет тридцать четыре боевых номера. Если каждый номер будет так вылезать по боевой тревоге, то немцы нас сразу потопят, и правильно сделают… Вот смотри, как надо выскакивать!

Подпрыгнув, матрос ухватился за край стандартной койки, висевшей над лазом, и – не головой, а ногами вперед! – так и въехал в воронку горловины, только пузырем взвилась на нем рубаха. Ну, до этого мне еще далеко…

Я прошел через два кубрика и по трапу выбрался опять под полубак. Стало понятно размещение главных носовых отсеков. Рассыльный открыл передо мною массивную бронированную дверь кают-компании и сказал кратко:

– Вторая направо. Штурман Присяжнюк. Ноги вытри.

Красная дорожка ковра уводила в тишь офицерского общежития, откуда слышались звуки рояля. Коридор кончился. Вот и штурманская каюта. Штурман Присяжнюк сказал мне:

– Принято всем представляться командиру. Пошли.

Из коридора кают-компании – еще трап, ведущий в салон. А там ковер лежит уже попышнее. Четыре двери отделаны искусной инкрустацией по дереву на тему русских народных сказок. Здесь живут матрос-шифровальщик, замполит, командир и его помощник. Присяжнюк провел меня в салон, уселся в кресло, взял себе папиросу.

– Вот он! – сказал кому-то, закуривая и щурясь от дыма.

Салон делила пополам штора ярко-синего бархата, по бокам от нее висели бронзовые канделябры. Штора вдруг откинулась, словно занавес в театре, и передо мною предстал командир эсминца. Я ожидал увидеть громилу, поросшего волосами, с кулаками, как две тыквы. Но увидел я капитана третьего ранга чуть повыше меня ростом: круглолицый и румяный, как мальчик, с реденькими светлыми волосами, он потер свои пухлые ручонки и сказал весело:

– С юнгами еще не служил. Сначала расскажи о себе.

Офицеры выслушали меня. Легкими намеками пытались выяснить глубину моих знаний. Быстро нащупали дно, и тут командир насторожился:

– А что за чепуха у тебя на голове?

– Бантик, – говорю.

– Какой идиот это придумал? Еще чего не хватало, чтобы в моей команде люди с бантиками ходили… Снять!

– Есть снять! – обрадовался я.

– Выдайте ему обыкновенную ленточку. – Присяжнюк кивнул. – И пусть мальчишка постажируется у Курядова, а потом посмотрим… Завтра, – сказал мне, – ты получишь боевой номер и тебя включат в расписания. Чтобы ты знал, где находиться по тревогам – боевым, водяным и пожарным, при авралах и приборках.

Из салона мы вышли вместе со штурманом. Он подтолкнул меня к командирскому трапу, который выводил офицеров на мостик:

– Старшина рулевых Курядов там…

Еще три трапа, и я наконец мог обозреть свой эсминец с высоты мостика. Вахтенный сигнальщик стоял в большом тулупе.

– Тебе сколько лет? – спросил он меня.

– Пятнадцать.

– У-у-у, – провыл сигнальщик и поднял воротник тулупа.

Продувало на мостике здорово. Старшина Курядов, мой непосредственный начальник, был одет в ватник, а на его ногах – громадные валенки в красных галошах. Был он местный – из поморов с Кольского берега, говорил мало и тихо, словно стеснялся меня. Первое, что я заметил в ходовой рубке, – отсутствие даже намека на штурвал. На двух тумбах стояли манипуляторы, а перед ними – два табло тахометров (дающих число оборотов двух турбин) и датчики отклонений руля. Курядов позволил положить манипуляторы на борт, где-то в корме, повинуясь мне, завыли моторы, отклоняя руль, и стрелки – тик-тик-тик! – быстро побежали по градусной шкале счетчика.

– Ловко! – сказал я и посмотрел перед собой в смотровое окно по курсу. – А разве здесь «дворника» не бывает, как в машинах?

– И не нужно, – ответил старшина.

– А море-то – брызги, ветер!

– На походе окно всегда открыто, рулевой глядит по курсу не через стекло, а прямо через брызги.

– Так намокнешь весь!

– Ну и что с того? – ответил Курядов равнодушно.

Осмотрев рубку, я щелкнул по стеклу репитера.

– Вот он, голубчик… А где же матка гирокомпаса?

Для этого мне опять пришлось спуститься вниз. Из второй палубы на днище эсминца вели два люка. Я полез в один из них, по ошибке угодив в боевой погреб. Как в булочной разложены батоны и буханки, так и здесь покоились на стеллажах пушечные снаряды с разноцветными шапочками на затылках. Только в булочных, конечно, никак не может быть такого порядка и такой идеальной чистоты. Матросы работали возле воздушного лифта. Удивились:

– Смотри, какой-то типчик… Эй, тебе чего здесь надо?

– Я так… посмотреть больше.

– В кино иди смотреть. А отсюда проваливай…

Выбрался я из одного люка, откинул крышку другого. Навстречу мне потекли тонкие шумы и легкое жужжанье, будто я угодил на летнюю полянку, где стоят пчелиные ульи. Да, это был гиропост. На койке, под которой гудел генератор и подвывала помпа, лежал длинный и худущий старшина с усами в стрелку, в чистой робе. Он читал. При виде меня растерялся:

– Ты кто такой? Кто тебе дал право сюда…

Я рассказал, что, как и он, принадлежу к БЧ-I, прислан на эсминец рулевым, а гирокомпасы обожаю с детства. Не гоните, мол, меня, а дайте посмотреть.

Передо мной был старшина Лебедев, опытный аншютист флота, которому суждено было сыграть в моей судьбе немалую роль. Мичман Сайгин на Соловках дал мне начала теории, но только сейчас я увидел гирокомпас в работе.

Пальцем, кажется, некуда ткнуть – все переборки сплошь залиты эмалью приборов, и приборы эти поют, подмигивают, журчат и стрекочут.

– Красотища, – сказал я. – Можно, буду иногда заходить?

– В гости, что ли?

– Хотя бы так.

– Шляться тут нельзя, – ответил Лебедев. – Слишком ответственный пост.

– Я не шляться… я по делу!

– Какое же у тебя тут дело? Твое дело – на мостике.

Но по моим вопросам старшина догадался, что в гироскопической технике я кое-что кумекаю. Я сказал ему, что просто жить не могу без гирокомпаса, и Лебедев отложил книгу – «Всадник без головы».

– Впервые вижу человека, который помирает без гирокомпаса. Ну, если уж так, то… заходи! Не дам помереть…

Эсминец испытал мягкий толчок по корпусу, и я заметил, как под стеклом сдвинулась картушка («аншютц» мгновенно отреагировал на отклонение корабля в мировом пространстве).

– Кажись, подошла торпедная баржа, – сказал Лебедев, – пришвартовалась к нам. Сейчас с нее возьмем боеголовки торпед.

\* \* \*

В этот день я чувствовал себя среди матросов эсминца, как котенок, попавший в общество усатых тигров. «Грозящий» недавно вышел из ремонта – меняли в котлах прогоревшие трубки. Существовал закон: на время, когда вспыхивают огни электросварки и мечутся искры, основной боезапас с корабля снимается. И вот сейчас к обезглавленным телам торпед, что сонно дремали в трубах аппаратов, должны заново привинтить боеголовку, в каждой из которых по 400 килограммов взрывчатки. Баржа была сплошь загружена боеголовками, которые лежали в густой смазке на днище ее трюма. Боеголовки перегружали, зацепив их гаком за самый носик. На эсминце головки принимали минеры БЧ-III.

Один ухарь-матрос – по фамилии Дрябин – хлопал рукавицей по стальному боку торпеды, облепленному тавотом. Таким же точно жестом хороший хозяин похлопывает свинью-рекордсменку, вылезшую из хлева подышать свежим воздухом и похрюкать.

– Так, так, – кричал Дрябин на кран. – Еще дай слабину!

Я стоял возле, любопытничая, и не сразу понял, что произошло. Последовал страшный удар в палубу (эсминец загудел). Перед глазами у меня, сорвавшись с высоты, стоймя рухнула боеголовка. Замерев на секунду, она стала медленно валиться навзничь. Момент рискованный!

Дрябин рывком подставил богатырскую грудь – и боеголовка своим весом вплющила его между ростовых стоек.

Я подскочил к Дрябину и что было сил стал отводить от его груди полтонны смертоносной тяжести. Ладони мои, скользя, срывались в густой смазке тавота. Набежали еще минеры, высвободили Дрябина из-под груза…

Что сделал Дрябин? Первым делом он схватил разорванный трос от талей и, потрясая им, заорал на баржу:

– За такое дело – трибунал и расстрел вам, собакам! Забирай боеголовку обратно! И акт составим – она уже непригодна…

Потом повернулся ко мне, кладя руку на мой погон.

– «Ю»! – сказал он мне. – Ты первым подскочил. Дрябин таких вещей не забывает. Ходи за мной. Дай пять… вот так!

Стылый тавот намертво склеил наше пожатие. Мы едва расцепили свои ладони. Верткой походкой бывалого миноносника Дрябин уже шагал в корму, а я вприпрыжку уже семенил за ним.

Следом за новым другом я спустился в узкий отсек запчастей БЧ-III, похожий на слесарную кладовую. Дрябин извлек откуда-то прозрачный флакон из-под духов «Белая акация» и сказал мне:

– Дрябин не подведет… Сейчас тяпнем за дружбу!

– А что тут? – спросил я, замирая от страха.

– Этим вот протираем минные прицелы. Линзы у нас чистенькие, а спирт остался.

– Я боюсь, – признался я. – Никогда не пил.

– Чепуха! Теперь ты уже не «Ю», а миноносник…

За неимением посуды Дрябин разбулькал флакон в латунные наконечники из-под фугасных снарядов. Из собственных наблюдений за жизнью я уже знал, что взрослые, выпив, спешат закусывать.

– А чем закусим? – спросил я, стремительно мужая.

Дрябин вытянул из угла отсека закуску – большой резиновый мешок, в котором плескалась какая-то жидкость.

– Запьем вот этим. Вместо пива… Чистейший дистиллят с примесью техноглицерина. Чем плохо? Ну, пей скорее…

Я был еще весь в тавоте и ощущал себя настоящим матросом. Поборов страх, я зашиб в себя весь фугас. Дрябин дал мне запить спирт водою из мешка, тягучей, как ликер, и сладкой.

– Почти лимонад! – сказал я, отдышавшись. – Только не шипит!

– За это не беспокойся, – ответил мне Дрябин, плотно закручивая пробку в мешке. – Валяй к старшине, дыхни на него как следует – и шипение на весь день тебе обеспечено…

Когда я выбрался из отсека, мир уже стал розовым. Мне было весело, и матросы ко мне принюхались:

– Во, сопляк. Успел набраться. Мы сколько лет гремим – и трезвые. А он первый день на эсминцах и уже дернул!

Я спустился в кубрик, положил голову на свой вещмешок и задремал. Вдруг слышу, как от люка с палубы просвистали:

– Юнгу – к замполиту.

– Да он не может. Пьяный валяется…

Из люка донеслось – ответное, со свистком дудки:

– Замполит уже знает! Пускай тащится какой есть…

– Пойду, – сказал я, вставая с рундука.

В каюте замполита стоял Дрябин, отчитываясь:

– Я же не зверь какой! Ежели человек мне добро сделал, так я тоже с ним не как-нибудь, а по-людски. Верно ведь?

– Могли бы, – отвечал замполит минеру, – не поить его спиртом, а выразить юнге свою благодарность.

Дрябин даже удивился:

– Деньгами, что ли, я ему выражу? Я же не зверь… человек! Русский человек… Верно ведь? Ну, и налил ему. Всего-то – вот столько! С гулькин нос. Как матрос матросу. А ежели он сразу с копыт полетел, так зачем тогда на флот подался? Сидел бы дома…

После минера замполит взялся за меня. На бумажке он подсчитал, сколько я, сукин сын, съел и сносил за время службы, во сколько обошлись государству мои педагоги и прочее. Когда он закончил роковой подсчет, я понял, что мне не выбраться из долгов до смерти. Тут я не выдержал и разревелся. Но замполит был мужчина с характером и слез моих вытирать не стал.

– А для чего, ты думаешь, тебя учили? – говорил он. – Чтобы ты, на эсминцы придя, казенный спирт хлебал? Это возмутительно, товарищ юнга… Как ты себя ведешь? Дай адрес отца, мы напишем, что его сын не оправдал доверие Родины и комсомола.

– Нет у меня отца, – ответил я. – Погиб мой папа.

– Тогда адрес матери.

– Мама на кладбище… в Соломбале!

Замполит отбросил карандаш и порвал свои расчеты.

– Послушай, друг! А кто же у тебя есть?

– Бабушка. Она в Ленинграде…

– Ну, бабушку мы беспокоить не станем. Пускай не тужит. А ты должен служить так, чтобы загладил свой проступок… Осознал?

Офицеры не стали раздувать этой истории. Дрябин же был наказан. От тех времен у меня сохранилась его фотография, которую он мне подарил по возвращении с гауптвахты. «Моему лучшему другу на память о героических днях обороны Заполярья от подлых врагов!» – так начертал он на карточке. Дрябин был лучшим минером эсминца, и сейчас его портреты можно видеть в монографиях по истории Северного флота. Фотокорреспондент запечатлел его на крыле торпедного аппарата! Он был человек недалекий, но мужественный и добрый… Под конец войны он ослеп при случайной аварии, и я под руку отводил его в экипаж на оформление демобилизации.

Прощаясь, он меня крепко обнял и заплакал:

– А помнишь, Савка, как мы с тобой… Ох и шипели тогда на нас! Да-а, было времечко – не вернешь. Девять лет жизни – флоту! Все девять на эсминцах. Кусок большой, а?

\* \* \*

Мое дело в этой войне – маленькое, но важное. И я уже вполне дорос до понимания своей великой ответственности. Что я могу сделать для победы, я, конечно, сделаю. Если суждено погибнуть, я погибну. Так я решил сразу! Потому и отношение мое к тому ватнику, который мне выдали, было таким, какое, наверное, испытывали юные рыцари, впервые влезая в боевой панцирь для турнира. Мне выдали теплое белье, стеганые штаны, сапоги для шторма и валенки для мороза. Получил под расписку, как особо ценное снаряжение, и «лягушку» – спасательный жилет, надеваемый вроде парашюта; из нагрудника торчали резиновые трубки с пробками для надувания жилета воздухом. Наконец меня включили в боевое расписание «Грозящего». Кузбасским несмываемым лаком на кармане моей голландки отпечатали мой личный боевой номер из пяти цифр. С этим номером мне воевать! Если меня прибьет волной к берегам Родины, этот номер расскажет, кто я такой, в какой БЧ числился, на каком посту сражался, после чего по спискам флота легко установить мою фамилию. Напишут бабушке: «С прискорбием сообщаем, что юнга С. Огурцов пал смертью храбрых в боях…» Такой же номер был пришит и к кокону моей пробковой койки, которая способна держать человека на воде целых двадцать минут, если, конечно, я правильно ее уложу и свяжу потуже…

Между тем старшина Курядов на меня даже малость обиделся: Огурцова из гиропоста хоть за уши вытаскивай! Старшина Лебедев говорил в оправдание Курядову:

– Ну что ты, Вася! Мальчишка-то интересуется… Не гнать же его. Не просто глазеет, а разбирается…

Лебедев казался мне ужасно умным. Холя свои роскошные усы, он давал точный ответ на любой мой вопрос. Гирокомпас в Школе юнг стоял холодный и неподвижный. А здесь его наполняло тепло напряженной работы, которой он жил, трудясь ради нашей победы. Большая разница! В движении я быстрее понял взаимосвязь деталей, лучше осмыслил электросхему «аншютца». Я даже удивился, когда старшина Лебедев сказал мне, что до службы на флоте он был в Москве видным кондитером – готовил торты для дипломатических приемов в Кремле. От тортов до «аншютца» – расстояние немалое, и я еще больше стал уважать старшину за его знания…

Штурман эсминца Присяжнюк, этот горбоносый чистюля, аккуратный блондин лет тридцати, время от времени звал меня к себе. Давал читать «ПШС», устраивал беглые опросы по теории. Без внимания меня не оставляли… Однажды ближе к вечеру мое имя выкликнули:

– Где здесь юнга? Его «смерш» вызывает…

Честно говоря, у меня ослабли руки и ноги. И хотя заподозрить меня было не в чем, прежняя встреча с особистом на Соловках оставила в душе неприятный след. А тут еще матросы хохочут.

– Ага, попался! – говорят мне. – Сейчас тебя на полубак выведут, к гюйс-штоку привяжут и шарахнут из пятидюймовки прямой наводкой… У нас со шпионами разговор короткий!

Я отправился к «смершу» в гиблом настроении. По кумачовым коврам ступал, как по болоту. Из буфета доносились перезвоны посуды – вестовые готовили офицерам ужин. В кают-компании заводили радиолу, и оттуда неслось по коридору:

Отцвели уж давно хризантемы в саду…

С робостью я постучался в каюту-двухместку: «Смерш» оказался здоровенным дядькой, под потолок ростом, в чине капитана второго ранга. Это я определил по его кителю, который был повешен на спинку стула. А сам он стоял передо мною в сорочке с закатанными рукавами – вот-вот врежет в ухо! Однако встретил он меня, словно лучшего друга.

– А-а-а, – обрадовался. – Входи, входи, юнга… Дай-ка я посмотрю на тебя, на недоросля. – Взял меня за подбородок и заглянул в глаза. – Как живешь? – спросил кратко, но строго.

– Спасибо. Живу. Не помираю.

– А что думаешь?

– О чем?

– Вообще… о жизни, о войне?

– Ничего не думаю, – увильнул я от прямого ответа.

На что мне было заявлено с подкупающей прямотой:

– Так ты, выходит, дурак? Как можно жить в такое время и ничего не думать? Нет уж, ты хоть иногда все-таки задумывайся, – попросил меня «смерш». – Шуточки да хаханьки остались за бортом. Здесь тебе не ансамбль песни и пляски… Жизнь на эсминцах слишком серьезная. За каждый поступок надобно отвечать!

– Есть, – сказал я, вспомнив про злосчастный спирт.

Совсем неожиданно прозвучал вопрос «смерша»:

– Бабушке-то писал или еще не собрался?

– Не собрался.

– Напиши! – дружелюбно посоветовал мне «смерш». – Только не пугай ее излишней романтикой. Тебе романтика, а бабке один страх господен. Захочешь фотокарточку ей послать – посылай. Но сфотографируйся обязательно с обнаженной головой.

– А почему так? – спросил я.

Ленточкой своей я гордился, и мне было бы жаль, если бы бабушка не узнала, что ее внук стал «грозящим».

– На ленточке-то название эсминца написано. Военную тайну разгласишь. Я тебе по дружбе советую – башку ничем не покрывай…

Каюта-двухместка, в которой жили «смерш» и парторг эсминца, напоминала купе. Над одной койкой возвышалась другая. Мягкий свет. Электрогрелки. Шкаф. Умывальник.

– Я тебя позвал вот зачем, – сказал кавторанг. – Будешь в нашей двухместке приборку делать…

Я уже пришел в себя, оттаял и признался капитану второго ранга, что поначалу боялся к нему идти. Рассказал, как жучил меня особист на Соловках. «Смерш» эсминца посмеялся и не слишком уважительно отозвался о своем соловецком коллеге. Вечером во второй палубе, где селились комендоры, я наблюдал, как «смерш» забивал козла с матросами. А мичман Холин, старшина минно-торпедной команды, орал на него, как на приятеля:

– Куда ты опять со своим дублем сунулся? Я тебе шестерку скинул, а ты опять с дублем… Соображать надо!

«Смерть шпионам» продулся вконец и по уговору, как проигравший, полез под стол, с трудом пропихиваясь между узеньких ножек, а комендоры при этом грохали по столу кулаками, крича:

– Козел! Козел! Козел!..

Потом я у Курядова своего потихоньку спросил:

– Этот «смерш» небось за нами присматривает?

С невозмутимостью истинного помора старшина отвечал:

– А как же иначе? Такая его должность. За это он и деньги получает. Ты еще до Ваенги не добрался, как он твою биографию изучил и всю твою подноготную знает…

– А какие же тут шпионы? Кого он ловить собирается?

– Тебе этого не понять… Вон на «Разводящем» вскрыли для ремонта кожуха турбин. Потом закрыли. Механику пришло в голову: дай-кось еще разочек проверю. Вскрыли кожуха опять. А там между лопатками лежит винтик. Малюсенький, как булавка. Дай они пар с котлов на турбины – и все, ювелирной работы лопатки полетели бы к черту. Видать, нашелся гад, что винтик туда сунул. С умом действовал! Не открой они кожух снова – эсминец до конца войны околевал бы на приколе.

В кубрик спустился с вахты сигнальщик. Скинул тулуп, сел на рундук, потянул с себя ватные штаны.

– Продрог вконец! А машины-то у нас на подогрев ставят.

– Коли ставят, значит, пойдем, – отозвался Курядов.

Отбой дали за час до полуночи. Впервые в жизни (как многое было тогда для меня «впервые в жизни»!) я вязал к подволоку свою койку. Забраться в этот гамак с палубы никак не мог. Залезал в койку с обеденного стола. Эсминец покачивало у пирса, качался и я, лежа на пробковом матрасе в своей уютной подвесушке.

– Ну, как тебе? – спрашивали матросы. – Небось приятно?

– Замечательно! Будто на дачу приехал…

Курядов как сверхсрочнослужащий лежал на койке с пружинной сеткой.

Он сказал мне:

– Дачники мы только на базе. А на походе – хуже собак бездомных. Где приткнешься – там и ладно. По две недели ватников не снимаем. Сигнальцы, те даже спят в шапках. Разрешается на походе только ослабить ремень. Это ты, браток, еще испытаешь!

Среди ночи я вместе со своей «дачей» сверзился с потолка, трахнувшись затылком о железную палубу. Все в кубрике проснулись, врубили освещение.

Сонные матросы галдели:

– Чего тут? Будто прямое попадание!

– Да это юнга… отбомбился удачно. Койку с вечера плохо пришкертовал, на качке концы ослабли и отдались. Спим, ребята!

Но спать не пришлось. Внутрь отсека, пронизывая команду тревогой, через динамик ворвался голос вахтенного офицера:

– Корабль к походу и бою изготовить. Срочно.

Звонки, звонки, звонки… Колокола громкого боя!

Грохочут трапы, извергая через люки матроса за матросом.

По всему эсминцу лязгают крышки горловин – задраиваемые.

\* \* \*

Офицеры преобразились. Стали медведями – мохнатыми и толстыми, в меховых канадках с капюшонами, на ногах – штормовые сапоги, белые от засохшей соли, а медные застежки на них – зеленые от воздействия морской воды на медь.

Штурман перехватил меня на трапе:

– Слушай, юнга! Юности свойственно соваться куда не надо. Предупреждаю: в море исправлять ошибки некогда, ибо любая из них заканчивается… скверно. Держись крепче!

– Есть – держись крепче!

– Добро, коли понял. Не старайся пробегать под волной. И не такие орлы, как ты, пропадали. С морем не шутят! А по верхней палубе двигайся, заранее рассчитав время прохода волны. Запомни: ты – миноносник, а это весьма рискованная профессия на флоте, где люди вообще привыкли рисковать. Ясно?

Я продрог до костей и все-таки не ушел с полубака, пока эсминец двигался из Ваенги на выход из Кольского залива. Была глухая арктическая ночь, но полярное сияние полыхало вовсю. В этом феерическом свете перемешались все краски радуги, окрашивая угрюмый мир из нежно-зеленого в трагически-бордовый. Навстречу нам, устало рыча выхлопом, прошли с океана три торпедных катера. Откуда-то с берега им мигнул сигнал вызова, и головной катер отстучал в ответ свои короткие позывные.

Скалы вдруг стали круче, они как бы нехотя расступились перед эсминцем, образуя каменный коридор, и форштевень «Грозящего» вдруг подбросило кверху, весь в ослепительном сверкании пены. Вода фосфорилась столь сильно, что побеждала даже мрак ночи. Я глянул на скалы и обомлел. Гигантскими буквами на скалах были начертаны белилами напутствия Родины всем уходящим в море:

 СЕВЕРОМОРЕЦ – ОТОМСТИ!

 СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!

Это была такая наглядная агитация, что пробирала до самых печенок. Политотдел флота отыскал наилучшее место для призыва к победе.

Но это было еще не все. На выходе в океан радисты врубили по жилым отсекам трансляцию, и кубрики заполнило музыкой.

Прощайте, скалистые горы!

На подвиг Отчизна зовет.

Выходим в открытое море —

В суровый и дальний поход…

Сколько уже раз я слыхал эту песню, и никогда она не производила на меня такого сильного впечатления. Душа наполнилась особенным, возвышеным торжеством.

А волны и стонут, и плачут,

И плещут о борт корабля.

Растаял в тумане далеком Рыбачий —

Родимая наша земля.

Я глянул по левому траверзу и в далеком тумане вдруг разглядел узкую полоску Рыбачьего. В этот миг я прощался с родимой землей, давшей мне жизнь, а Родина прощалась со мною, как со своим сыном! Да! Все было точно так, как в песне. У меня с непривычки даже слезы из глаз выжало.

Корабль мой упрямо качает

Крутая морская волна.

Поднимет и снова бросает

В кипящую бездну она.

Обратно вернусь я не скоро…

И это правда. Ой, не скоро вернусь я домой!

И меня в жизни часто агитировали – даже тогда, когда я в агитации не нуждался. Первый мой выход в океан на эсминце раз и навсегда определил мои убеждения – двумя словами на скалах, одной песней по корабельной трансляции…

Так я вышел в океан моей юности!

\* \* \*

Я попал на Северный флот в период, когда открывался сезон жестоких предзимних бурь. «Держись крепче!» – внушал я себе. Но как я ни крепился, как ни приказывал себе держаться, хватило меня ненадолго, и сразу за островом Кильдином я подарил морю свой ужин. Оно слопало его, даже не сказав мне «спасибо», и стало ждать, когда я позавтракаю. Это меня сильно огорчило, но я решил не сдаваться и делал все, что положено юнге!

Завтрак был ранний, в шестом часу утра. Кусок хлеба с маслом застревал в горле. Первый кубрик – в самом носу эсминца. Когда «Грозящий» взбирался на верхушку волны – это было еще терпимо; но когда он, мелко вибрируя, начинал оседать в провале волн, – вот тогда… Это была килевая качка. Знатоки утверждали, что к ней привыкаешь, как к лифту. Но мне – не знатоку! – казалось, что я никогда не привыкну. Не слаще и бортовая, когда летаешь от рундука к рундуку, думая только об одном – за что бы тут уцепиться?

Столы на время похода пристегивались со сложенными ножками к подволоку кубрика, мы ходили под столами. Команда ела по углам, сидя на чем придется, а чаще всего – стоя. Сидящие ищут опоры, чтобы не сбросило при крене. Стоящие – хватаются за что попало, чтобы удержаться на ногах. В одной руке кружка, в другой – еда. Ели на походе мало и небрежно. Мне сказали:

– Корсаков отбачковал, сегодня новое дежурство. Заступай, юнга, бачковать. Принесешь с камбуза… посудку помоешь.

– Ладно, – ответил я, но предстоящее общение с пищей никак не улучшило моего настроения; подле питьевого лагуна стояла у нас бутылка с клюквенным экстрактом – таким кислым, что, как говорили шутники, им можно было исправлять косоглазие, – и я обильно уснащал свой чай экстрактом, дабы заглушить в себе муторность качки…

И вдруг как поддаст! Видать, обнажилось днище эсминца. Повиснув над волной, корабль с размаху шлепнулся килем в разъятую под ним бездну. У меня и кружку из рук выбило, я кувырнулся в сторону. Палуба встала почти вертикально. «Грозящий» теперь гремел, лежа бортом на воде. Океан показал мне свои когти. Лебедев ободрил меня, как умел:

– Держись крепче! Все укачиваются. Даже техника барахлить начинает. Так вздернуло, что схожу посмотреть – как там гирокомпас.

По отсекам всю ночь трезвонили звонки: одна смена сдавала вахту, другая ее принимала. Смены наружных постов спускались вниз, мокрые, хоть выжимай, внутренние избегали соваться наверх, чтобы не вымокнуть. Только успеют люди обсохнуть – звонки, звонки, звонки: пошел снова наверх! С тихим ужасом я наблюдал, как вода появилась в жилой палубе. Сначала она резвилась на линолеуме мелкими ручейками, потом стала всплескивать. И вот уже вода в кубрике гуляет, как ей хочется, – нам по щиколотку. Обмывает трубы парового отопления. Яростно шипит, встречаясь с раскаленным металлом, и отбегает на другой борт, где ее встречают такие же раскаленные трубы. Пшшшш… и пар столбом! Наш кубрик стал медленно наполняться кислым зловонием холодного пара. В этом неприятном тумане плавали фигуры людей и часто громыхали звонки. Поджав ноги, я сидел на рундуке и думал: «Вот она, морская жизнь, без прикрас… Это тебе не в кино!»

– Привыкай! – говорили мне матросы. – Мы же миноносники. Борта у нас слабые. Заклепки на волне вышибает. Шпангоуты мнутся. Оттого и вода… черт ее знает, откуда она берется!

С мостика по трансляции передали:

– Мороз и ветер усиливаются. Началось обледенение. Леера в районе торпедных аппаратов срублены. Держитесь крепче!

– Как это срублены? – спросил я.

– А вот пойдешь с бачком на камбуз – сам увидишь. Не топором же их срубают – просто убирают леера палубы, чтобы, случись противник, они не помешали торпедному залпу…

В обед я взял медный бачок и побежал за пищей для рулевых и штурманских электриков. Камбуз был размещен ближе к корме. От самого полубака до юта тянулись вдоль палубы минные рельсы – корабельная узкоколейка. Но сейчас эти рельсы, дающие упор ногам, уже плотно забило пористым и соленым льдом. Палуба торчала ледяным горбылем. А возле торпедных аппаратов лееров действительно не было. Можешь нырять за борт. Правда, кое-какая страховка все же имелась. Вдоль всей палубы тянулся стальной тросик. На нем – висячие кожаные петли, вроде тех, что бывают в трамваях – чтобы держалась публика. Я сунул руку в такую петлю, напором ветра меня в секунду, как на коньках, домчало до цели. Дверь камбуза раскрыта – прямо на океан. В дверях стоит кок. Плеснет бачковому половник супу в бачок и смотрит – как волна? Если она идет, кок закроет дверь. Волна минует – кок опять смотрит: кто следующий? Он набухал мне полный бачок, и я вдруг понял, что отныне у меня обе руки заняты и держаться на палубе могу только за чистый воздух.

Обжигая руки супом, я побежал обратно. Мимо первого торпедного аппарата меня пронесло как пушинку. Клокочущая бездна лишь издали погрозила мне хищно загнутым крючком гребня: «Я тебя, молокососа!» Вот и второй аппарат. Еще метров десять пути, не огражденного леерами, и можно считать, что я дома. Эсминец вдруг повалило в резком крене. Полундра! Прямым ходом, не выпуская, однако, бачка, я так и побежал… в море! Остановился на самом планшире борта и даже заглянул туда, откуда люди не возвращаются. На мое счастье, следующая волна швырнула эсминец на другой борт. Меня вместе с бачком отшибло спиной к аппарату. Хрястнулся. Но бачок не выпустил. Сжавшись в кресле наводчика, на аппарате сидел Дрябин. Он, недолго думая, хватил меня кулаком по затылку:

– Не раззевывайся, салажня худая! Беги скорей!

Через минуту, мокрый до нитки, потеряв казенную шапку, я поставил бачок с супом перед рулевыми. Проделав еще целый ряд сложных акробатических упражнений, я все-таки вылил первую чумичку с супом на голову своего старшины Курядова, после чего прямо из бачка стал плескать суп в миски.

– Ешьте, – говорил я, – а мне чего-то не хочется…

Я забыл сказать, что у Лебедева подчиненный тоже аншютист, некий Иван Васильевич Иванов. Моя бабушка, из псковских крестьян, родом была из того же Дедовичского района, из которого Иванов был призван на флот. Несмотря на близкое землячество, наши отношения назвать теплыми было никак нельзя. Иванов подозревал, что я суюсь в гиропост из каких-то тайных карьеристских вожделений. К тому же он считал, что юнга недостоин завязывать ему шнурки на ботинках.

Вот и сейчас все хлебали себе супчик и помалкивали, а Иванов попробовал его с ложки и вдруг заявил:

– Чего-то суп не такой сегодня. Жидкий и холодный.

Пришлось мне сознаться, что полбачка супу при крене я выплеснул за борт. А море тут же щедро долило его снова до самых краев.

– Хотите, я снова сбегаю? Тут недалеко…

Лебедев глянул на Иванова и отпечатал твердо:

– Леера срублены. Шкафут обледенел. Не надо!

Рисовую кашу с колбасой я принес уже без аварии. В этом случае бачок можно было держать одной рукой, а другой – самому держаться. Помыть посуду – ерунда. Покидая кубрик, Курядов сказал мне:

– Ты выспись. Сегодня тебя на руль ставить будем…

Иллюминаторы в море задраены намертво. Дневного света не увидишь. А чтобы подвахта отдыхала, освещение вырублено, горят только синие ночные лампы. В этом синем мертвенном свете через лаз, вижу, ползет к нам шифровальщик. Вот человек! Живет в салоне, по коврам ходит, спит на перине, а за едой к нам бегает. Он на ощупь растолкал меня:

– Эй, юнга! Шамовка осталась? Или все свинтили?

Я кивнул ему на шкафчик возле лагуна, там лежали про запас хлеб с маслом и сахар. Потом спрашиваю шифровальщика:

– Эсминец-то наш куда нарезает?

– А какое твое дело? – ответил он мне, жуя.

– Но ты-то ведь знаешь, куда идем?

– Еще бы не знать! Я да командир. Знаем. А ты валяйся.

Кажется, валяться – это единственное, на что я был способен. Качка вконец измотала меня.

Но вот щелкнул динамик, в палубу ворвался шум моря, слышный с мостика, в треске и свисте возникли голоса сигнальщиков, и вахтенный офицер вдруг объявил:

– Юнга Эс Огурцов, заступить на ходовую вахту.

\* \* \*

Оторвал я голову от рундука и тут же опустил ее снова. Кажется, не встать. В старом флоте таких, как я, били цепочкой. Лупцевали до тех пор, пока в острой боли человек не забывал о мучениях качки. Тогда он вставал и шел на вахту. Это жестоко, но другого выхода не было, ибо флот балласта не терпит. Каждый должен делать свое дело. А я встать не мог. Выходит, все мечты – за борт?

Неумолимая трансляция повторила:

– Юнга Эс Огурцов, тебя ждут на мостике.

Я встал. Все дрожало и тряслось вокруг меня – в грохоте, в тумане. Пошел к трапу. Вот оно, море! В полном мраке неслись надо мною черные туши волн, среди которых совсем затерялся «Грозящий», казавшийся посреди стихии маленьким и хрупким. На срезе полубака торчали дула зенитных эрликонов. На их круглых барбетах, с ног до головы опутанные проводами телефонов, сидели зенитчики и медленно покрывались льдом. Сквозь рев ветра я расслышал, как они мне крикнули:

– …рожно… тра-апе-е… олна-а… моет!

Это был самый опасный трап на эсминце – в том месте, которое часто мыла волна. Но его не миновать, если хочешь попасть на мостик. Я все-таки угодил под накат, и как меня не сорвало тогда с трапа – до сих пор не понимаю. С горечью моря во рту, мгновенно прознобленный ветром, я миновал еще четыре трапа и выбрался на платформу мостика. Вот где качало! Внизу-то – шуточки, детский лепет. Амплитуда колебаний мостика была гораздо шире, нежели в низах корабля. Под забрызганным стеклом бесновато гуляла стрелка кренометра. Дойдет до упора и онемеет там, словно застряла. Сильный крен! Возле визира со светофильтрами, проглядывая перед собой мрак и ненастье ночи, согнулся вахтенный офицер. По крыльям мостика цеплялись, чтобы не упорхнуть за борт, сигнальщики. С высоты мостика эсминец был похож на узкое длинное веретено, пронзающее бешеный хаос воды и холода. Сверху особенно заметно, как его стальной корпус прогибается на волне, словно клинок, – согнешь его, но не сломаешь…

Я шагнул в ходовую рубку и только здесь обнаружил свет: от картушки репитера исходило слабое сияние. Под маскировочным колпаком зябко вздрагивала черта нашего курса. Курядов стоял за манипуляторами, а в углу рубки были свалены какие-то тулупы. Порывом крена меня так и швырнуло на эту гору овчин. А из груды тулупов раздался сонный голос командира эсминца:

– Что вы там… Или ноги уже не держат?

Курядов цыкнул на меня:

– Дай поспать человеку. – После чего уступил мне манипуляторы. – Забирай у меня эсминец, – сказал он. – Сдаю курс в девяносто два градуса. Волна лупит нас в правую скулу… Учти это!

Руками в варежках я обхватил рукояти и вахту принял:

– Есть девяносто два. Есть по правой скуле… учту.

Старшина из рубки не ушел, поправляя мои движения:

– Если станешь психовать, это сразу отразится на курсе. Эсминец – дама очень нервная и начнет «рыскать»…

Что я видел сейчас? Передо мною качался затемненный экран ночи, на котором стихия прокручивала один и тот же бесконечный фильм. На фоне черноты и гула волн иногда вырисовывался острый нож полубака эсминца, который упрямо резал волну. Два баковых орудия прижали свои стволы к самой палубе.

– Приучи себя, – говорил Курядов. – Взгляд на картушку, взгляд по курсу. Это необходимо. Можешь заметить то, что прохлопают сигнальцы. Например, мину! Тогда быстро отработай манипуляторами до отказа, эсминец выпишет резкую кривую, после чего докладывай о мине. Но сначала исполни маневр. Ответственность на тебе.

– А командир, – спросил я, – он всегда так?

– Да. Измотан. На походе с мостика не слезает. Сюда и кормежку носят. Офицеры, те, правда, на часок в каюту заглядывают. Так что нам, матросам, совсем барская жизнь…

Рядом со старшиной мне было спокойно. Поверх моей варежки он клал свою громадную рукавицу на собачьем меху.

– Вот так… левым мотором… чуток подвинем.

В желтом свете репитера уверенно дрожала отметка – 92.

– Ну и ладно, – вздохнул старшина. – Справишься один?

– Конечно, – ответил я. – Мы же все это изучали.

Покидая ходовую рубку, старшина сказал:

– В случае чего пихни ногой командира, чтобы вскочил.

Я вытаращил глаза. Как это я, юнга Огурцов, буду пихать ногой командира, который носит звание капитана третьего ранга?

– Он не обидится. Сам просит рулевых об этом…

Старшина ушел, а я остался наедине с кораблем. Я и эсминец. Эсминец и я. Больше никого. Только возле моих ног спит командир «Грозящего».

В матовом свете легко повернулась картушка репитера – курс стал в 99 градусов. Я качнул манипуляторы в сторону, выправляя погрешность курса, но «Грозящий» меня не послушался. Под индексом курса теперь лихорадочно дрожала отметка 102… Мама дорогая! Что я натворил! Я налег на манипуляторы до предела. Ровным стучанием, словно метроном, датчик отбил мне отклонение руля. А картушка репитера поехала назад: 100… 97… 95… 92! Вот сейчас надо удержать эсминец на последней отметке. Но картушка плыла уже дальше, и я почти в панике отсчитывал: 90… 88… 85… Моя ошибка курса склонилась в другую сторону. В промерзлой коробке стальной рубки мне стало жарко, как в бане. Ведь такие же репитеры выведены напоказ в штурманской рубке, перед вахтенным офицером. А в гиропосту старшина Лебедев по матке может видеть, что я запорол эсминец в ужасном рыскании…

Неожиданно зашевелились вороха мохнатых тулупов, будто в рубке проснулся какой-то зверюга, и прозвучал из них голос командира:

– Ну что, юнга? Видать, загробил нам курс?

В оправдание не станешь ведь доказывать, что был отличником учебы. Изо всех сил я ложился грудью на манипуляторы, выправляя эсминец.

– Куда ты их давишь? – Разрыв тулупы, командир встал рядом со мной. – Отработай манипулятором и жди…

Я так и сделал, но «Грозящий» упорно резал ночную слякоть и хляби океана, не желая повиноваться слабому отклонению руля. Вдруг он дрогнул и плавно пришел на нужную отметку курса. Рядом с моей варежкой работала на манипуляторе кожаная перчатка капитана третьего ранга.

– Теперь задержи его! – учил он меня. – Вот так… Ты относишься к рулю, как к врагу своему, и давишь его, давишь. А ты верь, что руль свое дело сделает. Вот на этих рысканиях уже пережгли в котлах зазря много мазута. От рулевого же зависит и экономия топлива. Танкеры гибнут, доставляя нам этот мазут…

Через два часа меня сменил опытный рулевой Корсаков. С мостика я спустился в штурманскую рубку, где Присяжнюк почти лежал грудью на картах, работая с линейкой и транспортиром над прокладкой. Тяжелые магниты, разложенные по краям карт, плотно прижимали их к столу, – никакой сквозняк не сорвет. Я попросил разрешения глянуть на ленту курсографа.

– Смотри, смотри, – ответил он мне недовольно.

Под стеклом курсографа двигалась бумажная лента, разбитая на градусную сетку, а перышко самописца выводило по ней линию курса.

Я как глянул на время своей вахты – так и онемел. Автомат зарегистрировал линию моей вахты неровными скачками, вроде кардиограммы человека с больным сердцем. Присяжнюк сказал:

– Плохо ты вел эсминец. Прямо-таки бездарно.

Он переждал крен и рывком шагнул к курсографу.

– А теперь полюбуйся, как ведет корабль Курядов.

Это была идеальная линия, словно натянули струну. У меня же будто пьяный пытался перейти улицу, и его куролесило зигзагами.

– Простите, – сказал, испытывая неловкость. – Я старался…

В рубке заработал радиопеленгатор. Маяк Цып-Наволок сообщал в океан свои позывные, и в сумятицу ворвалось знакомое: «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы…» Присяжнюк, выждав момент при крене, кинулся к верньеру настройки, говоря мне:

– Тебя никто не обвиняет. Все так начинали. Один хуже, другой лучше. У любого корабля собственный характер. Надо изучить повадки эсминца. Знать, как он слушается руля. Не отчаивайся! Месяца через три будешь вести точно.

Штурман запеленговал еще один радиомаяк, который всю ночь напролет давал кораблям Утесова: «Как много девушек хороших, как много ласковых имен…» Над столом штурмана висел списочек популярных песен, напротив каждой песни обозначено, какой маяк эту песню транслирует. Скоро на карте протянулись две линии. Присяжнюк сел, довольный, на откидной стульчик. Дымящей папиросой он указал мне то место, где линии пеленгов пересеклись:

– Сейчас мы находимся здесь. Скоро, юнга, придем…

И я увидел, что мы подходим к Новой Земле. Странная штука – жизнь. Сидишь в школе и зубришь по географии, что есть такая земля. Она-то есть, но тебе до нее нет никакого дела. А потом судьба хватает тебя за шкирку, дает пинка – и ты летишь к Новой Земле! Дело сразу появилось…

\* \* \*

В полдень на короткий срок обозначился неясный просвет. Вот тогда, в этот просветленный промежуток времени, эсминец втянулся в дикую бухту, огражденную заснеженными скалами. Из тумана выступили безлюдье, отрешенность и запустение унылого мира. А посреди бухты, словно пришелец из другого мироздания, стоял гигантский сухогруз. Тысяч так на десять-двенадцать тонн водоизмещения. Он приплыл сюда под флагом Панамы, которая входила в антигитлеровскую коалицию держав. Не знаю, чем он был загружен, но хорошо помню, что на палубе корабля стояли, подобрав сверкающие локти, четыре больших паровоза.

Качка кончилась.

Замполит с парторгом стали обходить жилые отсеки эсминца.

– «Панамец» отбился от каравана. Сумел избегнуть атак немецких подлодок и авиации. Забрался в эту дыру и считает, что грузы в СССР уже доставлены, а их изба с краю. Порт же назначения – Архангельск! Мы его отконвоируем до Иоканги, откуда он пойдет дальше по маршруту в эскорте беломорских тральщиков. А мы в Иоканге свяжемся со штабом и получим новое задание. Заодно с танкера «Юкагир» подсосем немножко мазута, чтобы чувствовать себя уверенней…

Бухту продувало свирепым сквозняком, который срывался на воду с высоких гор. Наш командир решил завести «Грозящий» под высоченный борт транспорта, державшегося за грунт двумя якорями. На малых оборотах мы заходили под корму «панамца». Я видел, как с нашего полубака матросы подавали концы, забрасывая их кверху. Но каждый раз подскакивал какой-то негр – хохочущий! – и ногой в ярко-желтом ботинке сбрасывал швартовы обратно.

Положение у нас было скверное. Отжимной ветер тут же отгонял «Грозящий» на камни, где можно покорежить винты, и командиру приходилось заново отрабатывать опасный маневр. Над полубаком эсминца висела густая брань: наши дадут концы – негр их сбросит. Наконец это издевательство надоело. Командир взял самый большой рупор – «чертыхальник» и выругал сухогруз по-английски, используя при этом выражения, понятные во всем мире. Сразу явился на корме какой-то молодой джентльмен, в сером костюме, при галстуке бабочкой. Меня поразило, что этот господин не дал негру в ухо, а своими нежными руками не погнушался принять от нас ржавые, грязные тросы. Умелыми движениями он сделал «восьмерку» на своих кнехтах. Затем, увидев, что его идеальный пиджак испачкан, он его снял и, не глядя, швырнул за борт. Смахнув с губы сигарету, джентльмен удалился в каюту. А негр облокотился на поручни и поплевывал вниз… Вся эта поразительная сцена так врезалась в мою память, что явственно встает перед глазами и сейчас! Командир со штурманом сразу поднялись на «панамца». Там они, видать, крепко нажали на капитана, и буквально через полчаса сухогруз с паровозами на палубе потянулся в море.

Наша задача – чтобы его не потопили! Охраняя транспорт от подводных атак, мы берегли и себя. Конвойная служба всегда скучновата. Но ослабить напряжение ни на минуту нельзя. Все спокойно, но ты ведь никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент.

Переход до Иоканги тянулся долго. Сколько ни приказывали с нашего мостика увеличить скорость, «панамец», словно глухой, шел на восьми узлах. Я слышал, как командир сказал:

– У него же турбины. Двенадцать узлов смело дать может…

Нам эта волокита надоела. Среди ночи я услышал взрывы, С кормы сбросили глубинные бомбы. Неужели атака?

– Нарочно парочку сбросили, – объяснил мне Курядов, – чтобы союзники пошевелились…

Счетчик лага застучал и отметил скорость в тринадцать узлов. Как видно, страх перед подводными лодками был силен. Шли дальше. Не могу сказать, что я привык к качке. Она стала для меня обыденной, как и тошнота, как и желание спать. Рулевых на эсминце было трое, и в моих услугах они особенно не нуждались. Но меня все же приучали к рулю, ставя в рубку когда на часок, когда на два.

До самой Иоканги прошли без приключений, если не считать того, что возле Святого Носа мимо нас проскочила немецкая торпеда. Акустики не обнаружили противника под водой: очевидно, лодка притаилась под самым берегом, выжидая удобной цели, и засечь ее приборы не смогли. Торпеда пришлась как раз на мою вахту. Я даже не понял, в чем дело. Вдруг поднялся гам на мостике, сигнальщики в тулупах кричат, а мне – команда:

– Лево на борт! Клади до предела…

Передо мною, сияя голубым фосфором, резко качнулись стрелки тахометров – мы прибавили оборотов, – а потом нервно застучали мои рулевые датчики. Отработав крутой поворот, я видел, как далеко в море от нас убегает сизо-пегая дорожка керосиновых газов, вспененных торпедным мотором. Смерть прошла мимо в самой прозаической обстановке. Я даже не удивился, будто в меня каждый день пускали по одной торпеде. Молодости вообще несвойственно испытывать страх, жить она собирается вечно.

Когда «панамец» втянулся в гавань Иоканги, мы проследовали за ним на глубокий рейд, а навстречу нам, грохоча дизелями, побежали искать подлодку «морские охотники», два маленьких героя под гвардейскими флагами. На баке у них по пушчонке, на корме – пяток-другой глубинных бомб, а они-то и есть подлинная гроза для подводного противника…

Утром я проснулся и вижу, что на рейде дымят три наших тральщика, готовые отконвоировать «панамца» дальше. Белое море уже захвачено в ледяной плен, транспорт потащат с помощью ледокола, так что насморк неграм был вполне обеспечен.

Выяснилось, что тральщики доставили из Архангельска тридцать унтер-офицеров американского флота, специалистов по радиолокации. Теперь штаб поручал нам взять эту ораву с собой в Мурманск, откуда они с обратным караваном вернутся на родину.

\* \* \*

В первой палубе эсминца жила, как тогда говорили, морская интеллигенция, к которой имел честь принадлежать и ваш покорный слуга, – рулевые, аншютисты, акустики, сигнальщики. Хотя тут и трясло порядочно на качке, но в корме было бы еще хуже: там у матросов зубы стучали от работы винтов. Потому-то гостей решили поселить в нашей палубе. Командиры боевых частей попросили нас убраться на время в другие кубрики.

– Как-нибудь, – было сказано, – приткнетесь по углам. Пойдем быстро. Узлах на восемнадцати. Так что долго мучиться не придется. А тебе, юнга, предстоит бачковать сразу на два стола.

За своих я не боялся, а вот заокеанские гости…

– Боюсь, – признался. – Вдруг не угожу американцам?

Курядов на это лишь отмахнулся:

– Да брось ты. Это же не англичане. С американцами просто. Что ни дашь – все слопают и еще просят. Они такие.

Матросы убрались из кубрика, предварительно застелив свои койки свежим бельем. Я залил лагун кипяченой водой. Баталер выдал мне больщую бутыль с клюквенным экстрактом. «Это вашей палубе… на месяц!» – предупредил он меня. Рядом с бутылкой я положил ложечку. Одной чайной ложки на большую кружку вполне достаточно, чтобы человек «окривел». Все в порядке. Позвонил я в каюту штурмана:

– Товарищ старший лейтенант, я все сделал, что еще делать? Может, уйти?

– Дождись их, – ответил штурман. – Все-таки они наши гости, а ты будь вежливым хозяином.

– А чего говорить им? По-английски я ни в зуб ногой!

– Как-нибудь столкуешься. Да они к тебе и не полезут с разговорами. Больно ты им нужен со своими речами…

Слышу, что наверху началась возня с тросами и кранцами. Нас качнуло, что-то громко затрещало – это неудачно подвалил к нам тральщик, ломая привальный брус нашего эсминца. С палубы – голоса и шум: ну, значит, идут! Я посмотрел на себя в зеркало: вполне представительный мужчина. Одернул на себе робу.

Сначала через люк долго сыпались чемоданы и узлы, банджо и балалайки. Американцев еще не видать, а по трапу кубарем катится их пестрая хурда. Вот и они! Все молодежь, лет по двадцать пять, не больше. Парни здоровые, как на подбор, с одинаковым румянцем. Не знаю отчего, но все тридцать были в чудесном настроении. Может, потому, что домой возвращались? Двигались они так быстро, что кубрик стал тесным от их толкотни и гвалта. Первым делом кинулись к иллюминаторам и спешно раздраили их. В кубрике сразу – хоть волков морозь!

Несмотря на зимнее время, американцы были в белых тропических бескозырках, на ногах – полуботинки и фильдекосовые носки с резинками. Когда сядет на рундук, брюки короткие задерутся, и видны голые волосатые ноги с крепкими мышцами. Холода они, как видно, не боялись, и я их стал за это уважать. Они дружно покидали свои длинные бушлаты куда попало, и все оказались при наших значках. У кого на груди – «Ворошиловский стрелок», у кого – «Готов к труду и обороне». На какого-то юнгу они не обратили внимания, смотрели сквозь меня, словно через пустую бутылку.

Вдруг раздался звонок телефона, один из американцев что-то сказал. Что – я не понял, но прозвучало это так:

– Уай, уай, уай, уай…

Пока я говорил по телефону, все тридцать стойко молчали, и я отметил их деликатность. Молодцы – не мешали… Звонил мне из салона помощник командира капитан-лейтенант Григорьев.

– Слушай, юнга, они уже там? – спросил он.

– Здесь, – говорю. – Уже закурили. Им можно курить?

– Пускай дымят, все-таки гости… Ты вот что! – наказал мне помощник. – По опыту жизни знаю, что американцы не терпят ничего закрытого. Ни банок, ни бутылок, ни люков, ни иллюминаторов! От этого, наверно, немцы так красиво их топят. Но мы-то в утопленники пока не торопимся…

– Товарищ капитан-лейтенант, – доложил я, – тут уже все иллюминаторы нарастопырку. Что мне делать? Лаяться с гостями? Или пускай живут, как хотят?

– Как дадим ход, сразу задрай. И – проследи… Ясно?

– Есть!

Трубкой – щелк. Разговор окончен. Все тридцать американцев сразу дружно заговорили. Один из унтеров, видать, старший в команде, стал напротив меня и что-то долго заливал мне по-английски. Хлопнул меня по лбу, потом себя хлопнул и показал на свои часы. Я, конечно, ни бельмеса не понял, но зато ответил ему правильно:

– Олл райт! – говорю. – О’кэй! – говорю…

Он сразу успокоился и опять включился в общий разговор тридцати. Слышу, как под нами с грохотом поползли якоря. Ага, уже выбирают! Стал я задраивать иллюминаторы, обходя весь кубрик по часовой стрелке. Оглянулся – за мной, тоже по часовой стрелке, идут американцы и тут же раскручивают иллюминаторы обратно. Ни злости, ни волнения. Видят же, что я закрываю, – однако спокойно раскручивают. И при этом продолжают болтать с приятелями. Тогда я запустил вентиляцию в палубу и, отроду не зная английского языка, закричал по-английски:

– Камарад, иллюминатор – ноу, а вентилятор – иес!

Поняли. И не обиделись. Эсминец потянулся из Иоканги…

Американцы стали меня замечать, когда я приволок им с камбуза первый обед. Тут до них дошло, что я не для мебели, а важная персона на корабле. Стали они меня похлопывать по плечам. По тону их голосов я понял, что они меня одобряют. Стоило мне просунуть в лаз медный бачок с супом, как союзники издавали некий вопль, почти непередаваемый. Что-то вроде:

– Ай-йо-йо! Е-е-е… Во!

Смотреть, как они едят, сущее наслаждение. Сразу просят нести второе. Смешивают его с супом. Ковыряются в компоте. Выловят грушу, сливу. Рассмотрят все это, не прекращая бурно дискутировать. Потом ахнут компот туда же, где суп и второе. Все это размешают и едят так, что за ушами пищит. Белый хлеб лучше не неси – есть не станут. Зато с жадностью кидаются на наш черный. Я таскал им черный хлеб подносами – все смолотили! Ни крошки не осталось.

После обеда, вижу, один встает из-за стола. С кружкой в руке направляется к лагуну. Взял он бутылку с экстрактом. Встряхнул и посмотрел ее на свет. Даже не понюхал – что тут, и сразу набулькал себе полкружки. Тут я его за руку схватил:

– Что ты делаешь? – говорю. – Мне ведь этого барахла не жалко, пойми ты. Но ведь ты до самой Америки косой будешь…

Кажется, он понял только одно слово «Америка». Добавил в кружку воды и тяпнул. Я думал – тут ему и конец! Ничуть не бывало. Даже не скривился. Взял зубную щетку и пошел в гальюн чистить зубы. За ним подходит второй. Тоже набухал себе полкружки экстракту. С разговорами даже водой не разбавил. Хватил до дна! И тоже потопал зубы чистить. Так прошли все тридцать. От бутылки, выданной нашим двум боевым частям на целый месяц, ни капельки не осталось.

Кто их знает! Может, им и вкусно?

Пока дошли до Мурманска, я с ног сбился. Только своих ребят покормишь, посуду ополоснешь, как надо бежать на камбуз – кормить американцев. Измучился я с ними! Но Курядов оказался прав: американцев вполне устраивала та грубая экзотика, которую мы им давали. И сошли они на берег в Мурманске в таком же чудесном настроении, в каком мы их приняли в Иоканге… После унтеров в кубрике осталась большая куча красочных журналов, где было множество фотографий – Гитлера с овчаркой, Геринга с жезлом, Гиммлера с курочкой, Геббельса с семьей – все то, что в нашей печати давали только в карикатурах. Долго еще после американцев мы из самых неожиданных мест выуживали то одинокий ботинок, то яркий носок, то пачку сигарет. Растеряхи!

Потом в наш кубрик спустился капитан второго ранга – «смерш»:

– Говорят, у вас журналы с картинками. Дадите почитать?

Мы ему отдали журналы, и он их, понятное дело, не вернул. В каюте кавторанга их тоже не было. Я так думаю, что в утиль их не бегали сдавать. «Смерш» потом спросил меня:

– По-русски кто-нибудь говорил?

– Я только по-русски и говорил. А они по-своему.

– Дарили они тебе чего-либо?

– Давали. Шоколад. Сигареты. Я их не взял.

– Мог бы и взять. Греха не было бы. Даром ты, что ли, с бачком таскался? Рядовые американцы – народ щедрый, и к русским людям они хорошо относятся…

За время войны мне не раз пришлось жить бок о бок с американцами, англичанами и норвежцами. Из этого общения я сделал для себя вывод: самые невозмутимые – норвежцы, самые покладистые – американцы, самые нетерпимые – англичане. Уважаю англичан как стойкую энергичную нацию, но жить с ними я бы не хотел! У меня есть свои причины именно так думать об англичанах. Больше всех мне нравились норвежцы, спокойно идущие на смерть и на свадьбу. От них я усвоил для себя прекрасную привычку к холоду. Вот уже тридцать лет я в любой трескучий мороз не ношу перчаток.

\* \* \*

Надо сказать, что на «Грозящем» мне не сразу нашли постоянное дело. Два похода я даже селился на корме – в пятой палубе, где жили минеры и торпедисты. Моя задача была проста: по тревоге я, словно угорелый, кидался по трапу на ют и там, при атаках на подводные лодки, помогал минерам отдавать цепи с глубинных бомб. Ют эсминца низок, через него бьет волна, работа трудная. Больше всего смытых – с юта. Здесь чаще, чем где-либо, слышалось: «Держись крепче!» Очевидно, командование все же опасалось за мою юную жизнь, потому что вскоре меня перевели на другой пост и стали обучать специальности горизонтального наводчика КДП.

КДП – это командно-дальномерный пункт, массивная башня, торчащая над мостиком. По бокам ее распялены трубы дальномеров, дающих дистанцию до противника. Хрен редьки не слаще! Сидишь в низком кресле, согнутый в три погибели, а вокруг броня обшита кожей. Ты словно наглухо запечатан в промороженном танке, который мотает из стороны в сторону – дух из тебя вон! Перед тобою – оптика прицела с вертикальной нитью, которую надо совместить с фок-мачтой корабля противника. Рядом со мною сидит вертикальный наводчик, у него в прицеле нить тянется по горизонту, и он обязан подвести ее под ватерлинию противника. Когда мы оба отработаем на оптике совмещение, можно давать залп.

Но и в КДП я долго не засиделся. Нашли, что такая работа мне не по зубам. Опасность, правда, была. Она заключалась в той обезьяньей ловкости, с какой следовало по тревоге взбираться в башню КДП. Бывали на бригаде случаи, что дальномерщиков срывало ветром при крене. Удачно сорвет – все же соберешь свои кости на решетках мостика; неудачно – порхнешь за борт, и твое личное дело сдадут в архив флота. Наконец мне поручили по боевой тревоге находиться в штурманской рубке. Тут все знакомое, все родное. Хороший кожаный диван приютил меня, и я привык видеть перед собой спину штурмана, согнутую над картами. Присяжнюк любил при расчетах разговаривать вслух и меня при этом не стеснялся. Он был хороший человек, и я его искренно уважал, хотя и дрючил он меня крепко, скрывать тут нечего…

Служба налаживалась. Но гиропост с его тайнами заманивал меня все больше. Бывало, закончишь работу по должности рулевого, а потом с мостика лезешь на днище эсминца и там помогаешь Лебедеву – уже как штурманский электрик. Иванов выходил из себя, видя, что старшина принимает мои услуги.

– Карьеру делаешь? – говорил он мне. – Не суйся, мелюзга, не в свое дело. Или у тебя своих медяшек не хватает драить?

Но я любил гирокомпасы, Лебедев был ко мне внимателен, и потому я плевать хотел на этого «земляка». Что нам делить? Я же не подсиживаю его, чтобы занять место начальника. Да и какой он, к бесу, начальник? Сам перед Лебедевым по струнке ходит и в глаза ему заглядывает. Старшина, напротив, заметив мой интерес к электронавигационным приборам, всячески поощрял меня, и скоро получилось так, будто у меня два командира – Курядов и Лебедев. Об этом старшины и сами, смеясь, поговаривали в кубрике.

– Вон твой, – говорил Лебедев. – Молодой да ранний.

– Много он ест, – отвечал Курядов. – По двум постам сразу.

– Что делать? Стал общим… Может, распилим его пополам, чтобы с единоначалием не мучиться?

Присяжнюк знал о моей страсти к гирокомпасам, но как штурман он был даже заинтересован в том, чтобы его рулевой был грамотен в инструментах и приборах навигации. Меня раздирало по службе между мостиком с манипуляторами и днищем эсминца с его гиропостом. Ах, как я жалел тогда, что Школа юнг не выпускала штурманских электриков! Впрочем, иногда Лебедев уже оставлял гиропост на мою ответственность.

– Посиди тут, – говорил он мне. – Я сейчас вернусь. Поглядывай на термостат. Если что, усиль работу на помпу…

В декабре наш «Грозящий» выходил на встречу союзного каравана. В океане стоял лютейший мороз. Дышать, стоя лицом по курсу корабля, было нельзя – обжигало легкие. Надо отвернуть лицо, вдохнуть и тогда снова глядеть вперед. Началось опасное обледенение.

Когда многие тонны воды смерзаются на палубе в глыбы пузырчатого льда, корабль тяжелеет, у него появляются опасные крены. «Грозящий» в такие моменты критически замирал на борту, с трудом возвращаясь на прямой киль. По трансляции объявили: «Комсомольцы – на обколку льда!» Мне досталась работа на полубаке – под самым накатом волны. Все мы были привязаны шкертами за пояса. Лед разбивали скребками и ломиками. Сами превратились в сосульки. Закончили работу, когда эсминец уже втягивался в Кольский залив. К пирсу подошли вместе с «Разводящим» и встали борт к борту. На «Разводящем» еще продолжали обколку льда, и среди боцманской команды я заметил Витьку Синякова.

– Привет! – окликнул я его.

Вид у него был пришибленный и потасканный. Видать, службишка ему не давалась. Ватник заляпан красками. Витька перетянул его ремнем потуже, чтобы не поддувало ветром, и выглядел неряшливо. Шапка болталась на затылке. Повзрослел он и мальчишкой никак не выглядел.

После аврала мы сошлись возле поручней эсминцев. Между нами, разделяя нас, пролегла пропасть черной воды.

– Скверно, брат, – сознался мне Синяков. – Я уже два раза по десять суток огреб. Сидел в Ваенге… Гауптвахта без клопов, кормят сносно. Да что рассказывать? Или ты сам не сидел?

– Нет, – говорю, – пока Бог миловал. А что?

– Послали уличные нужники убирать. Там все замерзло – горой! Ну, совсем как сталактиты…

– Сталагмиты, – поправил я его. – Снизу растут.

– Во-во! Точно так! Отколешь кусок в полпуда, прижмешь к себе и тащишь до моря. Бултых! А оно не тонет…

– Ты ведь в самодеятельность хотел, – напомнил я.

Витька глянул на меня как-то тускло.

– На чечетке не выедешь. Я уже совался к замполиту. Мол, так и так: талант пропадает. А он меня с порога завернул. Ансамбль Северного флота уже полный штат плясунов имеет. Говорят, пока не надо…

Мне стало жаль Витьку. Вот что значит – человек попал на флот без любви к флоту. Теперь аукались ему двойки и тройки на занятиях. Боцманская команда на эсминце – не сахар! Авральные работы, покраски корпуса, цепи якорей, швартовые концы и такелаж… Синяков – не Здыбнев, не в кожаных перчатках за пулеметом, а в брезентовых рукавицах распрямляет стальные тросы на полубаке. Что-нибудь поднять тяжелое – зовут боцманскую команду.

Больше говорить было не о чем, и мы разошлись. Но я хочу прервать свою повесть, чтобы рассказать о конце Витьки Синякова…

\* \* \*

На эсминцах был такой порядок: если ты вернулся из отпуска или из госпиталя, а твоего корабля нет на базе, являйся на любой эсминец. Тебя примут, как родного, накормят, уложат спать – и жди, когда твой эсминец вернется с моря. Рулевой при этом шел гостить к рулевым, комендор – к артиллеристам, а машинист – в кубрик БЧ-V. Всех, конечно, не упомнить, но людей связывали профессиональные интересы. Если же корабль, на котором ты временно нашел себе пристанище, снимался с базы на операцию, ты переходил на другой эсминец, на котором и ожидал прихода своего корабля.

Это случилось уже под конец войны. Как-то я встретил Синякова в кубрике наших комендоров, хотя он к БЧ-II не принадлежал.

– Ты чего здесь околачиваешься? – спрашиваю.

– Да опять с «губы»… «Разводящий»-то еще в море!

Вечером с моря вернулся на рейд «Разводящий» и, не подходя к пирсу, стал на бочку. Но Витька, кажется, не заметил его прибытия. Проходя через вторую палубу комендоров, я мимоходом сказал ему:

– Твой уже на бочке греется… Вернулись!

– О, друг! Спасибо, что сказал. Я сейчас…

Я работал на мостике, соскребая заскорузлую соль с приборов, и сверху мне все было видно. Я заметил, как Витька Синяков с нашего эсминца перепрыгнул на борт старого ветерана «Куйбышев». Огляделся по сторонам и нырнул в люк палубы. Странно. У другого конца пирса как раз стоял катерок с «Разводящего», принимавший с берега мешок с письмами. Почему же, спрашивается, Витька не прыгнул на катер?..

К ночи нас вместе с «Куйбышевым» переставили от пирса на бочку, готовя к выходу на операцию. При первых звонках аврала Витька выкинулся из люка «новика» и перескочил на палубу «Дерзновенного», который в море идти не собирался. Наш эсминец, покинув пирс, кормою вперед медленно выходил на середину рейда.

Мы ушли в море. Мы вернулись с моря. «Разводящего» на рейде Ваенги уже не было. А голова Витьки однажды промаячила в люке «Достойного». У меня там был приятель-сперрист, я спросил его:

– А чего этот пентюх? Почему он вас объедает?

– Да он с «Жестокого», а «Жестокий» на охоту ушел…

Тут я все понял. Хитро придумано. Человек вроде бы при деле. Сыт, одет и спит в тепле. А боевой пост им покинут. В поганом настроении я делал утром приборку в каюте «смерша». Надо сказать, что кавторанг относился ко мне по-отечески, никогда меня не ругал, а лишь сокрушался с шуточками: «Ах, юнга, юнга… опять после тебя пыль осталась. Пороть бы мне тебя, да устав не позволяет!» Сегодня он просто спросил:

– Огурцов, ты чего нос на квинту повесил?

Сначала я смолчал. А потом у меня вырвалось:

– Вот вы обязаны шпионов и вредителей отыскивать. А как вы относитесь к дезертирам?

Мой «смерш» был большой любитель помыться. Он со вкусом выбирал в шкафу полотенце, собираясь следовать в ванную.

– А как, – спросил он, насвистывая, – я могу относиться к дезертирам? Так же, как и ты. Не лучше. И не хуже.

Я закинул щетку за шкаф и собрался уходить из каюты.

– Глаза у вас у всех на затылке, – сказал я.

Продолжая свистеть, «смерш» взял кусок мыла.

– Постой! А с чего ты о дезертирах беспокоишься?

– Встретил тут одного.

«Смерш» сунул полотенце обратно в шкаф и выбрал себе другое.

– Дезертиров, – ответил он, – на эсминцах не бывает. Никто даже не знает, с чем их едят! Если же такой подлец сыщется, то… куда он денется? Без документов. Без денег. Без продуктовых карточек. К тому же существует на флоте порядок: через три часа после неявки матроса сведения о нем уже даются в штаб флота.

Спокойствие капитана второго ранга меня даже взбесило.

– Вы, – сказал я ему, злорадствуя, – можете перепахать носом всю страну до самого Сахалина, но никто из вас не догадается искать дезертира с эсминцев… на эсминцах!

И поведал ему о Витьке Синякове: ведь так можно до конца войны ползать с эсминца на эсминец, никуда не отлучаясь, и всюду пользоваться даровым гостеприимством. На следующий день я опять делал приборку в двухместке и ни о чем «смерша» не спрашивал. Он сам завел разговор со мною:

– А ведь ты прав… Сведения о Синякове, как о дезертире, штаб флота уже давно выслал по месту его призыва. Думали, он в родные Палестины подался. У печки кости греет. А он здесь. Сукин сын! Даже чисто выбрит оказался. Под мухою был. Ну, его взяли.

Вспомнил я тут, как бывало мне тяжело в море. Как я в сутки спал по четыре часа. Мокрый. В волосах лед. А он, гад фланелевый, порхал с эсминца на эсминец, будто воробей… там клюнет, там попьет, там побреется! Я спросил кавторанга:

– А что теперь ему будет за это?

– Если бы такой фортель выкинул ты, вышибли бы из комсомола. Списали бы с флота как несовершеннолетнего. Но этот-то обалдуй! С ним дело ясное – штрафной батальон.

– Правда, что там все погибают, как смертники?

– Не совсем так. Штрафники – не смертники, но обязаны искупать вину до первой крови. Потери в штрафбатах, конечно, большие.

Случилось так, что вскоре наш эсминец зашел в Мотовский залив, высадив на Среднем, почти у самой передовой, десант пехоты. Я не мог не побывать на полуострове, славном своей героической обороной. Как был – в робе и ватнике – зашагал по дороге, ведущей на Муста-Тунтури, где шла страшная война в скалах. Заглянул в землянку. Да, тут не те землянки, какие были у нас на Соловках, – она напомнила мне кладбищенский склеп. При свете фитиля два солдата били вшей на гимнастерках. Один из них был уже старый, с большой лысиной и бровями Мефистофеля, а другой… другой был Витька Синяков!

Он со мною охотно поздоровался:

– Жив и я, привет тебе, привет… Вот, познакомься. Мой товарищ по «бату». Вчера едва живы остались. Он штабной с Ладожской флотилии. Почти адмирал! Самовольно отвел бронекатера с позиции, и его сюда закатали. Как видишь, компания у меня приличная…

Лысый «почти адмирал» двинул бровями, как ширмами, спросил:

– Эй, оголец! Обыщи себя на предмет курева… Есть?

– Неужто до сих пор некурящий? – сказал Витька.

– Нет. Обещал отцу, что до двадцати не притронусь.

– Достань махры, – взмолился Витька.

Я сказал, что сбегаю на эсминец и принесу.

– Обманешь, – не поверил бровастый «почти адмирал».

Я не обманул их. Ноги молодые, быстро слетал на «Грозящий», вернулся обратно с пачкой самосада. Штрафники алчно накинулись на махорку.

– Спасибо, – говорил Витька, – что не забыл друга.

Мне было жалко Синякова, но щадить его я не стал.

– Не ври! – сказал я. – Друзьями мы никогда не были. Просто я расплачиваюсь с тобой по старому счету.

– Табаком-то этим? А за что?

– Что ни говори, а на флот-то я попал благодаря тебе. Мне тогда в соломбальском Экипаже после блокады и голода никак было не выжать семьдесят килограммов… Ты выжал их за меня!

Больше я его никогда не видел. Не знаю, что с ним.

Наверное, пропал. Жалеть ли его?

\* \* \*

Одограф – хитрый электромеханический жук, который, ползая по карте, автоматически вычерчивает на ней все изменения курса корабля. Обычно, когда эсминцы охотились за подлодками, под одограф подкладывали чистую кальку. Потом, по возвращении с моря, эту кальку командиры кораблей сдавали в штаб бригады. Она, эта калька, являлась важным документом атаки на противника. По кальке отмечали все промахи командира, по таким калькам офицеры учились топить вражеские подлодки. Все заходы для бомбометания, все сложнейшие эволюции эсминца при атаке вырисовывал одограф, работающий от матки гирокомпаса и от счетчика лага.

Кстати, потопить подлодку не так-то легко. Бывало не раз, что на поверхность моря, заодно с пузырями воздуха, выбрасывало содержимое гальюнов, запасы сушеной картошки и решетки разбитого взрывами мостика. Мы уже праздновали, собираясь вписать в звезду на рубке эсминца новую цифру побед, но разведка докладывала, что поврежденная подлодка дотянула до базы. Немецкие подводники были матерыми и опытными вояками.

Скоро со мной случилось одно событие, на первый взгляд малозначительное, но которое в корне изменило всю мою жизнь. Это произошло при атаке на подводную лодку, которую удачно засекли гидроакустики. Когда я взлетел по тревоге на свой пост, штурман уже пустил одограф гулять по карте. Сильные магниты удерживали прибор на качке, прижимая его к железному столу. Тихо постукивая, одограф выставил паучью лапу с карандашом и был готов записать все элементы атаки.

Присяжнюк протянул мне секундомер:

– Я взбегу на мостик, а ты время каждого взрыва проставляй на кальке… Ясно?

Конечно, ясно. Я встал, как и штурман, внаклонку над столом. Расставил ноги пошире. Надо мною – амбушюр переговорной трубы, и через этот раструб я слышал все, что делалось на мостике.

Вот раздался возглас командира БЧ-III:

– Первая серия – пошла! Вторая – товсь…

Я отметил время сброса первой серии глубинных бомб, а мой одограф, тихо стуча, передвинул карандаш, рисуя другой курс. Значит, легли в поворот. Открыв дверь рубки, я пронаблюдал, как четыре водяных гейзера выросли за кормой, прикрытые сверху шапками оранжевого дыма. Снова отметил время. С мостика было слышно, как сорванно доложил акустик:

– Лодка уходит… пеленг… глубина погружения…

– Третья – товсь! Дистанция взрыва сорок – шестьдесят.

И вдруг мой одограф остановился и замолчал.

– Одограф скис, – доложил по трубе я на мостик.

Сверху через амбушюр донесло возглас командира:

– Пропала калька, дьявол ее раздери…

Я выдернул из кармана отвертку, которую носил с собой, подражая Лебедеву. Что случилось, дружище? Соленоид забарахлил? Нет контакта с лагом? Нет, все дело в шаг-моторе, от реверсов которого и шагает одограф по карте. Я сунулся отверткой в клеммы, поджал их – и одограф застучал снова.

– Калька будет, – сообщил я на мостик…

Сбросили еще серию. Четырежды эсминец било под днище упругим водяным молотом. Заглушая все предыдущие серии взрывов, вдруг двинуло эсминец под киль пятым – очень сильным, и я услышал с мостика голоса, в которых чуялась радость:

– Пятый – не наш!

В рубку ворвался штурман и сразу – к столу:

– Что с одографом? Такая атака… жаль, что не попала на кальку!

Я сказал, что обрыв длился всего минуту – и я уже устранил неисправность.

– Слышал, как рвануло? Кажется, на лодке взорвались батареи в аккумуляторных ямах. Сейчас ляжем на контрольное бомбометание. Надо верный крест поставить на этой лодке…

Я стал в раскрытой двери рубки, чтобы видеть последние взрывы. Но на мостике звякнул телеграф, раздалась команда:

– Дробь атаке! Орудия и аппараты – на ноль…

Командир эсминца «задробил» атаку, очевидно, решив не транжирить боезапас ради контроля. Мы прошли над местом гибели лодки, и я сверху заметил, как тяжело колышется на волне жирное пятно соляровых масел. Вниз лицом, с пузырем спасжилета на спине, плавал мертвец, выброшенный с глубин. На его руку была намотана лямка парусиновой сумки. С эсминца не успели подхватить эту сумку, а покойника тут же замотало под винты, и пена, вылетая из-под кормы, стала на мгновение красной, как на закате солнца… Я вернулся в рубку:

– А сколько человек в команде такой подлодки?

Штурман выключил одограф. Калька была закончена.

– Смотря какая подлодка, – ответил он мне. – От полсотни матросов и больше, если крейсерского типа… А что?

Эти полсотни фашистских душ я мысленно поделил на сотню человек нашей команды, и у меня получился итог.

– Есть! – сказал я. – Половину фашиста я угробил. Теперь дело за второй половиной, и тогда на моем собственном боевом счету получится целый гитлеровец…

Штурман засмеялся:

– Какая-то у тебя дикая бухгалтерия. Разве можно врагов делить на четвертинки и половинки? Важен общий итог всего корабля…

Труба с мостика глухим басом спросила:

– Юнга там? Пусть поднимется на мостик…

По эсминцу проиграли отбой, и навстречу мне с мостика горохом сыпали вниз дальномерщики и подвахтенные сигнальщики. Командир сидел возле телеграфа на раскидном стульчике и натирал себе висок карандашом от головной боли. Вопрос он задал мне странный:

– Ты зачем исправил одограф?

– Он же скис…

– А разве твое дело соваться с отверткой туда, где ты ни черта не смыслишь? А если бы пережег соленоид?..

Сигнальщики оглядывали горизонт и заодно слушали, какой скрип исходит от юнги, когда его драят с песком и с мылом. Я отвечал капитану третьего ранга, что не такой уж я дурак, чтобы портить прибор, устройство которого мне хорошо знакомо. Командир настаивал:

– А вдруг бы испортил! Если тебя в базарный день продать, и то не выручили бы столько, сколько стоит этот одограф.

Рукояти телеграфа стояли на «средний вперед». Бак эсминца то глубоко уходил в море, то его подбрасывало наверх – в шуме разбегавшейся воды. Берегов не было видно.

– Чем ты хоть крутил его там? Небось ногтем?

– Вот и отвертка, – показал я командиру.

– Скажи, какой мастер объявился. С отверткой служит!

Из рубки поднялся штурман, сразу вмешавшись в разговор.

– Павел Васильевич, – сказал он командиру, – за Огурцова могу поручиться: поступал точно по инструкции. Одограф этот юнга знает, поверьте мне, не хуже штурманского электрика.

– Он же только рулевой, – буркнул командир; встал со стульчика, шагнул к визиру и погрузил свое лицо в каучуковую оправу оптики; он оглядел горизонт в солнечной стороне, откуда больше вероятность появления противника, и сказал мне отрывисто: – Ну, ладно. Ступай со своей отверткой…

Покидая мостик, я слышал, как он говорил замполиту:

– Сергей Арсеньич, а мальчишка-то старается. Видать, со временем неплохой спец выработается из него. А чтобы старался человек не зря, юнгу надобно поощрить.

– Может, благодарность ему объявим?

– Это слишком просто. У него их уже мешок. Скоро солить будет… Придумайте что-нибудь другое!

Когда вернулись на базу, замполит вызвал меня к себе. Для начала, чтобы я не зазнавался, он припомнил мне все мои просчеты и огрехи по службе. Начав за упокой, кончил он речь во здравие:

– А вообще-то, – сказал, – если подходить объективно, то служишь ты неплохо. Исходя из такой оценки твоей служебной деятельности, командование эсминца решило тебя поощрить. Благодарностью тебя не удивишь. Мы лучше сообщим твоей бабушке, что ее внук отлично служит, не из последних в боевой и политической подготовке, а потому… Потому дай адрес!

Адрес я дал. Все во мне ликовало, и на радостях я допустил замполита до своей затаенной мечты:

– Мне бы вот… в аншютисты попасть!

А дальше-то и началось… Не ожидал я от своей бабушки такой подлости!

\* \* \*

К тому времени блокаду Ленинграда прорвали окончательно, и моя бабушка жила вполне сносно, чего и мне желала… Примерно через месяц, как послали ей письмо с корабля, вызывает меня замполит. Вхожу и вижу, что лица на нем нет. Злой, как черт! В руке он трясет ответ, полученный им от бабушки.

– Читай, – говорит, – что мною здесь подчеркнуто.

Я прочитал явный донос моей драгоценной бабушки. Напрасно я писал ей, что у меня с рукой не все в порядке. Замполит подчеркнул ее слова: «…удивляюсь, как он мог обмануть Вас? Ведь левая рука у моего внука испорчена, и сколько я писала, чтобы шел к врачу, так нет же! Ему бы только собак гонять. Вы уж с ним построже, а что не так – нарвите ему уши, чтобы себя не забывал и помнил…»

– Объясни, что это значит? – сказал замполит.

Я молчал.

– Иди за мной…

Иду в салон командира – как вешаться! Во мне билась только одна мысль: «Конец… неужели конец? Провалюсь я с дымом и копотью!» Дело прошлое, но я тогда с отчаяния даже пожалел, что бабушка выжила в блокаду. Лучше бы я остался круглым сиротой…

Командир эсминца глянул в письмо бабушки и говорит:

– Так что у тебя с рукой?

Я вытянул перед собой обе руки, показывая их.

– Нормально. Развели тут панику…

– Сожми пальцы, – велели мне.

Правая рука свела пальцы в крепкий кулак, а на левой пальцы не смогли сомкнуться, только скрючились. Командир даже ахнул:

– Вот это номер! На боевом эсминце… Как же ты, мазурик, попал на флот? С каких это пор у тебя?

Тогда я заплакал. Навзрыд! Плакать мне не мешали.

– А не болит?

Я мотнул головой, и слезы сорвались с моих щек:

– Ничего у меня не болит… Это раньше болело.

Меня заставили рассказать все, и я начал с того проклятого колеса в страшную ночь на вологодской станции; я поведал им про смерть матери на архангельском вокзале; сказал, что отец как в воду канул под Сталинградом, прислав лишь одно письмо.

– Что угодно! Только с флота меня не гоните.

Командир ответил:

– Слишком долго тебя учили, чтобы теперь за борт спихнуть. Флот своих людей ценит и не базарит ими. Иди в лазарет, а мы тут подумаем, как быть с тобой дальше!

Очевидно, пока я шел по палубе в корму, из салона успели звякнуть по телефону врачу эсминца. Когда я спустился в лазарет, меня уже ждали лейтенант Эпштейн и его верный раб санитар Будкин – обжора страшный, его так и звали крупоедом. Наш врач был большим чудаком, по его словам никогда нельзя было понять – радоваться тебе или огорчаться. Вот и сейчас, завидев меня, он сделал зверское лицо.

– Попался, симулянт? А ну – снимай портки! Будкин, у тебя розги готовы?

– Так точно. Заранее вымочил. Посолил. Все как следует.

– Тогда начинай с богом. Дело тебе знакомое.

Если бы меня тогда высекли и оставили в покое, я был бы согласен. Но тут крупоед зашел сзади и, словно гвоздь в доску, засадил в меня здоровенный шприц. Я сразу перестал плакать.

– Есть! – сказал Будкин, выдергивая шприц, и невежливо помазал меня ниже копчика чем-то очень холодным.

– Укольчик, кстати, – чтобы ты не уклонялся от геройской службы, – сказал Эпштейн. – Ты, Будкин, можешь идти. А мы с тобой, гроза морей и океанов, осмотрим твою собачью лапу. Ну-ка!

Он обследовал меня всего, только потом взялся за руку. Крутил ее по-всякому. Гнул в кисти. Дергал меня за пальцы.

– Покажи, как тебя ударило тогда вагонным крюком?

Я показал как. И куда ударило. Он ответил на это:

– Везучий ты! – И сел к столу что-то писать. – Приготовься ходить в госпиталь на сеансы. Будем лечить. Травматическая контрактура – вот что у тебя! Но это пройдет, если не запускать. Завтра выдам тебе резиновый мячик. Носи его в левом кармане. Чуть свободная минута, мни и мни его в пальцах, тискай как можно крепче. Понял?

– А зачем?

– Надо развивать пальцы.

В лазарете зазвонил телефон. Видимо, звонили из салона. По ответам врача я смутно догадался, что страшного пока ничего нет.

– Иди туда, откуда пришел, – сказал мне лейтенант.

В салоне, помимо командира и замполита, я застал и штурмана. Судя по всему, они говорили обо мне. Командир сказал:

– Слушай! Мы вот тут подумали сообща и пришли к убеждению, что стоять на манипуляторах ты не можешь. Я понимаю – тебе это обидно, но ты должен понять и нас. Как рулевой ты никакой ценности для эсминца не представляешь.

Ну, что ж! Я и сам это знал. Не обиделся.

Командир выждал и показал на штурмана.

– Старший лейтенант Присяжнюк доложил нам, что ты свил гнездо в гиропосту и никаким газом тебя оттуда не выкурить. Это что? Просто любопытство? Или осознанная любовь к знаниям?

– Я люблю гирокомпасы, товарищ капитан третьего ранга.

– Любовь – это хорошо, – похвалил он меня, после чего обратился к штурману: – Брякните в бэ-пэ-два… вы сидите ближе.

Присяжнюк сказал в трубку телефона:

– Салон – гиропосту. Это ты, Лебедев? Поднимись-ка.

Я замер в напряжении. Всегда обожал старшину Лебедева, но сейчас от его слов зависело очень многое в моей жизни, которая трепыхалась, словно пескарь на раскаленной сковородке.

Раздался осторожный стук в дверь.

– Входите.

Лебедев, как всегда, в чистой робе. Серьезный. Задумчивый. Без улыбки. Как он был непохож на мичмана Сайгина!

Командир показал ему на меня:

– Старшина, знакома ли вам эта светлая личность?

Лебедев посмотрел так, будто впервые меня увидел:

– Немножко знаю, товарищ капитан третьего ранга.

– Добро. Что вы можете о нем сказать?

Я ждал, что Лебедев выплеснет посреди салона полный ушат всяческих похвал моему уму и благородству. Но старшина стал высказывать обо мне – в моем же присутствии – ужасные вещи:

– Ветер еще в голове. Что ему нравится – слушает. А что не по душе – отворачивается. Расхристан. Курядов не может загнать в душевую, чтобы робу выстирал. Воспитан безобразно. Иванов восьмой год служит, а юнга Огурцов ему грубит, как хочет.

Я выстоял под этим ушатом. Командир слушал, кивая. Замполит блуждал из угла в угол салона. Штурман курил, щурясь.

– Так! – сказал командир. – Это нам понятно. Теперь вы, старшина, переверните медаль.

– Есть, – охотно отозвался Лебедев. – Лицевая сторона медали такова: гирокомпасы любит и знает. Конечно, нахватался больше поверху. Глубины знаний еще нету. Но со временем может стать хорошим аншютистом. Ежели, конечно, отнесется к делу серьезно, а не шаляй-валяй.

– Добро. Возьметесь ли вы, Лебедев, подготовить юнгу Огурцова к должности вахтенного аншютиста в гиропосту?

Лебедев отвечал четко:

– Могу, но прежде из него надо пыль выбить. Между вахтами берусь, как за партийное поручение, накачать его с азов. Начну с законов электротехники. Да он, честно-то говоря, парень с головой. Если ему втолковать, так он все освоит.

Тут штурман подошел и постучал меня пальцем по лбу.

– Учти, – сказал, вдалбливая, – что рулевой стоит два часа, после чего четыре отдыхает. А в гиропосту вахта до двенадцати часов в сутки. А в подхвате я треплю аншютистов вызовами на мостик… Вот и подумай прежде – выдержишь ли?

– Выдержу! – ответил я так, словно давал клятву.

Замполит носком ботинка поправил загнувшийся край ковра.

– Ясно, – сказал он, закрывая разговор. – Лебедев, забирайте юнгу. Если бы без любви к делу, тогда плохо. А с любовью он выдержит…

– Есть! – отозвался Лебедев.

Я вышел из салона на полусогнутых от счастья ногах. Поначалу я даже не заметил, что мое взмокшее от пота ухо было крепко зажато в руке старшины Лебедева, – он меня увлекал за собой.

– Я те покажу, где раки зимуют! – говорил он, и я свято верил, что он действительно мне покажет.

Тогда я еще не думал, что любовь моя со временем обратится в профессию и гирокомпасы прочно войдут в мою жизнь, – они станут давать мне хлеб… Я зарабатываю свой хлеб тем делом, которое люблю. Наверное, именно потому я и счастлив.

\* \* \*

На флоте, даже если ты желаешь болеть, тебе этого никто не позволит. Не успел я опомниться, как на палубе меня настиг лейтенант Эпштейн – в шинели, при белом кашне.

– Собирайся. Быстро!

Под кормою торкал мотором катер. Мы сели в него и понеслись на середину рейда. Я спросил доктора:

– А что со мною сейчас будет?

– Утопим, чтобы больше с тобой не возиться.

Катер подошел под трап лидера – вожака эсминцев. На лидере был рентген и два врача. Меня просветили и выставили прочь из лазарета, чтобы не мешал беседовать на научные темы о моем здоровье. После чего мы вернулись на «Грозящий», где меня уже поджидал крупоед Будкин с кварцевой лампой. Взялись за меня здорово! Но взялся за меня – с другой стороны – и Лебедев. Так взялся, что уже через месяц я нес самостоятельную вахту в гиропосту.

Скоро получилась перегрузка в штате: два старших специалиста и один – я! – младший. Аншютисты всегда ценились на флоте, и похоже было, что кого-то одного следовало убрать.

Иванов говорил мне с надрывом:

– Подсиживаешь ты меня. Ты думаешь, я тебя не вижу? Я тебя насквозь вижу.

– Ты, земляк, не гунди, – отвечал я. – Если ты неуч, то я неучем быть не желаю. Не карьеру делаю, а служу!

– Вижу, как ты служишь. Я восьмой год табаню, а ты прискакал, от горшка два вершка, и уже на мое место уцепился.

Решили оставить на «Грозящем» одного старшего и одного младшего специалиста. Я боялся, что Лебедева переведут куда-нибудь и тогда старшиной надо мною станет «земляк», чтоб ему ни дна, ни покрышки… Но нет, пронесло: Иванову велели собираться с вещами.

– Подсидел ты меня, – плакался он на прощание.

Впрочем, плакался он недолго. На плечи ему тут же навесили старшинские погоны, с обратным караваном Иванов поплыл в Лондон и там первым делом побежал смотреть музей восковых фигур. А мы с Лебедевым остались на «Грозящем», чтобы по двенадцать часов в сутки нести вахту. В промежутках между вахтами спали, имея в кармане ватника отвертку, флакон со спиртом и комки ваты. В морозные ночи только и слышишь, как грохочут звонки в нашу часть: «На мостик!.. На мостик!.. На мостик!..» Значит, опять покрылись льдом линзы на пеленгаторах или покрылись инеем стекла репитеров. Надо протирать… Служба была хлопотливая и беспокойная. Книжку, бывало, возьмешь в библиотеке и держишь ее целый месяц – некогда читать!

Когда я окончательно освоился с новой специальностью, меня по боевому расписанию начали оставлять в гиропосту, а старшина Лебедев мотался наверх – к штурману. Таким образом, я стал командиром БП-II БЧ-I…

К тому времени мне исполнилось шестнадцать лет!

Когда в отсеки врывались зовущие по местам колокола громкого боя, я захлопывал над собой люк, докладывая в телефон:

– Гиропост – мостику: бэ-пэ-два бэ-чэ-один к бою готов!

Это был удивительный бой. Я сидел на днище эсминца, никогда не видя противника, только слушал, как с ревом обтекает мой эсминец яростная забортная вода. Я был молод, но понимал: случись хотя бы одно попадание торпеды – и я буду похоронен здесь же, на своем посту; отправлюсь на грунт вместе с любимым гирокомпасом, который, пока мы живы, старается дать людям для победы все, что только способна дать человеку техника.

Смолоду я не был излишне сентиментален. Но когда война завершилась победой и мне надо было уходить с корабля, я на прощание обнял гирокомпас, как обнимают верного друга. Я тогда горько заплакал над ним, сознавая, как много он мне дал и как много я с ним теряю.

Иной раз – в мирной тишине квартиры – я спрашиваю себя:

– Была ли юность? Или приснилась она, как сон?..

Юность, конечно, была. И, по-моему, такая, как надо!

Кончилась она в тот день, когда я последний раз выбрался по трапу из своего БП-II БЧ-I эскадренного миноносца «Грозящий». На память об этой юности остались две ленты – одна с именем эсминца, а другая – юнговская… Со смешным бантиком!

\* \* \*

Я был демобилизован с флота, так и не дослужившись до матроса. В документах указано мое первое и последнее звание – юнга!

С тех пор прошло немало лет.

Нет, мы еще не старые,

Но бродит тем не менее

Знакомыми бульварами

Другое поколение.

Но и поныне я еще живу курсом, что дал мне гирокомпас, указавший дорогу в большую жизнь, в которой меня ожидали новые тревоги и новые напряжения души.

Конечно, не я принес Родине Победу. Не я один приблизил ее волшебный день. Но я сделал что мог.

В общем прекрасном Пиру Победы была маленькая капля и моего меду.

Сейчас мне за сорок, и мне уже давно не снятся гулкие корабельные сны. Но до сих пор я иногда думаю о себе, как о юнге. Это высокое и почетное звание дает мне право быть вечно молодым. Юнгам флота не угрожает старость.

Эпилог последний

Человек и Море…

Это особая тема, и она все чаще волнует Человечество, соперничая с темой проникновения Человека в загадки Космоса.

В доисторические времена далекий предок впервые осторожно выбрался из моря на сушу, и его скользкие жабры вместо привычной воды с пронзительным свистом всосали в себя влажный удушливый воздух…

Это был наш предок, читатель!

Человечество зародилось в море. Не оттого ли в венах людских и поныне буйно пульсирует кровь – соленая, как и вода океанов? Не потому ли мы не устаем подолгу следить за поступью волн в безбрежии моря, которое пропитано солнцем и вечностью?

Что мы видим вдали? О чем мечтаем в такие минуты?

Море властно зовет нас в свою колыбель, из которой мы вышли и встали на ноги. И мы охотно откликаемся на этот зов.

Один видный ученый-океанолог, заглядывая в историю освоения морей Человеком, писал правдиво и возвышенно:

«Образ жизни моряков имел свои отрицательные следствия: беспечность, фатализм и грубость нравов. Однако наряду с этим он воспитывал у моряков и высокие моральные качества – самоотверженность, бескорыстие, настойчивость и героизм. Если эти человеческие качества когда-либо исчезнут, наша цивилизация пострадает: она не найдет ни в чем другом того, что потеряет вместе с привычкой Человека к морю…»

Человек будет вечен, пока вечно Море.

Море давно уже стало поприщем для мирной науки и ратных подвигов. Море – поилец наш и кормилец. Океаны связывают материки, они сближают нации и культуры народов.

Прогресс, скользивший когда-то под парусами каравелл, двигается теперь под дизелями на жидком топливе, он раздвигает толщи глубин атомными реакторами. А романтики и бродяги еще вяжут допотопные плоты, еще ставят над ладьями косые кливера и уходят, уходят… Уходят от нас, чтобы испытать сладкую близость прародительской пучины!

Счастливы люди, юность которых пронеслась в разгуле волн, на шатких корабельных палубах. В море юность быстрее, чем на берегу, смыкается с ожесточенным в борьбе мужеством. С высоких мостиков кораблей юноши зорче оглядывают горизонты своей жизни. Суровые регламенты вахт и боевых расписаний не терпят рискованных промедлений. Головотяпы и тунеядцы не выдерживают ритма корабельных будней. Флот смолоду приучает к дисциплине, выносливости, умению терпеть и ждать, к ответственности – за каждое слово, каждый жест. Нашей стране повезло: три океана и двенадцать морей неумолчно плещутся возле ее берегов. А флот наш вырос.

Уже Колумбу вслед,

уже за Магелланом

круг света ходим мы

Великим океаном!

Так пророчил нам Ломоносов, и это пророчество сбылось…

А чтобы стать моряком, совсем не обязательно родиться на маяке. Ведь часто бывает и так, что мальчишка случайно, лишь на одно мгновение увидит море из окна дачного вагона – оно мелькнет ему сизым крылом чайки… В с ё! Теперь он очарован навсегда. Иного пути для него уже нет.

Я повторяю здесь слова эпиграфа:

Кто увидит дым голубоватый,

поднимающийся над водой,

тот пойдет дорогою проклятой —

звонкою дорогою морской.

Глупо удерживать человека, если его позовет море.

Эти призывы морей особенно хорошо слышны в юности.

\* \* \*

Читатель и друг, я знаю – ты ведь тоже уйдешь! Мы еще встретимся, и ты нам много расскажешь о себе. Много удивительного – такого, что случается с человеком только на волнах, когда месяцами не видно берегов.

Три фута чистой воды – под киль тебе, читатель!

Осень 1971 года. Рига

Примечания

1

Боевой пост II боевой части I. Первым номером обозначается штурманская боевая часть корабля.

(обратно)

2

Ваенга – с 1951 года город Североморск.

(обратно)

3

Горло – так моряки зовут прилив, выводящий из Белого моря в открытый океан.

(обратно)

4

ПШС – правила штурманской службы.

(обратно)

5

ПУАО (морское выражение) – приборы управления артиллерийским огнем.

(обратно)